

ТЕКСТЫ

ВДНХ – СТОЛИЦА МИРА

шизоанализ

– А что это за воздушные шары? – удивился Незнайка. Снежинка и Синеглазка засмеялись.
– Это арбузы, — сказали они.
– Разве вы никогда не видели арбузов?

Брынди, брынди, балалайка,
Под столом сидит хозяйка,
На столе идет война —
Черти гонят колдуна.

Детский фольклор 1986 г.

«Бык на крыше»

Дариус Мийо

Н.Носов. Приключения Незнайки и его друзей

Гуляя с ребенком солнечным сентябрьским днем на ВДНХ, мы попали в довольно пустынный район выставки, где находится фонтан «Золотой колос». Так получилось, что, живя рядом с ВДНХ и нередко там бывая, я в сознательном возрасте никогда не забирался в эту часть выставки. И последний раз, помню, был там в детстве, с родителями. Стоя у пруда и смотря на огромного быка на крыше одного из павильонов (лет в 17 мне очень нравилась музыка «Бык на крыше» Д.Мийо, одного из композиторов французской «шестерки»), на меня нахлынули ностальгические воспоминания о тех далеких временах, когда все воспринималось в прямом чувственном и функциональном значении, когда мир только познается и поэтому он волшебен, нов и великолепен. В голове еще нет никаких гносеологических решеток, рам, нет никакого застывшего «знания» мира, а есть только процесс его бесконечного (как тогда кажется) познания, знакомства с ним.

И вот, оказавшись в этом замечательном ностальгическом месте, я с ужасом следил за своим теперешним взглядом на все, что меня окружает, за непрерывным шизофреническим сканированием несуществующих миров. Я обнаружил, что меня окружают не красивые виды, забавные здания, перспективы, а знаковые ракурсы, которые тут же сложились в целостную знаковую картину, в иконографическое пространство этого района ВДНХ. И вот что в итоге у меня получилось.



...

Коллективное бессознательное русскоязычного региона выстроило свою, так сказать, «корневую» и «целевую» сакральность, т.е. свое коллективное сознательное в виде мандалы руководства не на Красной площади, как это может показаться на первый взгляд, а на ВДНХ.

Известно, что основная идеологема коммунистов — это рай на земле, и попасть в этот рай («спастись») можно только путем социально-экономических преобразований народного хозяйства, в которые должно быть задействовано все общество. Но ведь любая идея склонна к трансцендированию, метафизической автономизации, и по законам трансцендирования она тут же материализуется в знаках и символах. «Народное хозяйство» как идея в процессе трансцендирования, символизации и харизматизации советского общества выстроилось на ВДНХ в сложнейшую констелляцию означающих. Это колоссальных размеров мандала, храм на открытом воздухе, место бога в котором занимает само коллективное сознательное (коммунистический коллектив), опредмеченное и в виде символа фонтаном «Золотой колос». Он возвышается в центре большого пруда (если рассматривать план ВДНХ «вертикально», то он расположен на самых верхних «небесах») и покоится на рогах изобилия, из которых вываливаются фрукты, овощи и т.д. Состоит фонтан из одиннадцати золотых лепестков, двенадцатый сделан в виде трилистника. Интересно, что «райские блага» вываливаются из него снизу, в воду. Но с каких же «небес» они сваливаются, где их производят?

Самое большое сооружение на выставке — павильон «Космос». Вообще «космос» (как порядок) — довольно сложное понятие. В политеистических религиях в космосе обитают и боги, и люди, в монотеистических — бог создает космос, сам пребывая в неизвестности. В сакральном пространстве ВДНХ «бог» (как коллективное сознательное) пребывает вне «космоса», на земле (точнее, на воде, но об этом чуть позже), так как «космос» опредмечен отдельным павильоном.

В мандале ВДНХ «космос» представлен как «небеса», причем диалектические, и вот почему. Если стоять лицом к павильону «Космос», то справа и чуть в глубине находится комплекс павильонов животноводства, где демонстрируются свиньи, коровы, кони, овцы и т.п. На одном из этих павильонов установлен грандиозных размеров Бык, которого как бы смиряет гипсовый титан-атлет. Очевидно, что это символ природы, которая является для местной идеологии «мастерской» и с которой, как с хаосом, человек должен работать, чтобы упорядочивать его, преобразуя в космос.

Теперь опять перейдем влево от павильона «Космос», где находится фонтан «Золотой колос», встанем напротив него и посмотрим вверх. Мы увидим прямо перед собой огромный купол «Космоса» и гигантского гипсового Быка слева от него — они находятся почти на одной высоте и в одном масштабе. Если мы будем двигаться по левому берегу вдоль пруда, огибая «Золотой колос», мы увидим, как фигура Быка с титаном постепенно наплывает на купол «Космоса», как бы погружаясь в него. То есть эта дорожка вокруг пруда так устроена (место вокруг пруда называется «Грузинский сад»), что наглядно демонстрирует процесс упорядочивания, освоения Космосом Хаоса, сама являясь сакральной и символизируя путь упорядочивания, путь «дао». Теперь нам становится понятным, откуда берутся «райские блага», вываливающиеся снизу из рогов изобилия фонтана «Золотой колос»: они сваливаются с «диалектических небес», а комплекс из этих четырех элементов — «Золотой колос», «Бык на крыше», «Космос» и сама дорожка, откуда виден весь этот процесс — олицетворяет сокровеннейший пафос всей сакральной топографии ВДНХ — «низведение небес на землю», то есть строительство рая на земле.

Важность понятия «космос», причем в динамике его «заземления», подчеркнута еще тем, что ВДНХ окружена как бы диффузной зоной, где энергетика этого сакрального «космоса» как бы ослабевает, переходя в обыденность. Так, рядом с ВДНХ находится огромная гостиница «Космос», кинотеатр «Космос», множество улиц, связанных с космосом — аллея космонавтов с обелиском «Ракета» и памятником Циолковскому, проспект Королева, улицы Кибальчича, Кондратюка, Цандера и т.п.

Но вернемся на сакральную дорожку в Грузинский сад, откуда так хорошо просматривается весь диалектический сакральный центр ВДНХ. Двигаясь по ней дальше, наблюдатель — как раз в том месте, где Бык «входит» в купол «Космоса», — повернувшись на 180 градусов видит перед собой небольшой павильон «Бытовые услуги», который стоит недалеко от пруда на возвышении, окруженный деревьями. В каком-то смысле он представляет собой высшую точку трансцендирования усилий коллективного бессознательного, буквально — «тот свет». И местоположение павильона, и его удивительная архитектура (такие домики можно представить себе только в стране Незнайки и его друзей-коротышек из сказки Носова), и то, что он почему-то не обозначен на план-карте ВДНХ, делают его как бы совершенно инородным, вынутым из грандиозной панорамы и топографии всего комплекса выставочных павильонов.

Это ощущение усугубляется еще тем, что справа от него, совсем рядом, представлены как бы самые сакральные «низы» мандалы — павильон «Водное хозяйство и мелиорация», т.е. стихия воды, где все зарождается, сила Инь и тоже в каком-то смысле хаос, корреспондирующий с Быком на крыше. Но если Бык на крыше — это хаос верхний (сила Ян), то «Водное хозяйство» — как бы «нижний» хаос (Инь). Фонтан же «Золотой колос» находится как раз между этими двумя необузданными силами. Кстати, в этой ситуации «двойного хаоса» выявляется и «нерентабельность» всей этой системы «бога» в виде коллективного сознательного, которую и выявляет оно само: ведь фонтан «Золотой колос» стоит посередине пруда и «райские блага» вываливаются из его рогов изобилия прямо в воду, обратно в «хаос». Но подробнее об этом ниже, когда мы будем рассматривать связи реальной общественно-политической системы и ее ментальной «план-карты».

Итак, павильон «Бытовые услуги» выглядит из-за деревьев как необыкновенно красивая волшебная игрушка, в которой вечно и радостно живут люди (вроде носовских коротышек), занимаясь самыми обычными делами: стригут волосы, стирают белье, починяют и т.д., одним словом осуществляют свое вечное, «посмертное» бытие, символизированное этим павильоном «Бытовых услуг». То есть все эти диалектические, грандиозные муки осваивания хаоса космосом, хоть и тонут в воде, но все-таки каким-то волшебным образом разрешаются, наконец, в этом месте окончательного райского игрушечного существования.

Причем каждый элемент описанного сакрального комплекса имеет свой пластический аналог в какой-либо конфессиональной традиции. Бык на крыше — из дзенской серии картинок «В поисках быка», купол павильона «Космос» сделан в стиле католической храмовой архитектуры (только вместо креста он увенчан снопом), павильон «Бытовых услуг» — в стиле ламаистского храма, где помещается рай Амидабу, а у входа в павильон «Водное хозяйство» стоят огромные колеса мелиорационной установки, как бы колеса все перемалывающей сансары. Фонтан «Золотой колос» решен в библейской традиции: ведь он установлен посередине пруда. Это как бы «дух божий, витающий над водами» до космогонизации хаоса, но он представлен здесь в виде коллектива (колос, в котором много зерен).

Стражами, хранителями всей этой гигантской мандалы являются титаны — огромные позолоченные фигуры мужчин и женщин на павильоне «Космос», на других павильонах, на арке главного входа, скульп-

птурная группа «Колхозница и рабочий» (за пределами ВДНХ, но совсем рядом). Как известно, в античной мифологии титаны боролись с богами-олимпийцами, а один из них — Прометей (популярный советский герой) дал огонь людям, то есть участвовал в акте «сведения небес на землю»*.

Но весь описанный мной комплекс — это как бы сакральность в действии, трансцендирование диалектического материализма как постоянного процесса. Но прежде, чем попасть в эту «святая святых» мирового процесса, нужно пройти сначала сквозь стабильные, завоеванные в результате политической и социальной борьбы «принципы» (как бы ареопагитовские «Начала»). В мандале ВДНХ они представлены двумя сакральными пространствами — центральным павильоном «СССР» (единовластие) и фонтаном «Дружба народов» (единство круговой поруки наций, входящих в состав СССР).

Очень интересным представляется задний выход из ВДНХ (не «Северный», а служебный, расположенный на северо-востоке по отношению к центральному входу. Кстати интересно, что на официальной карте ВДНХ — что соответствует реальности — южный и северный входы ВДНХ расположены на одной горизонтальной линии, почти на одной линии с центральным входом, что указывает на возможность «вертикального» прочтения пространства ВДНХ). Возле этого заднего выхода находится ряд вольеров с разными видами оленей, в последнем из них помещаются северные олени. Это — край мира, край вселенной, который как бы совпадает и с реальной топографией Советского Союза (дальним севером). То есть сакральная топография замыкается на реально-географическую, очень четко очерчивая края коллективного сознательного региона. Очевидно, что принцип символизации и «опред-

* Этот ракурс дает возможность понять феномен московского «самого лучшего в мире» метро, почему далеко не богатое советское государство позволило себе такую нефункциональную роскошь в тридцатых годах, как строительство Московского метрополитена с оформлением станций, напоминающих внутренним дизайном православные храмы. Скорее всего, это результат борьбы двух мандал руководства — еще не до конца искорененной программы коллективного сознательного православной идеологии и новой, советской коммунальности с «раем на земле» (основа которой — православная соборность, а вершина и структурное завершение — система лагерей ГУЛАГа, где коммунальность представлена в чистом виде). Ведь если «рай» осуществляется (в знаке) на земле, а не на «небесах», как это было раньше, то, естественно, что «места молитвенных собраний» приходится убирать под землю, чтобы как-то соблюсти привычную иерархию. К месту пришлось и мраморная облицовка взорванного храма Христа Спасителя, использованная в оформлении станции «Маяковская», где, кстати, во время войны во главе со Сталиным и Политбюро, произошло одно из главных сакральных действий советской власти — празднование очередной годовщины революции.

мечивания» коллективного бессознательного в сознательное — синергичен. Целостность и гармония его сакральных значений выстраивается и меняется постепенно, и не по воле одного человека или группы людей, а как бы сама собой, то есть шизофреническая план-карта (о которой идет речь в «Даре Орла» К. Кастанеды) опредмечивается в процессе вживания коллектива в целевые общественно-экономические структуры, реальность которых потом уже разворачивается и действует как бы под властью этой сакральной «план-карты», властью знака над свободной вегетацией жизни.

ВДНХ — это Кашеево яйцо советской власти, но, в отличие от египетских пирамид и сфинксов, древнеримских храмов и т.п. стабильных символов «Начал», под властью которых и произошел процесс омертвления, выморачивания тех культур (но чего не произошло в Китае с его подвижной, «трехлинейной» сакральностью), на ВДНХ есть и даосско-буддийская динамическая сакральность (комплекс вокруг «Золотого колоса»), которая предполагает постоянное изменение структур и, соответственно, изменение сакральной предметности (самой «план-карты», мандалы). И, казалось бы, совершенно закрытое общество, таким образом, несет в себе потенциал будущих изменений. Определив коллективное сознательное («Золотой колос») и представив «тот свет» в виде совершенно детского, сказочного домика «бытовых услуг», коллективное бессознательное, неизбежно рождающее власть знака, необходимую на определенном отрезке истории для стабилизации общества и сохранения культуры, в данном случае постоянно находится под угрозой самоуничтожения, самоликвидации. Оно обессиливает, коллапсирует в знаке, указывающем на самого себя, постепенно высвобождая психические пространства (совершенно неизвестные) для личностного (а не коллективного) начала, буквально выбрасывая личность в пустоту, где она может или погибнуть, или обнаружить какие-то новые структуры и новую предметность. В каком-то смысле можно сказать, что общество, сакральность которого оставляет для человека свободным только его дыхание (хотя здесь и много гиперболы), потенциально возвращает в каждом своем члене Праджapati (в реальном смысле — шизофреника), дыхание которого порождает разум, разум — богов, а боги — миры (его собственные, патопсихологические).

Советский Союз, кроме всего прочего, как опредмеченный плод немецкой классической философии, причем в ее романтическо-шаманском варианте гегельянства, во-первых, насквозь трансцендентен, во-вторых

(в соответствии с романтической традицией ностальгии), его трансцендентность тяготеет к самой древней, ведической, только вместо одного Праджапати, как это было у древних индусов, у нас их в потенции — 250 миллионов, и каждый, в самой сокровенной глубине своей души чувствует свое космическое одиночество, маргинальность и «не знает радости». Вокруг него — одни символические, необходимые вещи, бездыханные, безжизненные, подобно каменным женщинам фонтана «Дружба народов» (одновременно выражающими суть телесности советских женщин и мужчин), и неподвижные, подобные стволу фонтана «Золотой колос» (указывающего на место экзистенциальных проявлений — только на периферии!). Древний Праджапати, увидев вокруг себя такую картину, не возрадовался (далее цитата): «Он решил: «Я войду в них, дабы вдохнуть в них жизнь». Он сделался подобным ветру и хотел войти в них. Однако, будучи одним, он не смог этого сделать. Он разделился на пять частей, называемых праной, апаной, саманой, уданой, व्याной...».*

Дальше началась История. Что же будет дальше с нашими «Праджапати»? Сейчас почти у всех у них — раздвоение личности, психическое заболевание. Но может быть, им грозит ее «распятие»? Как раз по числу концов пятиконечной звезды и количеству видов дыхания по Ведам? В традиции шизоанализа в слове «распятие» можно усмотреть слово «распятие» и остановиться на том, что Россия всегда была жертвой для назидания другим народам: «один делает глупость, чтобы ее не делали многие». С другой стороны — полная неизвестность (ведь в сакральном смысле Советский Союз как бы всегда стоит в самом начале Истории), которая может обернуться и каким-то облегчающим решением, зарождением новых общественных структур, и отработанное уже правило коллективного сознательного «сначала дела общественные, а потом личные», ведущее к тому, что все «блага небесные» исчезают неизвестно куда, как это наглядно демонстрирует фонтан «Золотой колос», может вдруг превратиться в свою противоположность.

Определив ВДНХ как центральную мандалу руководства коллективным бессознательным советского общества, можно пофантазировать на эту тему и дальше в плане того, например, как пересекается сакральное и реальное в общей системе руководства Советским Союзом и в сознании советских людей.

Не секрет, что социально-экономическая система СССР — абсо-

* Виды дыхания («Майтрейя-упанишад»).

лютный государственный капитализм (монополия) имперского типа. В чем же состоит руководящая функция коммунистов в этой системе? Прежде всего они осуществляют идеологическое руководство обществом, т.е. имеют дело с идеей, носителями которой является их собственное сознание и сознание «паствы», сознание советских людей. В качестве пастырей, жрецов их функционирование состоит в корректирующем посредничестве между сознанием масс и трансцендентным, которым в данном случае является народное хозяйство, но реальность которого протекает, опредмечивается (особенно на внешнем рынке) в формах абсолютного государственного капитализма. Ведь коммунизма, как реальной системы общественно-экономических отношений, нет. А социализм — это просто абстрагирование капитализма до его абсолютизации, это как бы Абсолютный Дух капитализма, который можно называть и социализмом (проблема чисто языковая). Следовательно, коммунисты, как люди «оттуда», из будущего, общаются с массами через фантомное, трансцендентное «народное хозяйство», символически опредмеченное мандалой ВДНХ, под властью которой они находятся и по «план-карте» которой осуществляют свой чисто концептуалистский перформанс. Мыслеформы этой мандалы и связывают массы и коммунистическое руководство в единое психическое тело коллективного сознательного.

Для коллективного сознательного христианского мира отдельная личность может стать «сознательной» («спастись»), если она «войдет в Ум Христос» (ап. Павел). Там разработана своя методика этого «вхождения» или богоуподобления, в том числе девять чинов Дионисия Ареопажита, где человеческий ум «возносится», как бы «очищаясь», по психическим уровням: ангелы, архангелы, начала и т.д. Аналогичная система есть и у даосов, и у буддистов («Десять ступеней бодхисаттвы»). Но как же человек может уподобиться коллективному сознательному? Какова психологическая, а не номенклатурно-возрастная (октябрюта, пионеры, комсомольцы, коммунисты) структура советского коллективного сознательного, которая должна проецироваться на каждую личность, и есть ли в ней иерархия «восхождения»? То есть речь идет о сакральных «чинах» советского сознания. Вероятно, их следует соотносить и определять через описанные нами выше сакральные мыслеформы мандалы ВДНХ. В таком случае, сознание каждого советского человека должно включать в себя пять (основных) мыслеформ: «космонавта», «титана», «колосника», «коротышки» и... «грузина». Что это за «грузин»? Во-первых, пруд с «Золотым колосом» почему-то окружает грузинский сад, и сакраль-

ная дорожка — дао, откуда открывается вся эта панорама, проходит по этому саду. Во-вторых, географически Грузия, входящая в нашу империю — страна стихий: море и горы, и поэтому «грузинское» сознание наиболее непосредственно, прямо связано с реальностью, в частности — с реальной общественно-экономической системой абсолютного гос. капитализма. Вспомним Сталина — «абсолютная государственность», и рынок — «капитализм», где грузины играют ведущую роль. И, наконец, грузины наиболее активно противостоят этой системе и одновременно определяют ее как империю. Противостоят обычно в своем языковом поведении (а ведь для шизоанализа важен только этот аспект): обычно грузин, едущий на российские рынки продавать фрукты, говорит, что он едет «в СССР». Более того, были случаи, когда на грузинском железнодорожном вокзале объявляли по радио: «Поезд «Грузия — СССР» отправляется в такое-то время с такой-то платформы».

Вот с этими пятью «бесплотными чинами» коллективного сознательного и в самих себе, и в народе и имеют дело коммунисты. В этой системе чин «коротышки» — конечный продукт общества, то есть тот самый искомый нами «сознательный» советский человек, как бы живущий уже «на том свете» в виде Незнайки, Пончика, доктора Пилюлькина, Тюбика и других героев сказки Носова (соответственно своей профориентации).

Похоже, что остальные четыре «чина» не имеют иерархии относительно друг друга, они как-то хаотически сосуществуют, причем в каждом человеке преобладает, как правило, какая-либо одна сущность. «Космонавты» — это авангардисты во всех областях науки, техники и культуры — от Ленина, Циолковского и Мичурина до современных художников-авангардистов С.Гундлаха и С.Ануфриева, которые недавно объявили себя «космонавтами».

«Титаны» — это различные герои войны и труда и почти все советские женщины. «Колосники» — это противоположность «коротышек», высшее партийное руководство и диссиденты. Это сознание (в личности — подсознание) склонно к самоистреблению и небытию, так как на него амыкается и коллапсирует само коллективное сознательное (местный «бог»), «уподобление» которому невозможно, и поэтому отдельная личность в приближении к этому «богу» всегда чувствует себя как черную дыру, которая бесконечно проваливается сама в себя (эта склонность к самоистреблению проявляется и физически, особенно ярко в 30-х годах, когда одна часть партии «выедала», причем огромными кусками, другую

часть). «Грузины» — это те люди (не обязательно грузинской национальности), на которых все, собственно, и держится. Только они поддерживают реальную связь с реальной системой (работники министерств, торговли, коммуникаций и т.п.). Чаще всего их деятельность носит криминальный характер и в советской сакральности, по аналогии с христианской, они играют роль «бесов», которых нужно постоянно перевоспитывать, изгонять или вообще истреблять. Ведь для партийного руководства народное хозяйство — это идеальная трансцендентная система и идеальными работниками в ней могут быть только «титаны» (типа Стаханова и т.п.).

По-видимому, это и есть «духовная» топография советского «распяттеренного» сознания, с которой (и только с ней, а не с реальной системой) имеет дело коммунистическое руководство. В разные периоды истории оно активизирует тот или иной «чин», который становится лидирующим. Во времена военного коммунизма — «титанов», во времена НЭПа — «грузин», в промежутках — «космонавтов», «колосники» же и «коротышки» — вне всяких изменений, это альфа и омега всей сакральной системы. В самом «высшем» смысле сакральности каждый советский человек (который в середине жизни может быть любым из пяти «чинов») начинает свою жизнь с «коротышки» (детство) и кончает «колосником» (старчество). После стадии «колосника» опять наступает стадия «коротышки». Здесь отчетливо просматривается механизм хинаяны, но без ее целевых установок: вечное существование в «коротышечном» раю, метампсихоз и «наше бессмертие — наши дети» — официально выбирается последняя, но сакрально — первая. Этот бессознательный выбор не в последнюю очередь объясняет плачевное состояние народного хозяйства СССР. Ведь из рогов изобилия «Золотого колоса» вываливаются в воду гигантские арбузы, дыни, виноград, яблоки и чуть ли не свиньи, которые и демонстрируются как результат, как высшие и целевые эйдосы народного хозяйства. Это и есть те самые огромные арбузы в городах коротышек, которые описаны у Носова. То есть происходит сакрализация не технологии, а результата. Все же остальные павильоны демонстрируют просто технические способы (они могут улучшаться) для достижения одного и того же — арбуза величиной с дом. То есть то, что должно быть главным в экономической системе — технология, выносятся в периферийную зону сакральности, а в центр ее ставится курьез, плод деятельности не общества, а отдельного «титана».

Во всяком случае именно так обстояло дело в харизматический период советской власти — от Сталина до Брежнева. Эти огромные плоды

демонстрировались в центральном павильоне «СССР» (в то время как в павильоне «Земледелие» демонстрировались различные сорта обычной картошки). Сейчас павильон «СССР» закрыт на реэкспозицию. Во всяком случае есть какая-то надежда, что изменения будут идти в ту сторону, где народное хозяйство — не цель, а средство.

Если может идти речь об истории коллективного сознательного, о преемственности сакральных мандал руководства при смене идеологий и систем, то можно сказать, что возникновение Советов в христианско-православном регионе — это своего рода «бунт ангелов» — самого нижнего «бесплотного чина» православного коллективного сознательного (а поскольку сюжет этого «бунта» был изначально задан в христианской традиции, почему бы ему не реализоваться в каких-то более осязаемых формах?). Причем этот «бунт» был совершен как бы с «хорошими намерениями» (ведь коммунизм сам по себе как абстрактная идея — как бы хорошая идея, правда, только в его самом народном, примитивном толковании, и вообще это еще и похоже на «царствие Христово, где не будет церквей, ибо некому поклоняться» — тоже известный евангельский сюжет). А то, что этот «бунт» смог осуществиться в России (помимо реальных, объективных причин), можно объяснить очень сложной структурой коллективного сознательного Российской империи (которое было конституировано православием, к XIX веку полностью музеефицированному и духовность которого стала абсолютна апофатичной — установка на совершенное незнание божьего промысла). Произошла автономизация структур коллективного сознательного и «ангелам-апофатам» — как наиболее удаленному слою коллективного сознательного от его «сокрытого центра» («Бога») и потому свободного вообще от всякой «духовки» (попросту говоря — коммунистам) удалось повернуть в качестве социального эксперимента Октябрьскую революцию (интересно, что фамильная аббревиатура пяти главных деятелей «Земли и воли» — Плеханова, Инсарова, Засулич, Дейча и Аксельрода — складывается в слово «ПИЗДА», причем группу эту в шутку так называли еще в девятнадцатом веке, а в православной иконографии апофатический знак иногда изображался в виде черного треугольника над головой Саваофа). Последовательность в реализации апофатической сакральности сказала еще в довольно странном для «материалистического» общества (то есть, казалось бы, для общества «здорового смысла») поступке некрофильского свойства — в открытом экспонировании на Красной площади трупа своего главного вождя. Это экспонирование — как бы опредмеченный «узел» связи старой

православной (апофатической) мандалы: «Ветхий Деньми, почивший от всех дел своих», — и новой коммунистической, коммунальной — олицетворение пчелиной матки в коммунальном улье. Но, так же как и в «Золотом колосе», здесь происходит знаковый «провал» — демонстрируется мертвая матка, и эта ее мертвость, небытийность пронизывает энергетикой небытийности, ненужности всю структуру коммунистического руководства.

Так что, описывая коллективное сознательное советского общества харизматического периода, мы, в сущности, имеем дело только со стратиграфией «ангела-апофата», который расслоился в апокалепсическом движении — на «космонавтов», «титанов», «колосников» (носителей, кстати, апофатической природы), «грузин» и «коротышек». Но каждый этот слой, в потенции возрождения, легко может быть отождествлен с пятью частями, на которые разделился Праджapati: прана (вдыхание — «титаны»), апана (выдыхание — «грузины»), самана (внутреннее дыхание, объединяющее все другие виды дыхания — «колосники»), удана (вдох при умирании и во сне без сновидений — «коротышки») и व्याна (промежуточный момент между выдыханием и вдыханием — «космонавты»).

Такая герменевтика переводит эсхатологическую духовность в начало новой истории.

...

Рядом с фонтаном «Золотой колос», на берегу пруда, построили, но еще не открыли новое здание, довольно странной архитектуры, то ли павильон*, то ли ресторан, то ли еще что-то. Выглядит оно довольно современно. К нему, со стороны пруда, примыкает что-то вроде смотровой вышки с внешней винтовой лестницей и площадкой обзора на вершине. Не исключено, что она предназначена только для служебного пользования. Следовало бы пойти туда и сфотографировать все эти места, по-

* Когда я узнал, что это странное сооружение с вышкой — будущий павильон «Рыбное хозяйство» и что практически весь этот огромный дом представляет собой аквариум, мне стало ясно, что все архитектурные «странности» на ВДНХ объясняются прежде всего сакральностью всего этого пространства, местом данного здания в мандале ВДНХ. Павильон «Рыбное хозяйство» (который, кстати, начал строиться в самом конце советской харизмы, т.е. в самый опасный для идеологии момент) — это символ Всемирного Потопа (воды пруда, где стоит «Золотой колос» как бы поднялись выше самого «колоса» — павильон стоит на берегу того же пруда), а смотровая вышка на этом павильоне — образ горы Арарат, где в свое время спасался Ной. На этой «эсхатологической ихтиологии» и следует поставить точку, не особенно обременяя себя вопросом, почему сакральные пространства с такой легкостью (как в «Алисе в стране чудес») переходят в пространство каламбура.

стараться залезть на эту вышку. Оттуда могла бы получиться хорошая панорамная фотография Ботанического сада, расположенного справа от этого здания, за пределами ВДНХ. Возможно, что это будет просто красивый вид, пейзаж, а не знаковый ракурс. Может быть, что хоть через одно окошко гносеологической решетки «знания», которое губит все живое, можно найти лазейку для свободного взгляда, пусть и специально свободного (как с древних китайских башен созерцания), специально откадрированного, но все-таки с «пустым», десакрализированным центром, где на самом деле всегда скрывается самое драгоценное, что у нас есть — возвращенная неизвестность.

Сентябрь 1986

НАБЛЮДЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ

На китайских свитках, кроме сложных, многослойных паспарту есть еще один «побочный» визуальный ряд или, скорее — поле, которое расположено как бы «над» центральным изображением. Я имею в виду секвенцию печатей принадлежности свитка художнику, коллекционерам и т. д. На некоторых свитках печатей так много, что они составляют полноценный изобразительный ряд, если учесть к тому же графическую сложность и выразительность печатей.

Этот изобразительный ряд может восприниматься и как орнамент, и как история принадлежности свитка. В последнем случае мы имеем дело с другим временным горизонтом изображения, который не только не связан с «центральной» изображением, но прямо противоположен ему по временному значению. В картине преобладает пространственность, характеристики «простора», «размера» и т. д. Например, ландшафт, изображенный на картине, указывает на определенный момент времени — осень, зима, лето и т. д. Орнамент же из печатей рассказывает историю владения картиной, причем длительность («многоэпизодность») во времени этой истории может быть очень велика.

Рассмотрим здесь два значения печатной секвенции, которые легко обнаружить, а именно: сигнифицированное время существования картины как первичной материальной предметности по отношению к печатному слою (для самой картины такой предметностью являлся реальный пейзаж, вид, запечатленный затем на картине), и тематическую определенность рассказываемой истории: принадлежность, владение.

Прежде всего можно сказать, что участие в дискурсе и значение в нем «предметного поля» картины в отношении к «печатному слою» дает нам возможность говорить об усиленном эффекте «искусства как реальности», состоящей из «скрытых мест», неизвестных функций и возможностей. Но если реальность как таковая есть в каком-то смысле «возможность скрытого места» в прямом (пространственном) значении

этого слова, то рассматриваемая здесь «реальность картины» обнаруживается через скрытость не в пространстве, а во времени.

Пространство картины изначально дано нам в полной определенности размера, веса и других физических величин, но физические координаты и наполнения пространства сюжета «от печати к печати», конкретность сюжета этих промежутков до и после моментов изменений владетельного статуса (найденности, приобретенности и т. д.) — скрыта, и, следовательно, время картины (время ее «предметного поля») и является той актуальной возможностью, где обнаруживается «процесс реальности», горизонт развертывания сюжета печатей.

Важно отметить, что появление этого сюжета печатей — легитимно, конвенционально, так как обеспечивается традицией подписей под картиной (или на картине). Здесь традиция выступает гарантом и аналогом естественности возникновения и существования в развитии этого «мира печатей», его полноценного объема и порождающей способности.

Печати указывают на факт перемещения картины из одного места в другое (из одной коллекции в другую, например). И картина, и печать являются знаками. Но в данном случае знак «печать» указывает лишь на перемещение другого знака — «картины». Однако это указание на перемещение знака носит чрезвычайно фундаментальный, тотальный характер. Ведь картина в заявленном здесь дискурсе и отношениях определена нами как «реальность», и, следовательно, речь идет о «перемещении реальности», о необыкновенно грандиозном каком-то действии. Тут скорее полагаются какие-то принципиальные «перемещения» по пространственно-временным горизонтам, осуществляется метафизическая возможность этих перемещений (ведь сам процесс перемещения скрыт, остался только его знак в виде печати).

С точки зрения «перемещения» знаков можно рассмотреть — приблизительно и грубо — виды искусства. Когда мы смотрим пьесу или фильм, мы, в сущности, наблюдаем за тем, как перед нами — на сцене или на экране — перемещаются знаки (актеры, предметы и т. п.). Конечно, мы и сами, своим зрением и интерпретирующим сознанием можем «передвигаться» по этим ужедвигающимся перед нами знакам, однако тот факт, что, в отличие от картины или письменного текста, кинематографические знаки уже сами, по своей природе, «перемещаются», отрицать трудно. При восприятии письменного текста или традиционной картины знаки, составляющие их, неподвижны, и «двигаться» приходится нашему зрению. При просмотре фильма, как я уже говорил, мы имеем двойное движение,

хотя у знаков фильма полное преимущество перед «двигательными» возможностями зрителя: наше движение по экрану глазами, «лучом зрения» не затрагивает сюжета «перемещающихся знаков», то есть мы в качестве зрителя ни в какой степени не владеем сюжетными возможностями, хотя нам и остается множество интерпретационных возможностей на уровне «неподвижных знаков» (письменного текста и т. п.).

Но есть вид искусства, где мы можем как бы «запустить руку» внутрь сюжетной ткани произведения. Не интерпретирующим сознанием, а физически вмешаться в сюжет, владеть одним или несколькими элементами, составляющими произведение. Я имею в виду компьютерные игры, где мы, воздействуя определенным образом рукой на клавиатуру, джойстик или маус и тем самым передвигая курсор на дисплее, можем перемещать знаки героев, предметов или ландшафтов игры, а также всевозможных их характеристик. Замечу, что здесь, мне кажется, не следует вспоминать шахматы и подобного рода игры, так как их эстетическая действительность расположена в другой системности (но не системе!) правил и техник.

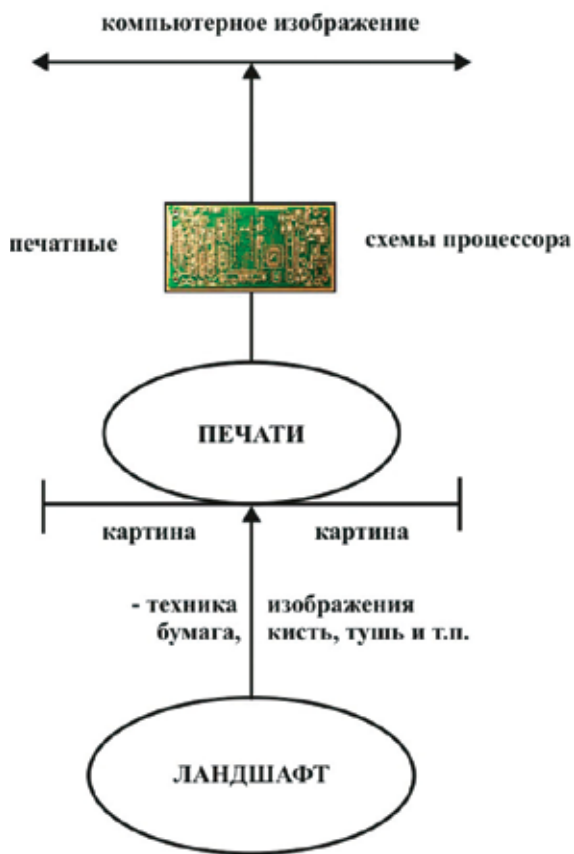
На мой взгляд, такую возможность «владения» с метафизической точки зрения нам предоставляет именно тот самый «печатный слой», природа и принцип его особого временного горизонта, о котором я говорил выше. В компьютерном изображении мы имеем дело с преобразованным орнаментом из печатей владения (преобразованным в ландшафт, сцену и т. д.) и — по природе владения — естественным образом «перемещаем знаки» наподобие того, как свиток, на котором ставились печати, перемещался из одной коллекции в другую. Но в компьютерной игре мы действуем, «владеем» как бы «внутри» этого печатного слоя, он является для нас «реальностью возможностей скрытых мест» — аналогом той «внешней» реальности, каковой являлась непосредственность («природа») для свитка, его «центрального изображения», несущего на себе печатный слой, орнамент из печатей принадлежности.

Итак, можно предположить, что в компьютерных играх мы имеем дело с «открывающимися» сюжетами печатей в их преобразованных и видоизмененных формах. Можно предположить даже и еще более странную, на первый взгляд, возможность: конкретность компьютерного изображения трансформировалась из пиктографии и иероглифики печатей владения, а его «реальность» возникла из тех «скрытых мест» в отношениях «предметного поля» картины и печатных секвенций, о которых мы говорили в связи с эффектом «искусства как реальности».

Здесь интересно отметить — но уже скорее в традициях шизоаналитического наблюдения, — что техническим «преобразователем», реализатором этих удивительных трансформаций выступают «печатные схемы», из которых состоит процессорная часть компьютера. Любопытно, что они называются (во всяком случае по-русски) именно «печатными схемами» (или печатными платами) и внешне очень напоминают те самые иероглифы и пиктографию на печатях владения, покрывающих свитки. Кроме того, сюжеты компьютерных игр в подавляющем большинстве основаны также на принципе владения: интрига состоит в том, что нужно найти какой-то предмет, потом его использовать, чтобы найти другой предмет или получить преимущественную характеристику и т. п. То же самое мы имеем и в отношениях коллекционеров с произведениями искусства. И в том, и в другом случаях идет борьба за обладание каким-либо сокровищем. То есть значение принадлежности, власти над предметом (свитком), на которое тематически указывает печатный слой, генерирующий возможность и «реальность» компьютерного изображения, героико-архаическое содержание этого значения прямым образом выражается в сюжете компьютерных игр.

Но наиболее существенным здесь является то, что компьютерное изображение основано на другом времени (точнее — на «производной времени»), поскольку в основу этого изображения заложена инструментальность преобладающего времени как априорного созерцания, именно операционно преобладающего над другой составляющей априорного созерцания — пространством. Ведь изначально в рассмотренном нами «печатном слое» на свитках мы имеем дело с наращиванием «скрытых мест» времени, а не пространства. И эти «скрытые места» времени и порождают его пространственную реальность, и уже на основе «реализованного времени» (его «первой пространственной производной») возникает конкретное время (производная пространственная множественность) компьютерного изображения. В компьютерных играх мы «ползаем» курсором как бы по «затвердевшему времени», по плотному временному слою, который представляется нам в виде ландшафтов, фигур, предметов и т. д.

Наконец можно сказать, что итоговое пространство игры возникает здесь как результат локализации времени через несколько трансформационных этапов: ландшафт (так называемая «природа»), трансgressирующий через технику изображения в картину, где пространственно-временной баланс «природы» перемещается в сторо-



ну пространственного значения, затем «печатный слой» с его актуализированной темпоральностью и тотальностью «скрытых мест», что позволяет рассматривать его практически на уровне «реальности» первичного «ландшафта», и затем последующая трансгрессия этого «печатного слоя» через технику печатных схем процессора в компьютерное изображение с внешне «восстановленным» пространственным значением. Последний этап — компьютерное изображение — как бы аналогичен «природе» по ее пространственно-временным характеристикам, по их сбалансированности. Однако тут важно то, что, если дискурсируя феномен природы, мы не можем решить, какое из двух априорных созерцаний преобладает, фундирует и, более того, такая постановка вопроса о «первичности»

и «вторичности» кажется нам просто неуместной и неграмотной в метафизическом смысле, в случае с компьютерным изображением можно сказать, что в природе, принципе этого изображения преобладает время, оно является конструирующим материалом его пространственных ограничений и возможностей.

Август 1992 г.

ИДЕОЛОГИЯ ПЕЙЗАЖА

Класс — млекопитающие

Отряд (раса) —

Род (национальность) —

Семейство (фамилия) —

Вид (имя) —

Здесь мне хотелось бы кратко рассмотреть идеологию так называемого «реалистического» пейзажа. Причем рассмотреть пейзаж не на уровне картины, т.е. материального предмета в раме, имеющего свой горизонт исторического существования (экспозиции, коллекции, реставрационные и репродукционные акты вплоть до изъятия предмета из исторического обращения), а на уровне изображения. Глубинно-идеологические интенции (как источник бессознательного впечатления), на мой взгляд, лучше всего просматриваются именно на горизонте изображения, образа.

Задача данного анализа — определить ту «рекламу», которая скрыта в реалистическом пейзаже, наподобие того, как в художественных кинофильмах, рассчитывая на «глубинное» впечатление, скрывают несколько кадров обычной рекламы, которая на визуальном уровне зрителем не прочитывается (из-за скорости прогонки рекламных кадров), однако предполагается, что эта скрытая информация каким-то образом внедряется и фиксируется в бессознательных психических слоях зрителя.

Итак, какая же «скрытая» информация, реклама заложена в обычном, «реалистическом» пейзаже? Прежде всего следует посмотреть, чем отличается означающее этого пейзажа от его означаемого (т.е. нарисованный пейзаж — от реального вида). Казалось бы, реалистический пейзаж построен на совершеннейшем подобии означающего и означаемого. Различие, однако, есть. И различие настолько кардинальное, что оно не идет ни в какое сравнение с проблематикой соотношения означающего и означаемого в абстрактной живописи или в концептуальных объектах и инсталляциях, которые с точки зрения этого различия по-преимуществу замкнуты сами на себя и могут рассматриваться более продуктивно не на уровне «изображения», а на горизонте их исторического существования. Означаемые контексты концептуализма значительно «ближе» к означающим (по сравнению с «реалистическим» пейзажем). Они более-

менее автономны от эйдологических проблем и тем самым изначально заявляют себя как действительные «произведения искусства», тем самым определяя и искусство как автономный вид человеческой деятельности (наряду с другими видами).

С «реалистическим» пейзажем дело обстоит значительно сложнее и «концептуальнее». Оставим в стороне двухмерность реалистического полотна по отношению к трехмерности его означаемого — то есть изображенного на полотне «пространства». Мы просто констатируем это первое кардинальное отличие, не требующее никаких доказательств. Для нашего дискурса важнее второе кардинальное отличие: пейзаж,

с которого срисовывает свою картину художник, погружен во временной континуум. Учитывая это бесспорное обстоятельство, можно задаться вопросом: что же на самом деле совершает художник, срисовывая свой пейзаж с выбранного им вида? Да он просто уничтожает этот временной континуум: «пейзажирование» «останавливает» огромный участок пространства вместе с его наполнением: деревьями, травой, облаками, животными, фигурками людей и т.п. То есть в этом акте пейзажирования совершается радикально-концептуальный акт, затрагиваются самые глубины видимой предметности, данные нам во времени как в априорном созерцании. Именно в этом кардинальном акте вычленения из временного континуума подвижной по своей природе предметности следует видеть идеологическую интенцию «реалистического» искусства. Это касается не только пейзажа, но и портрета, и натюрморта. Кстати сказать, натюрморт и поможет нам перейти от общего определения этой интенции к ее инструментальным дефинициям. Натюрморт, как известно, — это «мертвая натура». Учитывая все вышесказанное, мы можем позволить себе определить акт реалистического «пейзажирования» как акт умертвления природы. Следовательно, глубинно-инструментальная, бессознательная интенция каждого «реалистического» пейзажа — это интенция смерти, точнее — «умертвления».

Обнаружив эту идеологию реалистического пейзажа, можно рассмотреть и причины популярности среди «народа» пейзажного жанра («реалистический пейзаж — это понятно! это хорошо!»), предварительно сказав вот о чем. В «пейзажировании» как «умертвлении» природы не трудно увидеть религиозные корни. Художник-пейзажист всегда пишет «природу» как бы «сверху», с «небес» — он всегда «небесный» художник. Под «небом» здесь, конечно, подразумевается не небесный свод,

облака, атмосфера (которые могут присутствовать в пейзаже), а его, художника, замысел написать «пейзаж». Ведь ум пейзажиста-реалиста, в котором рождается этот концептуальный замысел, трансцендентен реальному, неостановленному во времени виду. Художник-пейзажист — за пределами видимого мира (в этом смысле я и употребляю термин «небесный» художник). Здесь хорошо просматривается метафизическая ось «небо-земля» (у И.Кабакова, кстати, есть «картина», изображающая эту «ось»), на луче которой и происходит акт пейзажирования-умертвления идеологизированной «земли». «Пейзажирование» в христианской традиции — это постоянная война «духа» («неба») с плотью («землей»), о наличии которой определенно заявлено в Священном писании. В религиозно-метафизическом смысле художник-реалист выполняет задание, в свое время отчетливо сформулированное апостолом Павлом. Через реалистический пейзаж ведется постоянная «война», стратегический смысл которой заложен религиозно-метафизическим Генштабом в начале первого столетия нашей эры.

Теперь подумаем о том, почему, в отличие от абстракционизма или концептуализма, реалистический пейзаж не вызывает никаких нареканий у «народа». Да потому, что акт пейзажирования «умертвляет» живой вид и дает возможность «народу» самоопределиться в качестве такового в трансгрессивном акте на зоологическую иерархию: род — более «высокий» порядок, чем вид. В акте восприятия пейзажа (нарисованного) человек отождествляет себя не с видом (именем), даже не с фамилией (семейством), а с родом. Он как бы «трансцендируется» на два порядка «выше», в «небеса», становится соучастником акта «пейзажирования», т.е. умертвления «земного», тем самым как бы соучаствуя в каком-то «божественном» действии. Ведь умертвление вида — это неизбежный, поистине «божественный» акт, очень хорошо понятный анонимному «народу». «Народ» прекрасно знает, что вид (имена), из которого он состоит, обязательно подвергается умертвлению. Поэтому самоопределение человека в качестве «народа» представляется более «надежным», во всяком случае — неопределенно растянутым во времени.

Вероятно, именно на этом эффекте основывается та легкость, с которой человек позволяет затягивать себя в различные тоталитарные пространства, действующим лицом которого всегда является не вид, а «народ».

Кроме того, «народ» не любит, когда его «сокровенные», концептуальные акты («обожение» через понятие «народ») называют своими

именами. А концептуализм даже своим названием указывает на эту «сокровенность». Естественно, что «народ» чувствует в этом какой-то подвох и даже «удар» по своей «сокровенности».

В тоталитарных пространствах больше всего поощряется «реалистическое» искусство именно как «народное». Причем в количественном отношении, в массе доминирует реалистический пейзаж (вероятно, как основа трансцендирования «вида» в «род-народ»). Реалистический пейзаж обеспечивает мощь тоталитарного пространства, поскольку через «пейзажирование» осуществляется «умертвление» больших предметных пространств, на фоне которых человек как вид-имя просто теряется. Я не могу с определенностью сказать, что, например, в Германии 30-х годов «реалистический» пейзаж преобладал в массе над другими жанрами (портрет и т.п.). Но что касается советской живописи 30-70-х годов — пейзаж явно доминирует над другими жанрами в количественном отношении «единиц производства» у «официальных» художников и особенно академиков живописи. Абсолютно подавляющую массу пейзажей (по сравнению с другими жанрами) я обнаружил в сборнике «Изобразительное искусство КНДР» (издание КНДР, 1985 год).

Итак, мы выяснили выше, что основная бессознательно-глубинная интенция пейзажа — это интенция умертвления, войны. Пейзаж — это своего рода плакат, призывающий к умертвлению. Всякое тоталитарное пространство всегда окружено «врагами». Вероятно, именно поэтому тоталитаризм и поощряет «реалистические» пейзажи, чувствуя в них скрытую рекламу агрессии, призыв: «Убей врага!». На этом скрытом горизонте рассмотрения какого-нибудь красивого пейзажа, изображающего леса, горы, озера, коллективное бессознательное «народа» прочитывает «красивый» пейзаж прежде всего как военную маскировку: во всех этих так называемых «горах», «лесах» и «озерах» скрываются враги, от которых и нужно защищать «обожещенный» тоталитарностью «народ».

Пейзаж как скрытый плакат корреспондирует с тоталитарным плакатом (как жанром). На тоталитарных плакатах изображаются гиганты (символ анонимного «народа»), которые по своему идеологическому объему соответствуют масштабности «умертвленной» «земли» на пейзажах. Но одновременно пейзаж, порождая тоталитарный плакат, волею неволей передает ему и свою основную глубинную интенцию «умертвленности». Какие бы динамичные позы ни принимали «божественные гиганты», изображенные на тоталитарных плакатах, они — порождение мертвой, пейзажированной «земли» — заранее обречены на «провал».

На уровне интенции изображения они несут в себе свою собственную смерть: тоталитарное пространство изживает себя через жанр плаката.

Таким образом можно сказать, что через «реалистический» пейзаж происходит становление героического периода тоталитарности («народ» обнаруживает себя в качестве такового), а через плакат — ее изживание и распад, что очень хорошо видно на примере «брежневского» периода советского искусства, где плакат был одним из ведущих и заметных жанров «официального», точнее — тоталитарного искусства.

Во второй половине 70-х — начале 80-х годов тема перехода «реалистического» пейзажа в тоталитарный плакат (или лозунг) была основной у трех представителей московской школы концептуализма. О.Васильев в своем творчестве сосредоточился на «разламывающемся» «реалистическом» пейзаже. Своего рода «радиоактивное излучение», исходящее из его пейзажей, можно рассматривать как формальное выражение, вскрытие чрезмерно накопившейся интенции «умертвления» в советском «реалистическом» пейзаже, о которой мы говорили. Э.Булатов буквально «выращивал» свои плакаты и лозунги из «реалистических» пейзажей, обнажая механизм перехода одного тоталитарного жанра в другой и варианты их взаимодействия. Тот же механизм взаимодействия пейзажа и плаката (в форме лозунга) демонстрировал в своих стихотворениях В.Некрасов.

Все, что здесь сказано о пейзаже, имеет отношение исключительно к изображению, а не к картине как таковой. Речь шла о пейзаже без фона, т.е. о таком пейзаже, где изображение занимает собой всю поверхность холста и ограничивается либо подрамником, либо рамой.

Но есть и другой вид пейзажей, когда ограничительная рама в качестве фона внедряется в изображение как его значимая (семантическая) основа. В этом случае возникает два означающих — фон и изображение. Они начинают «мерцать» относительно друг друга, т.е. постоянно меняться функциями означающего и означаемого. Изображение замыкается на самом себе, становится самодостаточным и уже не имеет никакого отношения к «натуре». Речь, в основном, идет о старой китайской живописи на свитках. Лягушки, бамбук, лес, горы и т.д. на этих свитках имеют отношение не к реальным лягушкам и т.п. как к своим «означаемым», а только к фону как семантически значимой составляющей эстетического акта, на котором они изображены. Это может быть белый фон, тонированный и т.д. О.Васильев и Э.Булатов достигли эффекта дистанцирования своего изображения от означаемого тоже благодаря

семантизированному фону: они определили его как «световой» (правда, в большей степени на уровне концептуально-текстового дискурса, но уж таковы особенности концептуального искусства!).

Многослойные паспарту, которые обрамляют такого рода живопись (свитки), как раз и подчеркивают ее автономность от «реальных» обозначаемых.

Наличие этой семантической «подкладки» под изображением, которая транспонируется из материальной части картины (рамы), и возникающего между ними «мерцания», естественно, не дает никакого эффекта «умертвления» как бессознательно-глубинной интенции европейского «реалистического» пейзажа. Надо отдать должное И.Кабакову, который много сделал для того, чтобы актуализировать раму как семантически значимый элемент и внедрить ее в означающее картины наряду с изображением.

Пейзажи, выполненные в «свиточной» традиции, основанной на другой ментальности и другом (не библейском) текстовом каноне, стоят в одном ряду (а возможно, являются своего рода генераторами) таких направлений в европейском искусстве, как абстракционизм, концептуализм и т.д.

На многослойности обозначающих построена, например, серия акций КД «Лозунги», где даже сам пейзаж, на фоне которого вывешивались (и оставлялись) «лозунги» превращался в обозначающее ускользающей предметности как таковой.

В отличие от ранее рассмотренных реалистических «народных» пейзажей, это искусство — ярко выраженное «антинародное». Оно — «видовое», индивидуальное, демонстрирующее конкретный вид лягушки или вороны (на свитке), конкретный жест конкретного художника (абстракционизм, концептуализм). Видовая конкретность этого искусства оставляет «народ» либо равнодушным (свитки: «все-таки какая-то старая традиция, черт его знает!»), либо вызывает агрессивное непонимание (абстракционизм, концептуализм: «издеваются над искусством!»). То есть через видовые артикуляции «народ» не может трансцендироваться на уровень «народа» — божественности, соучастия в акте сотворения мира «по образу и подобию». «Народ» очень одобряет подобие («Во! похоже, здорово!»), испытывая удовольствие от сопричастности к запрограммированному библейским текстом акту творения. Человек на уровне «народа» не интересуется эстетикой, у него чисто религиозное отношение к изображению.

Печальное стремление человека быть «народом», т.е. в биологическом параллелизме — родом, а не видом (минуя даже промежуточное «семейство»), активизирует в бессознательном мыслеформу «крови» («родной по крови»), которая, к сожалению, так часто и реализуется в драках, войнах и столкновениях разных «народов», «отрядов» (расах), «надотрядов» (религиозные войны) класса млекопитающих, к которому относится человек.

Тут интересно было бы рассмотреть оценочные трансгрессии человеческого поведения на классификационные категории, принятые в зоологии. Например, когда говорят «Классно!» (или «классическое», «классицизм»), то тем самым хотят сказать, что человек добился как бы «высшего соответствия» своих возможностей и результатов: ведь «класс» — это самый высокий (или низкий?) уровень различения человеческой эволюционной иерархии от млекопитающего (класс) к имени (вид). А когда говорят «ну, это еще тот тип!» — высказывание лежит уже за пределами понимания «млекопитающего», поскольку «тип» «выше» (или все же ниже?) «класса» в зоологической иерархии.

В этом смысле марксизм самым неожиданным образом «продвинулся» в глубины (или высоты?) систематики, назвав «классами» различные социальные функции (рабочие, крестьяне и т.п.), которые с точки зрения «систематического параллелизма» все же правильнее было бы назвать «подклассами», поскольку человек любой расы («отряд») и любого вероисповедания («надотряд») может быть слесарем, фермером, инженером, художником и т.п. (Вспомним, кстати, и приверженность марксистов к естественным наукам, особенно к дарвиновской теории «происхождения видов»).

Не исключено, что бессознательный психологический мотив марксистской идентификации функций с «классами» коренится в отношении к человеку как к «типу». Тип — это вообще не человек, поскольку человек «начинается» только с класса, с млекопитающего. Тип же, куда относится класс млекопитающих — хордовые, к нему принадлежат и земноводные, и пресмыкающиеся.

Можно сказать, что тоталитарная наука (в данном случае — марксизм) структурирует свой дискурс на основе еще более «глубинных» категорий, чем тоталитарное искусство, устанавливая свой «наблюдательно-исследовательский» пункт на «типовом» уровне, откуда созерцает и делит людей на соответствующие «классы», тем самым создавая в «народе» дополнительные «надродовые» (в классификаци-

онном смысле) напряжения, ведущие к столкновениям на нововведенном иерархическом уровне (например, уничтожение одного «класса» другим и т.д.). Впрочем, здесь мы уже переходим к другой теме — эволюция общемирового коммунального тела на основе конвергирующих тоталитарных пространств, которая слишком далеко выходит за рамки рассуждений об идеологии пейзажа.

В заключение можно сказать, что успехи современной систематики предоставляют возможность человеку тоталитарно трансцендировать и на еще более «глубинно-высокие», чем «тип», уровни. «Над» типом, например, помещаются «разделы», затем — «подцарства», за ними — «царства» (почти как у Дионисия Ареопагита!) и, наконец, «империи». Человек относится к империи Eucaryota, что значит «ядерные». Здесь трудно удержаться от каламбура. Похоже, что «верхняя» площадка трансцендирования уже занята — ядерными бомбами, которые, видимо, и положили предел стремлению человека к «обожению» и сотворению тоталитарных пространств.

Декабрь 1989

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ «ПОЕЗДОК ЗА ГОРОД»

Большинство описанных здесь акций представляет собой ситуацию, когда группа людей позвана организаторами акции участвовать в каком-то неизвестном им действии. Все, что происходит в подобной ситуации, можно разделить на происходящее в эмпирической сфере (по предварительному плану организаторов) и происходящее в сфере психического, то есть переживания того, что происходит в зрительном поле участников во время действия, и переживания того, что предвещает и сопутствует действию.

Поскольку нас в нашей работе интересует именно область психического, «внутреннего», то нам приходится уделять особое внимание всякого рода предварительным событиям — тому, что происходит как бы «по краям» демонстрационного «поля» акции. Само демонстрационное поле расширяется и становится предметом рассмотрения: мы пытаемся обнаружить на нем зоны, обладающие определенными свойствами и взаимоотношениями. Эти свойства и отношения, как нам представляется, воздействуют на формирование уровней восприятия, на одном из которых может быть достигнуто переживание происходящего как происходящего по преимуществу «внутри» освобождающегося сознания — такова общая задача акций. В конструктивном отношении задача состоит в том, чтобы не выходить произвольно за рамки прямого восприятия, в которых разворачивается начало практически каждой акции.

В этой связи, естественно, изменяется и отношение к сюжетам акций. Мифологическое или символическое содержание сюжета не является важным (по замыслу организаторов) относительно конструирования того уровня восприятия, для создания которого — как один из конструктивных элементов — он (сюжет) используется в качестве инструмента.

Однако любое действие на демонстрационном поле — как бы оно ни было минимально — влечет за собой интерпретацию и на один метафорический слой самого демонстрационного поля ложится еще один: зритель начинает думать, что означает то или иное действие и в конце концов «обнаруживает» его мифологическое или какое-нибудь иное содержание. Правда, построение некоторых акций таково, что они включают в себя и интерпретационный процесс («интерпретационность» как таковую), то есть во время их реализации необходимость «проинтерпретировать» как психическая необходимость осуществляется в форме определенно направленного, причем заведомо для организаторов ложного, понимания. Таким образом во время акции расширенная интерпретация исключается, но потом она неизбежна, а так как акции обычно кратковременны, у участников может создаться впечатление, что эта «мифологичность» была прочитана ими во время самого действия. Проблема свободной интерпретации является для нас принципиально важной. Мы рассматриваем свободную интерпретацию как демонстрационную позицию «внешнего наблюдателя». На этой и только на этой позиции находится, например, читатель описательных текстов акций. Однако есть некоторые способы, которые препятствуют формированию этой позиции во время самой акции и, главным образом, какое-то время после ее видимого завершения. Одним из таких способов является введение внедемонстрационного элемента, действие которого продолжает уровень переживания и создает впечатление неопределенности временного конца акции. Введение внедемонстрационного элемента в демонстрационную структуру на различных этапах действия и его протекание во времени демонстрации мы будем в дальнейшем называть «пустым действием».

Для того, чтобы зрителям стало ясно, что их сознание было вовлечено в конструирование события (или в подготовку к акту самосознания) и — по познающему воспоминанию — ими был бы осмыслен тот факт, что во время происходящего их сознание и было объектом демонстрации для несуществующего на физическом плане «внешнего наблюдателя», мы и вводим «пустое действие», которое, означивая систему демонстрационных отношений, формирует сознание зрителей-участников одновременно и как одну из составляющих эстетического акта.

Здесь мы определили «пустое действие» как принцип, однако, в каждой акции оно выражается по-своему и рассматривается как определенный временной отрезок акции, когда зрители, если можно так вы-

разиться, «напряженно не понимают» или «неправильно понимают», что происходит. Забегая вперед, отметим, что те средства-акты или средства-события, с помощью которых реализуется «пустое действие» (появление, исчезновение, удаление, раздвоение и т. д.), не только создают условия для медитации на уровне прямого восприятия, но и становятся ее темой.

Весьма важным элементом демонстрационной структуры мы считаем отношение объектности и субъектности в динамике их взаимосвязи. Читателю не трудно заметить, что движение фигур и объектов в описанных акциях происходит в основном по прямой линии в двух направлениях: либо от зрителей, либо к зрителям. В данном контексте это движение нужно понимать как движение по своего рода «линии восприятия», которая является принадлежностью демонстрационной модели.

Итак, все фигуры и этапы действия акций являются как бы «следом карандаша», очерчивающего края, зоны и отношения пустого (чистого) демонстрационного «поля», по которому «проходят» участники и организаторы акции по мере ее осуществления. Здесь мы кратко хотим остановиться на самом демонстрационном поле, в общих чертах постараемся описать некоторые его этапы, состояния и структуры, принимая во внимание и в какой-то мере основываясь на впечатлениях участников.

Первоначальное переживание участника-зрителя, позванного на акцию, можно определить как состояние ожидания. До начала события на эмпирическом поле это «поле» ожидания наполняется всякого рода предчувствиями и предположениями. Очевидно, что чем «неизвестнее» обещанное в приглашении событие, тем менее конкретно оформляются эти предчувствия и предположения. Тенденция этого переживания такова, что, если свести эту конкретность к минимуму, то поле ожидания практически будет оставаться пустым и напряженным до самого начала действия. Здесь большую роль играют различные контексты, складывающиеся в определенный историко-контекстуальный фон, который необходимо учитывать при планировании акции, чтобы, с одной стороны, она была с ним связана, а с другой — как бы выходила за его пределы, тем самым меняя этот общий контекстуальный фон. (В этом смысле нам кажется знаменательным и определяющим проникновение некоторых элементов, а главное, принципов, различных духовных практик в современную эстетику).

Итак, если поле ожидания «пусто», то и само ожидание как психическое переживание концентрируется и ощущается как почти достаточ-

ное (пред-достаточное) состояние. Возникает впечатление, что действие уже началось, в то время как в действительности переживающий это состояние еще не подошел к тому месту, откуда ему будет видно (или слышно) действие.

Мы использовали два средства для создания этого предварительного впечатления, которое можно назвать пред-ожиданием. Во-первых, это форма приглашения (или предварительная инструкция), во-вторых — пространственно-временные особенности путешествия к месту события. В отношении к дальнейшему разворачиванию демонстрационного поля мы будем называть полем пред-ожидания такое психическое поле, которое еще не «сомкнулось» через зрительное поле с реальным (эмпирическим) полем, на котором предполагается «увидеть» некое ожидаемое событие.

Здесь мы можем дать предварительное определение демонстрационного поля как совокупности психических, зрительного и эмпирического полей, в которую включаются — что важно отметить — как предвещающие само действие переживания и события, так и продолжающиеся после завершения действия.

Размытые пространственно-временные границы пред-ожидания концентрируются в более жесткие пространственные и временные ограничения уже собственно ожидания в момент выхода участников-зрителей из леса на открытое пустое поле с помощью простейшей инструкции-предупреждения типа «вот здесь это произойдет». Необходимо подробнее остановиться на этом реальном поле, которое в такой психологической ситуации безусловно и бессознательно снабжается эпитетом «пустое». Реальное поле может быть коричневым, зеленым, ровным, горбатым и проч., но совершенно ясно, что в этот момент главной его особенностью для человека, пережившего пред-ожидание и теперь переживающего ожидание, является его «пустота».

Переживание этой «пустоты» реального поля и продолжающееся переживание ожидания как пустого «поля» ожидания — смыкаются. Реальное поле метафоризируется и в какой-то момент может восприниматься как продолжение поля ожидания, наделяясь при этом качествами, присущими психическим полям: «невидимость», необъектность, расположенность «внутри», то есть непротивопоставленность сознанию. Надо сказать, что именно свободный простор реального поля довольно больших размеров, когда зрительное поле как бы свободно разворачивается в пространство и вместе с ним «разворачивается» поле

ожидания, дает эффект сохранения на длительное время концентрированного ожидания.

Здесь возникает проблема не нарушить это состояние грубым вторжением какого-нибудь объекта или события в зрительное поле. Как мы уже говорили выше, у нас нет задачи что-либо «показать» участникам-зрителям. Задача состоит в том, чтобы сохранить впечатление от ожидания как от важного, значимого события. Однако, если пред-ожидание требует своего разрешения в ожидании, что и осуществляется, то и ожидание в свою очередь требует своего разрешения в каком-то новом переживании, то есть оно необходимо требует начала действия — иначе не может осуществиться как свой предмет. Здесь важно, сохранив освобожденность сознания от непосредственной сферы обыденного восприятия, достигнутую в результате «проведения» его как бы по периферии демонстрационного поля, воздействовать на него через запрограммированное событие самой акции таким образом, чтобы оно не вернулось в исходное состояние, предшествующее пред-ожиданию, а сохранилось внутри самого себя в этой своей освобожденности при восприятии вполне реальных событий.

Для решения этой задачи (здесь мы будем иметь в виду определенную группу акций: Появление, Комедия, Третий вариант, Картины, Место действия) мы используем прием постепенного выведения объекта восприятия (фигуры участника-устроителя) из невидимости — через зону неразличения — в зону различимости на эмпирическом плане демонстрационного поля.

И все же, если до сих пор мы имели переживание чистого ожидания, то теперь, при появлении на реальном поле объекта восприятия, это переживание прекращается, прерывается и начинается процесс усиленного смотрения, причем возникает желание понять, что значит этот объект. С нашей точки зрения этот новый этап восприятия является паузой, необходимым этапом процесса восприятия, но ни в коем случае не тем событием, ради которого все и затевалось. Сразу скажем, что само действие акции совершается «для отвода глаз». Природа ожидания требует, чтобы мы осуществили этот этап и уклониться от этого в рамках поставленной задачи невозможно, но можно «обмануть» восприятие, то есть осуществить его, но потом дать понять, что «в то время, когда все смотрели в одну сторону, главное событие происходило совсем в другом месте» — в данном случае в сознании самих зрителей.

Здесь есть одна важная особенность, которую необходимо уяснить, а именно: событие происходило, то есть к моменту понимания, что это

«смотрение» было «смотрением не туда», главное событие уже произошло, о нем можно только вспомнить в настоящий момент, но сознательно за ним следить нельзя, так как в то время, когда оно протекает, сознание занято другим, направлено на восприятие другого.

Но что же происходило на самом деле? Если то, что происходило на реальном поле — ложно, то относительно какой истинности понимается эта ложность, на что она указывает? Очевидно, что на этом этапе демонстрации мы «окружены» довольно большим «полем» ожидания, мы как бы углубились в него на значительное расстояние от краев и теперь замкнулись на самих себя — так как то, что нам демонстрировалось, на самом деле было демонстрацией нашего восприятия — и ничего больше. Вот это чистое ожидание и есть то, что происходило на самом деле, причем такое ожидание, которое совершилось. Совершилось, произошло не то, что мы ожидали, не какое-то конкретное событие, противопоставленное нам, а именно само ожидание совершилось и произошло. Другими словами, пауза восприятия объекта закончилась тем же ожиданием, но оно происходит уже на другом уровне восприятия и во время его протекания не воспринимается за таковое: оно было пережито через воспоминание о нем в определенный момент действия. После этого момента завершение действия (уход фигуры с поля) воспринимается совершенно непосредственно, как бы вне его условности — наряду с деревьями, травой, самими зрителями, то есть оно разметафоризировано.

Важно понять, что реальное «поле действия» опять становится «пустым» полем еще до того, как участник-устроитель с него ушел. В результате определенного действия участников-устроителей это поле опять метафоризуется как «пустое» — на нем возникает место, уровень своего рода «возвышенной пустоты», с которым вспоминаящее (понимающее) сознание участников-зрителей вступает в метафорическую связь, тогда как участник-устроитель как бы «соскакивает» после этого момента действия на эмпирическое поле, то есть, находясь все еще в эмпирической зоне демонстрационного поля перестает восприниматься как демонстрируемый по плану акции объект — он просто человек, который уходит и ушел в лес, так же как в начале он был просто человеком, появившимся вдали из леса.

Следует оговориться, что в этом предисловии мы рассматриваем только одну, поверхностную часть всей ситуации, то есть «для зрителей» и более-менее связанную с эстетическими проблемами. Внутренний смысл ее, связанный с главной целью акций, а именно, получении

ем определенного духовного опыта, по существу своему не знакового, и который имеет реальное значение исключительно для действующих на поле устроителей, здесь не рассматривается.

Итак, для создания подобного рода ситуации все объекты, фигуры движений (как мы говорили выше, у нас это обычно прямая линия от появившегося объекта восприятия к субъекту или наоборот, то есть движение как бы по «линии» субъектно-объектного отношения), используемые в действии, не должны иметь самостоятельного значения, на них как бы «ничего не должно быть написано» сверх того, что фигуры участников имеют значение именно и только «участников» относительно «зрителей», а если используется какой-либо предмет, то он должен использоваться исключительно для создания определенных условий восприятия, например, чтобы создать невидимость или впечатление одинаковости и т. п.

Как мы говорили выше, появление объекта восприятия в наших акциях происходит из невидимости через неразличимость, что требует известной аккомодации зрения воспринимающего. Этот прием дает возможность согласовать психологические и эмпирическую зоны демонстрационного поля.

Итак, вслед за появлением фигуры разворачивается некое «ложное» событие в зоне «различения» и, наконец, возникает резкое разделение происходящего на 1) эмпирическое событие, выведенное в область непосредственного после момента понимания зрителями, что действие было ложным, «пустым», и на 2) психическое событие — переживание совершившегося ожидания.

В момент этого разделения сознание как бы отторгается от конкретности своего ожидания, то есть совершившееся через воспоминание ожидание — это ожидание, снятое в своей конкретности. Следовательно, память в данной ситуации также является психической зоной демонстрационного поля. Этот момент можно описать таким образом. Истинность действия кончилась в тот момент, когда объект восприятия вышел из зоны неразличения в зону не прямого, противопоставленного восприятия. Манипуляции участников-устроителей в зоне различения производились для того, чтобы оставить аутентичность действия в прошлом, не выводя в настоящее: «оно кончилось тогда», но не «оно кончилось сейчас». Но мы узнали об этом только сейчас. В промежутке между «тогда» и «сейчас» мы обманывались, но в момент «сейчас» нам сказали об этом. Этот временной промежуток между «тогда» и «сей-

час» — дистанция (в нашей памяти) между нашим ожиданием и нами. Мы «смотрим» на него отсюда, пребывая в состоянии «безобманности», мы освобождены от самообмана в одном его конкретном, длившемся во времени, выражении-установке. «Смотреть» на ожидание есть на самом деле переживать ожидание как ожидание совершившегося освобождения от самого себя. Вероятно, необычность этого переживания в условиях демонстрации (хотя оно может быть и не осознано в том виде, как описано здесь — и даже не должно быть так осознано) и рождает чувство, что обещанное совершилось, что «не обманули».

В сугубо же эстетическом смысле можно было бы охарактеризовать представленные здесь акции как попытки сделать необычным восприятие обычного появления, исчезновения, удаления, света, звука и т. д.

Июнь 1980

СЕМЬ ФОТОГРАФИЙ

Эта заметка предполагает, что читатель ее либо присутствовал на тех акциях, о которых здесь говорится, либо — что еще лучше — знаком с нашей книгой «Поездки за город». Я постараюсь кратко рассмотреть здесь взаимоотношение между событием акции и вторичным материалом, который его документирует.

С большой степенью достоверности можно сказать, что в данном случае вторичный материал порождает совершенно иную эстетическую реальность: те законы построения и восприятия, которые действуют в процессе осуществления акций, принципиально отличны от структурного единства вторичного материала (куда входят не только фотографии, но и тексты — описательные и рассказы участников).

Обычно предполагается, что вторичный материал отражает сущность работы. Рассматривая его, мы можем обнаружить авторские интенции, понять и оценить произведение. В наших работах ничего подобного не происходит. В лучшем случае при знакомстве с фотографиями и текстами может возникнуть ощущение положительной неопределенности. Но остается неясным, какой же знак из всего материала (или, может быть, это знак всей его совокупности) указывает на сущность события. Попробуем обнаружить этот знак.

Для этого нам необходимо уточнить категорию «сущность события». При упрощенном и беглом рассмотрении проблемы обнаруживается три вида или три уровня этой сущности — демонстрационная, экзистенциальная и интенциональная. Для краткости дискурса допустим, что в наших акциях экзистенциальная и интенциональная сущности совпадают. Об экзистенциальной сущности скажем только, что акции реализуются в получении некоего реального опыта, но не в получении изображения этого опыта. Отсюда следует, что искать прямого соответствия между вторичным материалом и экзистенциальной сущностью не имеет смысла, не говоря уже о том, что, рассматривая вторичный материал, нельзя получить этот опыт.

Обратимся теперь к демонстрационной сущности, которая разворачивается «параллельно» экзистенциальной в процессе осуществления акции. Знаковость этой сущности определяется тем, что она принадлежит к системе демонстрационных отношений и, следовательно, во вторичном материале должен быть знак, указывающий на нее. Его-то и следует искать среди множества фотографий вторичного материала.

В авторских комментариях к акциям мы полагали эту демонстрационную сущность в так называемом «пустом действии», когда в структуру акции вводится внедемонстрационный элемент. Механизм «пустого действия» очень ясно можно проследить по «Комедии». Фигура в балахоне движется в сторону зрителей. Участник с поднятыми под балахоном руками имитирует пространство, в котором — для наблюдателей — находится второй участник. На самом деле второго участника там нет. Участник в балахоне как бы несет «спрятанную пустоту». Затем он поднимает балахон и «спрятанная пустота» становится явной. Участник в балахоне уходит в лес. Перед зрителями остается пустое поле. Но теперь пустота этого поля не та же самая пустота, которая была до начала действия — она «неслучайная». Вся работа устроителей акции заключалась в том, чтобы создать эту «неслучайную пустоту», вернуть неслучайность пустоты всегда случайно пустому пространству. На опустевшем поле, «спрятавшем» второго участника, в какой-то неопределимый момент происходило нечто близкое к тому «ничтоженью Ничто», о котором Хайдеггер говорит: «Ничтожение не случайное происшествие, а то указывающее отсылание к ускользающему сущему в целом, которое приоткрывает это сущее в его полной, до того потаенной странности как нечто совершенно Другое — в противовес Ничто.. Оно впервые ставит наше человеческое вот-бытие перед лицом сущего как такового» («Что такое метафизика?»).

До тех пор, пока участник в балахоне не поднял балахон, не обнаружил «спрятанную пустоту», все, что происходило на поле, было лишь подготовкой и зрители находились в обычном состоянии ожидания. Но после того, как пустота была высвобождена и «наполнила» демонстрационное поле, ожидание превратилось в событие, то есть произошло то, что в комментариях мы называем «совершившимся ожиданием». Переживание «совершившегося ожидания» и есть тот реальный опыт, о котором мы говорили в связи с экзистенциальной сущностью события. Но этот процесс происходит в сознании зрителей и никак не может быть изображен. Может быть изображено то, что сопровождает этот внутренний процесс, то, что происходит на поле действия в это время. Но на поле

действия в это время ничего не происходит, оно пусто, участники ушли. Но в результате того, что один участник, «высвободивший» пустоту, ушел в лес, а другой исчез в уже метафоризованном как «потаенность» поле, перед зрителями осталась «неслучайная» пустота, отличная от всегда случайно пустого пространства. Эта неслучайная пустота и есть демонстрационная сущность события, а фотография пустого поля, снятого в этот момент, есть знак, указывающий на эту сущность. Все остальные фотографии «Комедии» являются лишь документацией подготовительной работы, включая и те фотографии, на которых изображен человек в балахоне,двигающийся по полю (то есть то, что непосредственно наблюдали зрители во время действия).

Итак, фотография пустого поля, изъятая из ряда документальных фотографий, повествующих о том, что происходило на поле 2 октября 1977 года, перестает быть документальной, становится знаком более высокого порядка, знаком «неслучайной пустоты» с таким смыслом: «на ней ничего не изображено не потому, что ничего не происходило в данный момент, а потому, что то, что происходило, принципиально неизобразяемо». Демонстрационная сущность события — «пустое действие» — изображается отсутствием изображения. Эта данность «неизобразяемости» и работает, на мой взгляд, самостоятельно и положительно (в рамках этого дискурса) в предложенной здесь последовательности семи «пустых» фотографий семи наших акций.

Кроме рассмотренной фотографии «Комедии», в этом ряду есть еще три фотографии, на которых также изображено пустое поле. Все эти «пустые» поля являются знаками «неслучайной пустоты». Уходя с места действия «Либлиха» участники акции знали, что невидимый под снегом электрический звонок продолжает звенеть. Стоя на опушке леса перед пустым полем («Комедия») после того, как участник в балахоне ушел в лес, зрители знали (но с меньшей определенностью локализации, чем в «Либлихе»), что невидимый исчезнувший участник лежит где-то в поле. Так же им было понятно, что остался где-то в поле безголовый двойник ушедшего в лес участника в акции «Третий вариант». Невидимой с исходной позиции съемок и наблюдения оставалась на протяжении всей акции и замена одного участника другим в «Месте действия». Все эти четыре «пустых» фотографии отражают конструктивный, сущностный момент действия. Они изображают «невидимость» как демонстрационное отношение, образованную двумя способами: способом «спрятанности» («Либлих», «Комедия», «Третий вариант») и способом отдаленности



Появление



Либлих



Комедия



Третий вариант

(«Место действия»). Невидимость, изображенная на этих фотографиях, указывает на «потаенность», противоположную «различимой видимости» — области конкретных значений, где «сущее в целом» исчезает в какой-либо определенной явленности бесконечно множественного мира. Между «невидимостью» и «различимой видимостью» — в демонстрационной структуре — существует переходный этап, который можно назвать «неразличимостью» и где возникает-ускользает «сущее в целом», — именно там, прорывая исчезающую завесу потаенности, оно превращается в видимость видимого мира.

Пограничная природа «неразличимости» оправдывает, на мой взгляд, помещение в ряд «пустых» фотографий еще трех фотографий трех акций: «Появление», «Картины» и «Лозунг-80» («Кизевальтеру»).

На фотографиях «Появления» и «Картин» на стыке дальнего конца поля и леса можно увидеть едва различимые фигуры участников.

На фотографии «Появления» изображена пустота, которая только что перестала быть пустой. Участники еще не вышли, но уже выходят из «потаенности» (здесь мы имеем дело с чисто дискурсивной «потаенностью» — на уровне события и вторичного материала участники выходят из леса, который не был метафоризован как «потаенность» ни в «Появлении», ни в «Картинах»), или они уже вышли из «потаенности», но еще не вошли в «видимость видимого мира». Они еще точно не обозначились как «появившиеся», на них

еще лежит печать случайного совпадения; ожидание зрителей еще не уничтожено банальностью и однозначностью ситуации. На этом этапе действия семантическое пространство еще не определилось, оно опаздывает, не разворачивается одновременно с физическим пространством происходящего «появления». Эта разница в несколько секунд между началом действия и началом его понимания и есть демонстрационная сущность события — «пустое действие» — знаком которого и является эта фотография.

Иная ситуация изображена на фотографии «Картины». Здесь участники, незаметно от зрителей, уже прошли демонстрационную зону «различимой видимости» и вот-вот скроются в «потаенности». Акция построена таким образом, что участники предстают перед зрителями сразу в «неразличимости», предстают сразу как «люди, исчезающие вдали». Но фотография говорит не о них, исчезающих вдали. На фотографии уже слишком много пустого пространства, пустота неудержимо наполняет фотографию, смывая в «невидимость» фигуры участников, она уже готова появиться во всей полноте и смысл ее доминирует здесь над любым другим смыслом.

На всех рассмотренных шести фотографиях «потаенность», в зависимости от того, каким способом образована «невидимость» или «неразличимость», которые «изображены» на фотографиях, — выражена либо дальней полосой черного леса («спрятанность»), либо перспективным пространством («отдаленность»), либо полем («спрятанность»).



Картины



Место действия



Кизевальтеру

Фотография «Лозунга-80» является также знаком перспективного пространства: отдаленность от предмета (белой полоски на далеком черном лесе) образует «неразличимость» — тонкую перегородку исчезающей предметности, за которой начинается пустота «невидимости». Но если на фотографиях «Появления» и «Картин» эта «перегородка» подвижна и, в одном случае, уже готова исчезнуть («Картины»), а в другом — превратиться в различительную конкретность видимости, то на фотографии «Лозунга-80» она неподвижна. Она, как плотина, не дает пустоте наполнить перспективное пространство фотографии. «Неразличимость» не становится «невидимостью» и «потаенность» здесь не выражается перспективным пространством. Но очевидно, что смысл пустоты доминирует и в этой фотографии так же, как и на фотографиях «Появления» и «Картин», на ней «изображена» «невидимость», указывающая на «потаенность», которой не является ни лес, ни поле, ни перспективное пространство.

Обратимся теперь к единственному участнику и фотографу этой акции. Где он и что с ним происходит? Механизм работы «Лозунга-80» очень похож на механизм «Комедии». Участник «Лозунга-80» (он же фотограф) совмещает в себе и «участника в балахоне» и, одновременно, зрителя. Участник в балахоне в «Комедии» знал, что он несет «спрятанную пустоту», участник же «Лозунга-80» этого не знал, но производя манипуляции с лозунгом, он также нес и развешивал «спрятанную пустоту» — в данном случае «спрятанную неразличимость». Обнаружив издали неразличимый текст (сняв с помощью длинных лесок покрывало лозунга), он одновременно обнаружил себя на границе запрета, проложенной замыслом работы. Пространство между ним и лозунгом стало для него запретным. У него осталось только одно направление движения — дальше от лозунга. «Неразличимость» стремится к «невидимости», требует пустого пространства. Пустота расширяется и гонит фотографа, исчезающего в множественности видимого мира. «Потаенность» этой фотографии выражена внефотографическим пространством, тем пространством, где находится «спрятанный» фотограф и где находимся мы, разглядывающие эту фотографию. «Неслучайность» потенциальной пустоты этой фотографии обусловлена невидимостью «спрятанного» во внефотографическом пространстве фотографа. На этой фотографии, в отличие от фотографии «Картин», пустота, остановленная плотиной лозунга, разворачивается на нас, тогда как там она разворачивалась вдаль, от нас. Там участники исчезают в лесу, который и становится знаком

«потаенности». На этой фотографии фотограф (и мы) «спрятаны» во внефотографическом пространстве, в «действительном» мире, который и становится знаком «потаенности» на этой фотографии. «Неслучайность» потенциальной пустоты возникает здесь через ту особенность «спрятавшего» нас пространства, которая не дает фотографу и нам прочесть неразличимые буквы текста на лозунге.

Мы начали наши рассуждения с того, что «неизображенность» является демонстрационной сущностью события наших акций и соотносима с их экзистенциальной сущностью. Затем мы увидели, что эта «неизображенность» построена различными способами и в данной последовательности фотографий изображает либо лес, либо поле, либо перспективное, либо внефотографическое пространства, которые указывают на «неслучайность» пустоты этих фотографий. Рассмотренные здесь семь «пустых» фотографий, являясь знаками более высокого порядка, чем просто документ, именно своей самостоятельной метафоричностью соответствуют той эстетической реальности, которая возникает в процессе осуществления акций. Их эстетическая реальность, в которой действуют особые законы построения и восприятия, отличные от законов построения и восприятия события, находится на том же знаковом уровне, что и эстетическая реальность события. Любые другие фотографии акций и тексты, включая и всю совокупность вторичного материала, не отражают демонстрационной сущности события и, следовательно, не адекватны его экзистенциальной сущности. Однопорядковость знаковых уровней — вот условие соответствия между вторичным материалом и тем событием, которое он отражает. Этим необходимым качеством — самостоятельной метафоричностью — и обладает, на мой взгляд, предложенная здесь последовательность семи «пустых» фотографий.

Декабрь 1980

ПЕРЕГОНЫ И СТОЯНКИ

комментарий

При переездах с места на место, путешествиях, временных остановках мы попадаем в особый эстетический мир, на который обычно мало обращаем внимания. Мы поглощены мыслью скорее добраться до конца, до пункта назначения, пережить в не очень приспособленном для жизни пространстве перегонов и стоянок некомфортно тянущееся время — под однообразный стук колес, ураганные шумы встречных поездов, гудков, под разного рода металлические лязги, скрипы, свистки. Кроме того, у нас постоянно перед глазами различные плакаты, объявления, расписания, инструкции как себя вести и множество символических эмблем, блистающих серебром и золотом на униформах проводниц, машинистов, контролеров, ревизоров в виде крылышек, колес, перекрещивающихся шпал, серпов и молотов, форменных пуговиц и т.п. То есть все эти нежилые пространства и помещения — железная дорога, станции, метро, автобусы, аэропорты и т.д. украшены предметами искусства, которые в силу своей координационно-функциональной символичности имеют очень любопытное эстетическое качество: они обладают необычной мощностью воздействия на зрителя, если их взять самих по себе, вынуть из той среды, где они являются, вернее, воспринимаются свободным, гражданским взглядом как украшения или указатели.

Выпадая из этой среды, где они воспринимаются нами чаще как украшения, и становясь предметами рассмотрения как самостоятельные произведения искусства, эта их функциональная мощь, принадлежность к тотальной координирующей нежилкой системе «перегонов и стоянок» начинает настолько преобладать, настолько энергетически перекрывает наши экзистенциальные способности воспринимать предметы искусства, что мы их совершенно не принимаем за таковые — мы оказываемся как бы перед «ничем», никак не реагируем на эти эмблемы и шумы, как если бы нас облучали невоспринимаемыми зрением и слухом ультразвуковыми и инфракрасными сигналами.

Однако наше тупое молчание перед такими предметами при длительном их восприятии постепенно переходит в чувство неуютности, подавленности, в нежелание их видеть. Дело в том, что та самая подспудная энергия нежилых пространств «перегонов и стоянок», эстетику которых образует вся эта грандиозная система знаков и сигналов и которая излучается из каждого ее элемента, незаметно внедряется в наше сознание, порождая чувство неловкости, «чего-то не того», неприятного. Энергия этого неживого, нежилого, проникая нас, создает эстетическое впечатление «существования не на своем месте», рождает тягу, желание куда-то идти, что-то обрести, найти, то есть «прибыть в конечный пункт назначения», который не воспринимается как очередная «стоянка», а ощущается как нечто другое, как место, где ты, наконец, будешь отпущен от наваждения вечного путешествия неизвестно куда и зачем.

Украшения, эмблемы и символы, используемые в молитвенных домах, церквях, храмах, дацанах и т.п., также незаметно и исподволь рождают это чувство. Постепенно становится ясно, что «конечный пункт назначения», куда тебя выталкивают, вернее, куда ты сам под воздействием всех этих украшений «выталкиваешься» — это смерть или, в другом случае, для натур более нервных, спешащих, жаждущих, чтобы все это свершилось как можно быстрее, здесь и теперь «конечный пункт назначения» превращается в напряженное ожидание Страшного суда, конца света и других чудесных, духовных событий (...«И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития ночь прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленного дне Единородного Твоего Сына...» Из молитвы св. Василия Великого, помещенной в «утренние правила» православного молитвослова).

Более простое отношение к «перегонности» и «стояночности» жизни можно увидеть на наших кладбищах. Нередко на могильных плитах можно прочитать такого типа надписи:

«Вот моя могила,
Здесь лежит мой прах.
Я давно уж дома,
А вы еще в гостях».

Возможно, что именно русский народ, разбросанный по огромной территории своей страны и вынужденный часто (в основном в принудительном порядке) куда-то ездить, преодолевать гигантские пространства,

особо чувствителен к «недомашней» атмосфере жизни, к своему «гостевому» положению на земле, что выражается у него в сильной склонности к разного рода гулянкам, пьянкам и т.п.

Одним словом, специфика всей этой «перегонно-стояночной» эстетики состоит в том, что она — по необходимости или по неспособности измениться — рождает пространство, в котором трудно жить, и время, которое нужно преодолеть, пережить, перетерпеть.

Интересно, что духовно-транспортная и бытовая транспортная эстетики, имея одну основу на семантическом, глубинном уровне (идея «перегонов/стоянок»), сцепляются друг с другом и на поверхностном уровне, на том уровне формы, где идея воплощается в материал — и там, и там (в разных, правда, пропорциях) мы оказываемся среди сияющего золота, сверкающего серебра, ярких интенсивных цветов-знаков, а в духовных текстах (суфийских, даосских, буддийских, христианских) используется чисто транспортная лексика — слова типа «путь», «путешествие», «восхождение», «стоянка» (суфизм), «продвижение», «достижение» и т.п.

Итак, несмотря на свое златоблещущее великолепие, или, может быть, именно благодаря ему (тут полезно вспомнить рассказ «Незабвенная» Ивлиной) транспортная эстетика, транспортное художественное пространство как бы олицетворяет для нас один полюс нашего бытия — ущербности, разомкнутой несведенности (по И. Цзину) и даже «затемненности», мрака, нежизни, совсем близкой к хайдеггеровскому Ничто. Другим полюсом нашего бытия, Сущим или достаточностью, цельностью, светом, жизнью является для нас отпущенность в свободу безмятежного, ненаправленного скитания, сидения, лежания, гуляния и т.д. и т.п.

Но перед этим желанным миром свободы есть еще «пункт конечного назначения», который как бы смыкается с ним, на самом же деле, будучи пунктом — некоей абстракцией, лежит в самой глубине (или на самой вершине) транспортной структуры.

И действительно, когда мы едем на отдых, на курорт, в деревню и т.д., мы вынуждены пройти этот пункт, прорваться сквозь его транспортную толчею эмблем и шумов, обступающую нас там с той же силой, как и в пункте отбытия. Заметим, что полустанки на пути нашего следования значительно менее агрессивны в своей нежилой транспортности, чем эти крайние пункты.

Если пункт отбытия вводит нас в нежилое пространство, является только как бы входом без выхода, то конечный пункт — это выход из него. В нем уже потенциально заложено что-то приятное, облегчающее, сулящее — как

смерть — разрешение всех проблем. Хотя он (как и смерть) кульминационен в своей художественно-транспортной полноте: там мы слышим последний самый сильный лязг тормозов (нечто вроде агональных судорог и всхлипов), в то время как из пункта отбытия мы отъезжаем мягко, почти неслышно (как и не помним момента своего рождения, криков при «входе в свет»).

Интересно, что и в значении самих слов «ПУНКТ ОТБЫТИЯ» и «ПУНКТ ПРИБЫТИЯ» заложено указание на описываемое нами транспортное художественное пространство, сами эти слова его характеризуют, очерчивают его границы: ОТБЫТИЕ, т.е. уход от бытия, вступление в неживое, нежилое пространство перегонов и стоянок, и ПРИБЫТИЕ, то есть приближение к жизни, к бытию, но именно только пока еще приближение к нему, но не оно само.

Сама жизнь ассоциируется для нас с моментом импровизации, неожиданности. Она импровизационна (в рамках возможностей и основных законов) в том смысле, в каком импровизирует природа, в разные времена года окрашивая, изменяя листья деревьев, поля, небо различными цветами, всегда новыми, в меру неожиданными изменениями в атмосфере, освещении и т.д. Так же жизнь, чувственная отпущенность связывается у нас с музыкальной импровизацией, с течением отпущенного времени, разнообразием тональных переходов, тем, мелодий, смен музыкальных настроений.

В транспортной эстетике как и вообще в транспортном мире всякая импровизация категорически запрещается: поезда должны ходить в срок, лязг колес должен быть определенным (иначе что-то сломалось в механизме), свистки, гудки должны быть точно рассчитаны как сигналы, эмблемы указывают, кто есть кто в транспортной иерархии управления всей коммуникационной системой «перегонов и стоянок».

Художественное транспортное пространство — как бы застывшее, неподвижное как лицо мертвеца — таково оно и должно быть — и оно должно быть нами как можно быстрее преодолено, как и мертвец должен быть зарыт или сожжен до тех пор, пока он не начал разлагаться. Длительное нахождение в транспортном пространстве также угнетающе и разрушительно действует на психику, как воздух на мертвую плоть.

Итак, если транспортное пространство рассматривать с эстетической точки зрения, то есть как пространство художественное, то обнаруживается любопытная и неожиданная его топография. Она представляет собой невероятной сложности систему переплетений (железные дороги, туннели метро, маршруты наземного транспорта, невидимые авиа-

линии) с узлами вокзалов, полустанков, троллейбусных и прочих остановок, магазинов, гостиниц, пунктов служб быта, кладбищ и, наконец, самые крупные, самые сияющие и весомые ее узлы (в художественном смысле) — часовни, церкви, храмы, ступы, соборы, монастыри и т.п. Так художественное транспортное пространство смыкает, соединяет на плане выражения казалось бы совершенно различные и даже просто прямо противоположные — в смысле «земля — небо» — предметы.

В акции «М» мы и пытались смоделировать транспортное художественное пространство в его «небесно-земной» цельности, выявить наличие этой связи. Причем мы хотели сделать это не лобовым приемом, а постепенно, слегка, как бы издали — не нарушая плана чувственного переживания события — намекнуть на двусмысленность привычного всем пространства «перегонов и стоянок», незаметно сцепляя элементы духовно-транспортной и транспортно-бытовой эстетики и, в процессе осуществления акции, перевести их эмблематику с уровня украшений на уровень самодостаточного предмета для созерцания — произведения искусства.

Для создания звукового плана, звуковой среды акции — ведуще-ориентирующей, мы сочли наиболее подходящей для наших целей звуковую атмосферу метро.

В пункте «отбытия» мы поставили магнитофон с записью лязгания эскалатора, обладающего двойным значением. Его можно было понять и как звук «выводящий» из-под земли на поверхность, как своего рода указание на начало «восхождения» и в то же время, наоборот, как низводящий, уводящий вниз, под землю, в «преисподнюю».

В чувственно-символических условиях полевой акции, где место действия одновременно является и реальным загородным полем, покрытым травой, окруженным лесом, и демонстрационным полем с его идеальными знаковыми параметрами, этот первый магнитофон включал сразу два плана: невидимый духовный — «восхождения/низвержения» и налично-бытовой, создавая звуковую, реликтивно-техническую атмосферу транспортной среды с ее однообразным железным лязганьем.

Подходя к промежуточной стоянке, к столику, и глядя в бинокль на пункт отбытия, зритель видел на двух организаторах, координаторах акции золотые и серебряные эмблемы (крылья и шар), которые воспринимались как украшения, висящие на груди Паниткова и на груди Монастырского, выступающих (на плане внутридуховной, иконографической традиции) в мистической роли «охранителей ворот», «стражей» входов/выходов в центр мандалы, которым оказывалась — с точки зрения зрителя, стоя-

щего у столика, — исходная позиция пункта отбытия и которая на самом деле — и в бытовом отношении, и в глубоком, символическом смысле — являлась свободной зоной, своего рода «раем», откуда можно было и не выходить, главное же — не входить в транспортное пространство.

При взгляде издали (то есть при взгляде более-менее свободных участников, а не организаторов «путешествия») эмблемы крыльев и шара читались как украшения так же, как украшениями читаются нами во время переездов схожие эмблемы на униформах транспортных служащих, хотя на самом деле они есть не что иное, как символы реальной власти и силы в невидимом духовном или социально-координирующем наши передвижения пространствах.

Но здесь их дальний блестящий и малоразличимый промельк (как крылышко проводника, промелькнувшее мимо нас, когда он разносил чай по купе) только как бы украсил пункт отбытия, развлек глаз и не более того. В реальных условиях полевого действия во время акции (в отличие от пространства нашего дискурса, где мы сейчас находимся) они не читались и не должны были читаться как символы власти, как охраняющие орудия уже запертых ворот, как указание на невозможность возвращения.

Фиолетовый («молитвенный») цвет покрывала столика скрывал под собой — как это видно из описания акции — информационные объявления о названиях станций московского метро, записанных на магнитофоне, спрятанном под столиком. Наличие этих объявлений и текста инструкции перевешивало созерцательность ситуации, усиливало акцент на транспортно-бытовой среде стоянки, которая в визуальном развертывании (при взгляде в бинокль на золотые крылья и серебряный шар возле фиолетового покрывала) читалась более «духовной». Зритель вынужден был двигаться дальше, вступать в зону следующего перегона. Он брал (по инструкции) свисток, свистел в него и, слыша ответный сигнал, шел в его сторону. Причем свисток, которым пользовался зритель, имел двойную смысловую фактуру — это был мундштук от продольной деревянной флейты и, хоть он издавал только один тон — как сигнальный свисток, — в то же время тон его был мягким, музыкальным. В нем соединялось как бы два звуковых мира — чисто сигнализационный, информационно-функциональный и свободно-музыкальный, почти эстетически достаточный для восприятия.

Гудок отхода, который издавал зритель, вызывал уже целый каскад, правда, пока еще ориентирующей, координирующей движение зрителя, но все же музыкальной импровизации (игра С. Летова на духовых инструментах). По мере приближения к музыканту, спрятавшемуся в лесу,

наш зритель-путешественник как бы на время выпадал из нежилого пространства перегонов и стоянок в живую среду вытягивающей его оттуда импровизации — так бывает и в метро, и в поезде, когда кто-нибудь вдруг включит магнитофон с музыкой или запоет под гитару, или с улицы в окно проезжающего поезда донесутся звуки оркестра.

Эта облегчающая, оживляющая волна свободы, однако, выбрасывала зрителя дальше — он неминуемо должен был достичь запланированного пункта прибытия, где его должен был встретить последний, самый громкий лязг и скрежет (звук мчащегося по туннелю поезда метро на магнитофоне под шаром) и крупномасштабные эмблемы своего рода координационного ЦЕНТРА — золотые двухметровые крылья, парящие над серебряным большим шаром, которые теперь уже даны зрителю не издали, не в виде украшений, а как самостоятельные предметы для рассмотрения, как произведения искусства.

Выше мы говорили о том, что эмблемы такого рода, вынутые из контекста, из функциональной системы ориентиров и маркировок, постепенно начинают мощно давить на сознание — на них нельзя долго смотреть, ибо они своей «неживой» силой отражают от себя смотрящего — не как зеркало отражает собой, а именно отталкивают, отбрасывают от себя, выступая здесь уже непосредственно в качестве орудий невидимых сил и властей. Возникает желание уйти от них вбок или куда-нибудь за них, отстраниться, чтобы не видеть их и не чувствовать излучаемую ими «нежизнь». Также и при длительном взгляде на ритуальные предметы человек начинает впадать в транс, в какое-то мертвенное оцепенение или истерию. Одним словом, художественное центрирование этих эмблем, а, главное, фокусирование на них зрительного взгляда создает некомфортную психическую ситуацию — это все равно как долго смотреть на солнце — невыносимо и крайне неприятно, в то время, впрочем, как смотреть на лес или поля, освещенные солнцем — доставляет большое удовольствие и в высшей степени приятно (кстати, день проведения акции был чудесным солнечным днем — это был как раз такой двусмысленный «золотой день» — по выражению Э. Булатова, который мы и описываем).

То, что этот отталкивающий эффект работает именно так, как мы и предполагали, мы обнаружили, когда в конце акции подошли к шару с крыльями: все зрители находились за ними или где-нибудь в стороне — никого не было перед сверкающими золотом и серебром гигантскими эмблемами.

Что касается звука, шедшего из прикрытого сухой травой магнитофона, лежащего под шаром, то он уже совершенно не воспринимался



как технический — это был — в соответствии с визуальной эмблематикой парящих над ними блистающих «сил» — чисто мистический реликтовый звук, как бы «добытийственный» — вой хаоса, застывший вопль прорывающегося Ничто, мрака, нежизни.

Но стоило было зрителю отойти за эту гроыхающе-сияющую небытие и потусторонностью конструкцию «НЕПОДВИЖНО ЛЕТАЮЩЕЙ ВЕЧНОСТИ НАД ПРЕИСПОДНЕЙ», как ухо его улавливало дальние звуки скрипки (так, впрочем, должно было быть по плану, но по организационным причинам магнитофон оказался слишком близко к конструкции и звук скрипки примешивался и даже перекрывал вой третьего магнитофона прямо у самой конструкции), то есть ухо его должно было уловить, если бы он зашел вглубь леса метров на 20 от конструкции (что случилось бы неизбежно из-за вышеописанного эффекта «отталкивания» эмблемной эстетики), звуки ностальгически-сентиментальной «Музыки на краю». Она как бы вытягивала его из небытия «конечной станции назначения» в пространство свободной жизни, призывала, будучи ей сродни, к созерцанию «увядающей красоты» осенней природы. Эта музыка была на самом краю, на обрыве пространственно-транспортных структур «перегонов и стоянок», она уже граничила с миром полной отпущенности от ожиданий необычных транспортно-духовных переживаний, с миром прогулок за городом, наполненным личной тишиной и личными впечатлениями, далекими от известных замыслов, известных путей и станций.

20.9.83.

ЦЗИ-ЦЗИ

заметки об акциях третьего тома

1. «ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД 17 МАРТА 1985 ГОДА»

Говоря об искомом и необычном переживании «обыденного» как пространственно-временном переживании, я вынужден теперь ставить слово «обыденное» в кавычки. Дело в том, что все эти обычные действия ко времени проведения «Русского мира» не только были нами уже хорошо отрефлексированы и структурированы прежними акциями, но и метафоризированы с достаточно высокой степенью поэтической символичности. Даже на этапе пустого действия «Русского мира» ни о каком необычном восприятии обычного не может быть речи. Все использованные элементы и демонстрационные связи давались там не в процессе живого эстетического становления (как это было, например, в акциях «Появление», «Картины» и т.д.), а как уже хорошо известные приемы. То есть мы оперировали понятиями, а не событиями. И все же эти инструментальные приемы были рассчитаны на определенный событийный результат — «Мягкую ручку», о чем подробнее скажу чуть позже.

Итак, пустое действие «Русского мира» разворачивалось в известной по прежним акциям демонстрационной зоне «дона начальности» действия: зрители собрались перед тряпкой с магнитофоном и в центре их ожидания находилась моя неподвижная фигура — я стоял метрах в 70 от тряпки лицом к ним. Причем я маячил там не просто как какой-то стоящий человек, приготовившийся к действию, а как уже достаточный в эстетическом смысле предмет рассмотрения — «человек вдали» — образ, хорошо знакомый нашим зрителям по прежним акциям. Меня — как «человека вдали» — и зрителей соединяла «линия ожидания», тоже уже хорошо известное демонстрационное отношение. Причем зрители были не просто зрителями, а «группой» — демонстрационным оперативным элементом, в свое время отрефлексированным нами в документации трех городских акций — «Остановка», «Выход» и «Группа-3». Ромашко, незаметно для зрителей, также двигался по эстетизированному марш-

руту — по «линии удаления», а не просто пробирался к зайцу через глубокий снег (хотя сам для себя он и осуществлял как раз то самое загадочное «хождение», так же, как и я свое «стояние», о которых я писал в предисловии). То есть никаких новых событий не возникало, все разворачивалось как в пространстве картины по известным законам композиционных отношений с известным набором приемов. Ничего обыденного, «внедемонстрационного» для зрителей не происходило, а происходила, напротив, как бы ужасная для нас, организаторов, вещь — метафоризация «пустого действия», его закавычивание: оно просто переставало быть «пустым» действием. Впрочем — только на этом, описываемом пространственно-временном горизонте происходящего. Настоящее, результативное пустое действие, в рамках которого происходит становление обыденного в новую эстетическую категорию с обязательным качеством «внедемонстрационности» — было, но осуществлялось оно совершенно незаметно и связывалось только с «Мягкой ручкой»: его никто не должен был заметить и не заметил и, как я скажу об этом подробнее позже, эта «незаметность» и была единственным аффирмативным событием, единственным живым эстетическим становлением акции.

Итак, псевдопустое действие «Русского мира» разворачивалось следующим образом. Его «доначальный» период, длившийся минут шесть-семь, пока Ромашко не был обнаружен зрителями у зайца (хотя зрителям с их позиции заяц представлялся скорее в виде какого-то щита или торчащей из снега палки — они не знали, что там именно заяц), закончился в тот момент, когда Ромашко стал постукивать ногами по зайцу: здесь мое едва заметное движение — наматывание руками нитки на «Мягкую ручку» как бы сцепилось с началом действия Ромашко — его постукиваниями ногами по нижней части зайца. Кстати, начальный, как бы функциональный момент этого постукивания (стряхивание снега с ботинок) был достаточно «нехудожественным» и в этом смысле наиболее событийным (обыденным) в контексте всего остального действия. Именно это стряхивающее снег «постукивание» было связано с настоящим пустым действием: совершенно невидимым для зрителей наматыванием белой нитки на «Мягкую ручку».

Потом Ромашко стал стучать по зайцу все сильнее и сильнее, привлекая к себе внимание зрителей и как бы «снимая» их с «линии ожидания», связывающей их и меня как «группу» и «человека вдаль». И даже когда действие его стало совсем «художественным», постукивание перешло в танец у зайца, в битье по нему, пустое действие (но как

псевдопустое) все еще продолжалось — ведь Ромашко манипулировал с зайцем (бил по нему, свалил, утащил в лес) вдали и сбоку от зрителей, а в центре демонстрационного поля продолжала оставаться фонограмма с записью стройки и установки зайца (это одновременное наложение друг на друга деструкции — разрушение зайца на визуальном поле и его, напротив, конструирования на аудиальном, создавали странное впечатление нулевого значения происходящего) и, кроме фонограммы, еще и «человек вдали», который пока не начинал действие. Таким образом, пустое действие (для зрителей — псевдопустое) составилось из двух этапов: оно передвинулось с «доначальности» на застрявшее в нулевом значении происходящего «начало». Именно это я имел в виду, когда в предисловии к этому тому писал о скользящей раме «пустого действия», которая может накладываться на любой временной отрезок акции в поисках фиксации обыденного как эстетического.

Описанное здесь пустое действие «Русского мира» — самостоятельная акция, как бы акция в акции. Она имеет название — «Поездка за город 17 марта 1985 года». Конец этой акции (после исчезновения в лесу Ромашко с поваленным им зайцем) был обозначен мной поворотом «Мягкой ручки» красным диском к зрителям — он был четко виден на фоне моего пальто как красная точка, обозначающая конец действия.

Дальше начиналась собственно акция «Русский мир» («борьба с несуществующей чепухой» как замечательно определил ее Митя Черногаев), отделенная от акции «Поездка за город 17 марта 1985 года» моим мучительным приближением к зрителям по снежной целине, покрытой ледяной коркой, куда я проваливался с каждым шагом значительно выше колен (пауза метафизического «хождения» — экзистенциальная и глубоко интимная суть всего этого дела).

Итак, пустое действие акции «Поездка за город 17 марта 1985 года» было посвящено, как мы позже это подробнее рассмотрим, становлению эстетической категории «незаметность» через использование демонстрационных элементов «наматывание» и «постукивание», организованных в самой глубине псевдопустого действия акции «Русский мир», в свою очередь построенного на метафоризированных прежними акциями демонстрационных отношениях: «линия ожидания», «линия удаления», «человек вдали», «группа», «доначальность» и «начало».

2. ДЕВЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ЗАЙЧИКОВ «РУССКОГО МИРА»



Я уже писал о том, что в прежних акциях мы использовали предметы для создания эффектов отношения. Предметы были для нас приспособлениями, средствами для того, чтобы «появиться», «исчезнуть», «повторить» и т.д. А здесь, при подготовке акции «Русский мир», у меня как-то сами собой возникли девять предметов — объектов, которые мне, в сущности, были совершенно не нужны, так как противоречили моему чувству стиля: предметом (изображения) всегда являлось для нас само действие. Действие могло породить предмет-фактографию как память о нем с разной степенью «дохудожественности» этих предметов, но чтобы предмет породил действие — это никак не укладывалось в нашу эстетику. В конце концов я осознал ряд этих символических, эйдетических реди-мэйдов как «предмет-раму», как внешнюю границу картины действия. Ряд этот связался с первоначально задуманным нами щитом (он трансформировался потом в большого зайца), и все встало на свои места. Кроме того, внешняя граница картины действия как «предмет-рама» и как препятствие самой эстетики действия возбуждало желание взять это препятствие, что и было сделано в акции.

История возникновения этой «предмет-рамы» следующая. Месяца за четыре до акции, когда уже был ясен в общих чертах ее план, я изготовил девять предметов. Сколько я ни пытался изготовить еще хотя бы один (а я думал о 15 предметах в расчете на 15 зрителей) — ничего не получалось. Ни один новый предмет как-то пластически не ложился в ряд уже изготовленных девяти — выпадал из него. Я пытался сделать блокнот, паровозик, ботинок, тарелку — ничего не получалось.

Я чувствовал, что ряд уже закрыт и ничего больше впихнуть туда нельзя, причем чувствовал это тогда как бы эстетическим чутьем. Но теперь я подозреваю, что это «эстетическое» чутье определялось отнюдь не эстетикой. Я вспомнил, что как раз в то время, когда изготавливал эти предметы, в один из дней, пролистывая «Мифологическую энциклопедию», я наткнулся на статью «Девять небесных чинов» — об иерархии ангельских бесплотных сил Дионисия Ареопагита. Прочитал с любопытством и с ностальгией по своей так плачевно закончившейся для меня «аскезе», но никак не связал эту информацию с числом изготовленных мною предметов для «Русского мира». Да и вообще может ли быть какая-то связь между ангелами, архангелами, началами, властями, силами, господствами, престолами, херувимами и серафимами, с одной стороны, и платяной щеткой, скалкой, противнем, палкой, клизмой, перчаткой, набитой ватой, и т.д. — с другой? Впрочем, в «Книге небытия» (один из девяти предметов) перечислялись все эти девять небесных чинов, но в одном ряду с большим количеством других идеальных миров и сущностей, причем из совершенно разных традиций — от Арупавачары до Небесной Германии. Связь, возможно, и была, но не по содержанию, а по несколько абсурдному наличию золотых крылышек на этих предметах. Почему возникла связь по количеству? Почему я не мог изготовить больше девяти предметов, как бы эстетически чувствуя закрытость ряда? Думаю, что по старой памяти, в согласии с таинственным механизмом творческого избирательного внимания и совершенно неосознанно я все же отдавал предпочтение гностическому чувству, которое и определяло эстетическое. Вообще меня ужасно и как-то не ясно почему раздражала вся эта история, возможно, из-за отвращения к гностицизму, который незаметным образом в конце концов восторжествовал над эстетикой и духом свободного исследования. Ведь подсознательные гностические мотивации — так думал я в припадках ярости — испортили эстетическую чистоту акции: предметы на тряпке были открыты для лицезрения публики раньше времени, вопреки моему указанию, и открыла их Маша Константинова. Вместо того, чтобы объяснить накладку своей рассеянностью (забыл еще раз напомнить не открывать предметы до моего возвращения) у меня возникло бредовое объяснение о мистическом влиянии суперархетипов на коллективное сознательное: Маша (Мария!) открыла эти предметы по своей воле (а не по эстетическим соображениям) потому, что они, эти предметы, были накрыты белым пологом, который вполне — в контексте всей этой ассоциативно-гностической чепухи — мог

читаться как «Омофор Марии»! Так это или нет, неизвестно, во всяком случае вся история с преждевременным обнаружением девяти предметов носила крайне замысловатый и довольно тягостный характер. По своему личному «аскетическому» опыту я знаю, что индуцирование на окружающих бреда по ассоциативному автоматизму — вещь реальная.

Однако, вернусь к девяти «небесным зайчикам», которые никак не хотели, чтобы к ним прибавился еще один. Когда я их сделал, нам еще не был ясен способ их уничтожения, то есть способ преодоления внешней границы картины действия в виде этой «предмет-рамы».

Ясно было, что их нужно будет отобрать у зрителей, положить на большого зайца и сжечь. Но как это сделать технически связно? И вот Коля Панитков предложил десятый предмет — стеклянную колбу, покрашенную в белый непрозрачный цвет и наполненную черным бензином. Таким образом возник десятый предмет — колба. Но он был предметом действия, а не метафорой, как остальные. И все же эту колбу, украшенную золотыми крылышками (ее изготовил Кизевальтер), можно было рассматривать и среди тех девяти предметов — вручить кому-нибудь из зрителей. Однако рассматривать можно было, но осуществить в предполагаемом варианте не удалось. Когда я расположил девять «зайчиков» на фиолетовой тряпке и поставил туда колбу — увы, она оказалась слишком высокой: белый полог никак ее не накрывал. А ничего изменить нельзя было из соображений довольно сложной системы пропорций. Впечатление более-менее «пустой» тряпки, если бы оставить колбу в ряду других предметов, разрушалось: остальные «зайчики» были плоские как белые мокрицы и их очертания практически не читались под пологом — «омофором». Пришлось колбу спрятать в снегу среди пустых коробок из-под предметов и вручить отдельно (она досталась Кабакову).

Предметы на тряпке я расположил тоже как бы руководствуясь исключительно эстетическими соображениями, не задумываясь над возможной символической интерпретацией полученного ряда. А потом, когда писал первый вариант этого рассказа, обнаружил, что расположил их вполне в «читаемой» гностической последовательности. Верхний ряд состоял из двух длинных предметов: палки (вероятно, как символ «тао-креста» — высший «командный» чин всей знаковой «армии» — символ пути икономии, связи между «небом» и «землей», знак божественного гнева и милосердия: ею можно и поколотить и на нее же дать опереться поколоченному. — Это была палка для хромых. В действии мы ее использовали как орудие удара — я разбил ею колбу с бензином) и лест-

ницы «Тысяча пятьсот небесных умов Коллективных действий» (такая глумливо-двусмысленная надпись помещалась на ее оборотной стороне; лицевая сторона лестницы, ее перекладины были сделаны из ряда «золотых» фурнитурных крылышек. Лестница, вероятно, могла символизировать процесс метанойи, «восхождения по небесным чинам» или что-то в этом же общеметодологическом роде по отношению к другим предметам). Второй, нижний ряд начинался с «кисти руки» (кожаная перчатка, набитая ватой и покрашенная в белый цвет, с «золотым» кольцом на безымянном пальце и с черным провалом отверстия, в глубине которого блестели золотые крылышки. Скорее всего, знак судьбы, знак некоего тайного водительства). Затем шла «Клизма» (видимо, как своеобразный символ «внутреннего» очищения). За «Клизмой» располагалась «Голова куклы» с золотыми крылышками на макушке (что-то вроде «одухотворения» ума, намек на причастность всего ряда именно к сфере «умного делания»). Далее — «Платяная щетка» (приличный, «чистый» внешний вид, соблюдение которого и в православии, и в суфизме, и в других традициях — прежде всего духовная задача, отражающая идею Воплощения духа в форму). Символику еще более глубокого воплощения являла собой «Скалка» (то, чем раскатывают, разминают тесто. Это уже что-то деструктивно-орудийное по отношению к эйдосам, к «умному» миру и одновременно — кухонное, связанное с едой и отсылающее к сентенции ЛАО ЦЗЫ «Основу вижу в еде»). За «Скалкой» следовал «Противень» в черном пакете с маленькой наклейкой фрагмента красной орбиты, по которой вращаются золотые крылышки — пустой белый прямоугольник с круглой ручкой (тоже кухонная принадлежность — то, на чем пекут предварительно раскатанные скалкой лепешки и пироги). В то же время это был единственный предмет в ряду предметов, помещенный в футляр, причем футляр черного цвета. Вероятно, этот футляр олицетворял апофатического Бога, который вечно пребывает за завесой тьмы, а в мире форм обнаруживается как пустая поверхность, белая стена, табула раза. Одновременно в нем и символизация момента наивысшего сопротивления («противень») реальности воображению, умственным усилиям. Здесь дух как бы окончательно отсылается вниз, назад, на кухню, потому что за его дальнейшими притязаниями оформить трансцендентное, опредметить его начинается хаос и небытие. И последним предметом в этом ряду как раз и оказалась «Книга небытия», в которой, согласно апофатической традиции, были названы как иллюзорные различные «идеальные» состояния сознания, силовые сущности, миры духа и т.п.

Там же, по верхнему и нижнему краю сгиба разворота этой книги-папки были помещены две приманочные рыболовные мухи, покрашенные в белый цвет. Таких больших белых мух не существует — это квинтэссенция «несущего» в его весьма неприглядном виде: как пластическая дрянь. Но в то же время это и метафора чего-то очень приятного, ведь «белые мухи» — это хлопья падающего мягкого снега. Крылышки мух торчали, высываясь наружу за пределы формата папки-книги, то есть в своей метафоричности «снега» связывались с естественным миром — белым снежным полем, окружающим место действия акции.

Как видно, эти девять предметов только своим числом соответствовали «девяти небесным чинам» Ареопагита, но значение, которое, при желании интерпретатора, открывалось их последовательным рядом, было более широким, метаконфессиональным, репрезентирующим процесс созерцательного постижения трансцендентного вообще, скорее как технологический процесс духовной алхимии.

3. БОЛЬШОЙ ЗАЯЦ «РУССКОГО МИРА»

Сначала, как я писал, предполагалось сделать не зайца, а простой белый щит из фанеры. На щите должна была быть нарисована золотая изогнутая линия по диагонали, напоминающая змею (отсюда и возникла маркировка предметов словосочетанием «Золотой аспид», которое можно было принять за название акции как раз в середине ее разворачивания, после вручения предметов. Это название было снято «Русским миром». Интересно, что мне пришло в голову это название, когда я проезжал мимо универсама «Детский мир» на пл. Дзержинского).

Собственно зайца с золотым контуром его головы на брюхе (то есть самого «Золотого асида») предполагалось сначала сделать маленьким, в ряду других предметов для раздачи публике. Однако это дело как-то не шло, не получалось: маленький заяц по тем же соображениям, о которых я уже писал выше, не ложился в ряд предметов, уже закрытый этой пресловутой магической девяткой. Тогда я решил заменить щит большим белым фанерным зайцем. Заяц был изготовлен по рисунку Макаревича, Лена Елагина нарисовала на нем золотую линию «аспида», контурно отражающую симметрично отложенную на брюхо заячью голову. Получилось так, что кроме обычного зайца на его брюхе оказался знак еще одного зайца, как бы «отложенного» в символическую, трансцендентную

реальность. С одной стороны, просто детский зайчик, который вполне может фигурировать на детских новогодних представлениях, украшенный как бы золотым воротником, лентой. С другой стороны, если приглядеться к этой золотой ленте, то она точно повторяла контур его головы, обращенной вниз. То есть «трансцендентность» не бросалась резко в глаза из-за детского, «елочного» образа фанерного зайца.

Уже сделав зайца, где-то недели за две до акции я пришел в гости к Ире и Иосифу и увидел у них на столе книгу Г. Мейринка «Голем». Я читал ее лет десять назад, она мне тогда очень понравилась. Я взял книгу со стола и открыл на последней странице. Взгляд мой сразу упал на строчки: «Ворота представляют самого Бога: гермафродит из двух половин, образуемых створками дверей, правая — женская, левая — мужская... его золотая голова имеет форму зайца... уши его подняты кверху и тесно прижаты друг к другу, так что напоминают страницы раскрытой книги». То есть я сразу наткнулся на описание нашего зайца. Только у нас его «золотая» голова была отнесена в пространство симметрического зеркального (по горизонтали) отложения, иначе пластически решена, но по сути «трансцендентной» знаковости — одно и то же: ведь кроме совпадения с «золотым» цветом головы и мы своего зайца запланировали как «ворота», которые по ходу акции должны были быть открыты, то есть заяц-щит должен был быть повален и утащен в лес. Но что же там, за этими во-



ротами? У Мейринка — мужчина и женщина, герои романа, которых можно видеть на террасе дома, стоящего в саду за оградой (реализация гермафродитного тела бога-зайца с золотой головой). А ведь наша предшествующая акция, вспомнил я, представляла собой аналог «гермафродита» — шри-янтра акции «Перевод», взаимодействие мужского и женского начал. Причем совпадение с текстом Мейринка было полным: Сабина сидела справа, а я слева. Откуда такие совпадения с давно забытым мною текстом? Более того, еще до проведения «Перевод-

да», погруженный в размышления об этих двух акциях, я как-то остановился у киоска союзпечати и, разглядывая значки, вдруг, среди красных октябратских звездочек, ленинов, фигуристов, героев труда увидел странный круглый значок: на бирюзовом фоне — золотое «аписное» изображение египетского бога Озириса с идущей впереди него Изидой. Это было так неожиданно в контексте всего остального ряда продававшихся значков, что я тут же его купил и подарил Сабине, разумеется, никак не связывая с предстоящими акциями. И вот что можно прочесть перед уже выше цитированной строчкой из того же Мейринка: «Странно переплетенные фрески, бирюзового цвета с золотом, изображают культ египетского бога Озириса». Удивительные и неожиданные совпадения!

Впрочем, были и другие, не менее мистические: в упадочные эпохи ЦЗИ-ЦЗИ всегда вылезает мистический хаос, мусор. Возможно, что все эти события связались в последовательную герменевтическую секвенцию как следствие ассоциативного автоматизма ностальгирующего коллективного сознательного, которое не способно сейчас, в эпоху ЦЗИ-ЦЗИ открывать принципиально новые эстетические и мифологические ряды и обращается — через механизм творческого избирательного внимания — назад, к уже отработанным кантиленам представлений. Но возможно, что моя интерпретация — лишь гипертрофированное вычленение ряда случайных совпадений. В конце концов по ассоциативному автоматизму не так уж сложно связать Мейринка с нашей буддийской шри-янтрой из «Перевода», если вы знаете о том, что где-то лет за шесть перед смертью Мейринк ушел именно в буддизм и исчез с горизонта культуры. И т.д. и т.п. Но, разумеется, забавно, что образ зайца — типичного представителя нашей фауны, особенно в зимнее время (летом его труднее увидеть), который смотрелся совершенно естественно в загородной эстетике зимних акций «КД», связался — через текст Мейринка — с каким-то Озирисом, о котором я никогда не думал.

Более серьезного внимания заслуживает все это «мистическое» дело как характеристика, природа «предмет-рамы» в нашей эстетике действия. Мы всегда старались избегать символизма, ставили перед собой чисто формальные задачи. Символизм для нас был случайным контентным наполнителем, содержимым возможной — со стороны зрителей — «интерпретационности», которую мы всегда более-менее учитывали и старались редуцировать до нуля. Здесь же я сам вовлекся в интерпретацию внешних обстоятельств и проследил, как предметная сторона акции (ее «предмет-рама») создавалась как бы сама собой, скрытым для меня

образом, совпадением ряда обстоятельств, подобно тому, как я описывал в статье «Инженер Вассер и инженер Лихт».

«Предмет-раму» можно определить как замкнутую демонстрационную (для нас) зону, как бы окружающую кольцом (в виде препятствия по отношению к эстетике действия и, напротив, в виде «неисчерпаемой кладовой» для символических искусств) помещенную внутрь нее культурную конвенцию. Эта зона — по природе своей ментальный хаос — при определенных психопатологических личных или конвенциональных сдвигах (в эпохи ЦЗИ-ЦЗИ) может как бы самостоятельно порождать подобия (ложные, разумеется) «художественных» ценностей: целые ряды известных (но как бы неожиданно поданных), отработанных культурными традициями взаимосвязанных метафорических цепей, эйдетических иерархий или даже ту или иную целостную картину мира. Но все эти «ценности», порождаемые описываемой «предмет-рамой», скорее относятся к археологии символизма, чем к эстетике. По отношению к живой культуре можно определить эту «раму» как зону отбросов, помойку опредмеченных трансцендентностей, которая отделяет сферу живой динамической и открытой неизвестному культуры своеобразным заградительным поясом от сферы непосредственного — полей, лесов, неба, рек и т.п. А внутри этого пояса, в культурной конвенции в соответствии с этими «полями», «лесами» и т.д. находятся выставочные залы, книги и т.д. как субстративные коммуникационные единицы.

Но вернусь к Мейринку и «Русскому миру». У Мейринка за «воротами» с изображением бога-зайца читатель обнаруживает мужчину и женщину в саду. Интересно, что самым сильным моим впечатлением от «Русского мира» было созерцание и переживание пейзажа — края леса, кустарника и пустого поля — сразу же после того, как Ромашко с поверженным зайцем скрылся за краем леса. Помню, что волна этого переживания была невероятной силы, и тогда я зафиксировал ее как центральное — для меня — эстетическое переживание всей акции. Кстати, буквально на следующий день, открыв альбом по дзен-буддизму и рассматривая знаменитую секвенцию «быка», я обнаружил на девятой позиции этой секвенции знакомую картинку в кружке: край леса, дерево, кустарник и поле вдаль. То есть из этой помоечной пограничной зоны культуры есть возможность взгляда как бы «за нее», в почти свободное от умственных построений пространство — взгляд на природу. Но, поскольку этот взгляд эстетизирован и рассчитан, то он почти свободен, максимально приближен к непосредственному, но все еще находится в сфере системы «созер-

цания», методологической детерминированности. Взгляд-то почти свободен, а глаза — больные, измученные болезнью ЦЗИ-ЦЗИ. Сканиционные ритмы этих глаз беспокойны и хаотичны, ибо ментальный и чувственный баланс естественного «смотрения» нарушен «созерцанием». Интересно, что в этой же секвенции «быка» как раз на последней десятой позиции представлен еще более близкий к свободе, почти пребывающий в ней и выходящий из системы ментально-визуальных «созерцаний» этап — рассказ, беседа, — то есть то, чем я здесь занимаюсь, своеобразный автокатамнез уже контролируемой болезни цзи-цзи (на последней картинке серии изображен пожилой монах, беседующий с молодым человеком, видимо, готовящимся встать на духовный, созерцательный путь постижения дао или дзен. Разумеется, классический комментарий этого сюжета не имеет никакого отношения к предложенному здесь). Но и этот этап, этот способ жизни, конечно, еще очень далек от функциональной свободы, от выздоровления, от просто жизни без рефлексии, без мучительного разделения идеального и реального.

И, однако, как я писал, созерцание, почти свободное смотрение этой «девятой» позиции секвенции «быка» — края леса — во время акции «Русский мир» было для меня необычайно приятным. Ведь во время акции только один я находился на идеальной зрительской позиции. Я стоял в полном одиночестве на расстоянии метров 60-70 от зрителей, слушал через наушники вокмена Филиппа Гласса, потихоньку наматывая нитку на «Мягкую ручку» и в великолепном комфорте дальнего наблюдателя смотрел на борьбу Ромашко с зайцем — его танец выглядел очень красиво с моей позиции — ведь мне была видна и фигура зайца, не видная зрителям. Как раз в этот момент (до того шел снег) прямо передо мной, в вышине над лесом и за спинами зрителей (так что они не могли его видеть) появилось из мгlistых облаков зимнее серебристое солнце. Оно не слепило мне глаза, а очень мягко, тихо светило. Мне было удивительно приятно в этой атмосфере мягкого света, музыки Гласса, пустого снежного поля, обступавшего меня со всех сторон, в этом ритме равномерного наматывания «Мягкой ручки» смотреть на группу зрителей у тряпки, на Ромашко у зайца и, главное, на край леса, солнце и снежное поле. Получилось так, что я оказался единственным «идеальным» зрителем всего этого дела. По отношению к моей невовлеченности и созерцательной отстраненности группа зрителей была изображением наряду с Ромашко, зайцем и мной самим (для зрителей), стоящим в глубине поля. На самом деле, это они там что-то делали, ко-

пошились, а не я. Они там что-то пытались понять, оценить, разглядеть, а я просто наматывал белую нитку на ручку (бессмысленно, необременительно и ритмично) и смотрел.

4.«МЯГКАЯ РУЧКА»

Единственным предметом — приспособлением, который использовался для создания эффекта нового эстетического отношения в акции «Русский мир» была «Мягкая ручка». Она не входила в ряд девяти предметов и не подлежала уничтожению.

Можно выделить четыре значения этого предмета.

Во-первых, лицевая сторона «Мягкой ручки» представляет собой изображение циферблата с застывшими стрелками. Этой стороной она была повернута к зрителям во время «пустого действия», когда я стоял вдаль и наматывал на ее ручку белую нитку. С такого расстояния, разумеется, циферблат не мог быть виден (он находился в «полосе неразличения»). Циферблатная сторона «Мягкой ручки», отсылающая к «вечности», «несущему», трансцендентному и связывающая ее с девятью предметами («вечность» как среда обитания эйдосов), в процессе акции представала в скрытом (расстоянием) значении. Для зрителей, в таком ее значении, она могла только случайно промелькнуть — я ее нес в правой руке — в то время, когда я подходил к тряпке (подойдя к тряпке я положил ее циферблатной стороной вниз).

Во-вторых, она была просто предметом-приспособлением (типа палки), на который что-то наматывалось. Зрители могли разглядеть колебательное движение этого предмета у меня в руках. Это колебательное движение «Мягкой ручки» связывалось и с образом «маятника», времени (циферблат) и, главное, с движением ног Ромашко, когда он стучал по зайцу. Это второе значение колебательного движения «Мягкой ручки» было свободно от символизма, соотносясь лишь с конкретностью происходящего обыденного действия и развертывая динамику события, то есть его эстетическую аффирмацию непосредственно конструируемого и не детерминированного никаким символическим рядом: движение как таковое (вроде хождения по снегу и т.п.).

В-третьих, у нее была и пластически-сигнальная функция оборотной стороны — красный диск с маленькой серебряной звездочкой в центре. Этой оборотной, сигнальной стороной, отсылающей «Мягкую руч-

ку» к системе транспортной эстетики сигналов со значением «стоп» (такие красные диски с ручкой используются в метро и на железных дорогах), она и была повернута к зрителям (и видна им) в конце «пустого действия», когда Ромашко с зайцем исчез в лесу.

До этого невидимая лицевая циферблатная сторона «Ручки» трансформировалась в яркую красную точку, хорошо выделяющуюся на фоне моего пальто (я еще в течение 2-3 минут после исчезновения Ромашко доматывал оставшуюся нитку на «Ручку», повернутую к зрителям красным диском). В этом транспортно-сигнальном значении она и зафиксировалась в сознании зрителей — подойдя к тряпке, я положил ее на место магнитофона красной стороной вверх. Кроме того, в значении своей «транспортности» она была связана с заключительной «Вокзальной фонограммой» акции, сопровождающей сгорание предметов.

И, наконец, в-четвертых, «Мягкая ручка» представляет собой самостоятельный художественный объект, созданный во время акции «Поездка за город 17 марта 1985 года». В каком-то смысле можно сказать, что акция «Русский мир» была лишь механизмом создания и рамой демонстрирования этого объекта, а точнее — одного его качества, именно — незаметности его пластического изменения. На фоне всех деструктивных (по отношению к предметам) актов «Русского мира» незаметный акт утолщения «Ручки» был единственной конструктивно-предметной аффирмацией всего события.

Демонстрационное поле этого незаметного изменения «Мягкой ручки» (буду просто называть это изменение «незаметностью» в ряду таких эстетизированных категорий восприятия и демонстрации, как «спрятанность», «ожидание», «исчезновение», «полоса неразличения» и т.п.) было до-



вольно широким. Оно захватывало и сферу действия предшествующей «Русскому миру» акции «Перевод»: во время «Перевода» она висела на стене циферблатной стороной наружу среди черных щитов с номерами и на ручку ее уже был намотан первый слой ниток. В визуально-объектном интерьерном ряду «Перевода» она была единственным предметом неясного значения, так как все остальные предметы интерьера были либо предметами, использованными в прежних акциях («Серебряный шар А.М.», «Серебряный тор» и т.д.), либо предметами, имеющими прямое стилистическое отношение к самой акции «Перевод» — черные номерные щиты и черные ящики с фонарями. В третий раз «Мягкая ручка» демонстрировалась в интерьере акции «Юпитер» — она стояла на полке красным диском наружу в уже утолщенном виде. И последний раз она использовалась в «Бочке», когда, с помощью мотора на нее так же, как и в «Русском мире», незаметно для зрителей, наматывался третий слой белых ниток.

В описываемом последнем смысле ее значение может быть прочитано как указание на место художественности предмета в эстетике действия, а именно — отсылание ее в сферу «незаметного». Точнее говоря, в «заметной» художественности «предмет-рамы» есть выход в демонстрационное пространство, которое характеризуется «незаметностью». Это область деметафоризированных предметов какого-то еще неясного ряда гипотетической художественности. Три предметных ряда, которые обычно выстраивались в наших акциях, носили более-менее «дохудожественный», остаточный характер отработанных во время действия, во-первых, предметов-приспособлений (типа занавеса, веревки и т.д.), затем — предметов-фактографий (очень сложного ряда от текстового документального подтверждения случившегося события до бархатной серии в «Звуковых перспективах поездки за город», трех серебряных шаров в первой акции этого тома, серебряного тора и т.п.), и, наконец, третий предметный ряд — это «предмет-рама», характеризующаяся чисто символическим, «препятствующим» действию значением и имеющая интерьерно-пограничное отношение к событию. Например — ящики с фонарями в «Голосах» и «Переводе», серии черных щитов со знаками-цифрами в «Переводе» и паралингвистическими знаками в «Юпитере», девять бело-золотых предметов «Русского мира». Визуальные ряды «предмет-рамы» крайне опосредованы по сравнению с первыми двумя предметными рядами, особенно по сравнению с предметами-приспособлениями: их художественная реальность проти-

востоит эстетике действия, это как раз то, что преодолевается, подвергается деструкции в процессе «пустого действия» как редукционного акта, расчищающего и расширяющего демонстрационное поле. Так же, на первый взгляд, «предмет-рама» находится в отрицательном отношении и к предметно-фактографическому ряду, в каком-то смысле она даже антифактографична, особенно по сравнению с первыми, в основном текстовыми фактографиями наших акций. Но, с другой стороны, очевидна и связь «предмет-рамы» с такими порождениями фактографического пространства, как, например, золотые крылья и серебряный шар акции «М». Можно даже сказать, что на каком-то самом крайнем этапе своего развертывания как текста фактография переходит в свою противоположность — символику «предмет-рамы», состоящую из различных определенных трансцендентностей.

И вот в интенции «обратного хода» от краевого символизма «предмет-рамы» (или движения «сквозь» нее) и обнаруживается этот четвертый предметный ряд как бы на скрещении трех описанных выше рядов: предмета-приспособления (в «Мягкой ручке» — то, на что наматывают нитку), предмета-фактографии (сигнальная красная сторона «Мягкой ручки» со значением «стоп», то есть текст о конце акции) и, наконец, «предмет-рамы» (лицевая циферблатная сторона диска с символическим значением «вечности», которое затем легко убрать и заменить чисто рекламным значением, как я сделал после акции «Бочка» в эссе «В беседке без собеседника»). На этом скрещивании обнаруживается новый знак, указывающий на демонстрационное пространство «незаметности», то есть на неясную пока еще аффирмацию действия с открытым значением. Здесь важен, конечно (в интересах эстетики действия) не сам четвертый предметный ряд, а указание на демонстрационную зону, где возможны новые пространственно-временные манипуляции.

Нечто похожее на это указание и отсылание к новому пространству действия, но в грубом виде (так, что сам предмет заслонял собой это пространство) можно обнаружить в «Серебряном торе». Там даже есть и намек на «незаметность» — дырка в торе, которую мы оставили и сквозь которую во время акции дышал и пел Тод. Однако эта незаметность в виде дырки на торе — функциональна, в то время как изменение, утолщение белого нитяного слоя на «Мягкой ручке» — категориально: принцип «незаметности» здесь довлеет над всеми другими значениями. Знак «Мягкой ручки» указывает на «незаметность» как таковую, как на пространство, зону демонстрационного поля: «незаметность» становится

в ряд его определений, становится оперативным эстетическим понятием.

Собственно, обнаружение «незаметности» как зоны демонстрационного поля и есть один из основных результатов акций третьего тома «Поездки за город».

Впервые о «незаметности» как о предварительном понятии мы говорили с Н.Панитковым где-то год назад. Мы пытались разработать целую серию акций, где в центре действия — для зрителей — разворачивалось как бы «главное событие», а где-то с краю, незаметно, как какая-то чепуха и невнятица должно было происходить еще что-то, и это «что-то», затем, в документации, репрезентировалось бы как действительно (т.е. по замыслу) центрально-контентное. Мы, правда, не могли точно определить форму проявления этого «края незаметности» — думали о каких-нибудь звуках, качании ветки, проезжающем мимо автомобиле или о категориях отношения между зрителями и ходом действия типа «отставания», «задержки», «опережения», «совпадения», «пропущенности», «расстояния» и т.п. Обсуждения этих новых принципов происходили тогда между нами еще в сфере эстетического прагматизма, то есть в той открытой сфере, где возможна экзистенциальная реализация коллективного согласия. Но в конце концов этот эстетический прагматизм, правда, довольно сложным «цзи-цзианским» образом реализовался в «Мягкой ручке».

5. ИСТОРИЯ «ЦЗИ-ЦЗИ»

В «ПЕРСПЕКТИВАХ РЕЧЕВОГО ПРОСТРАНСТВА»

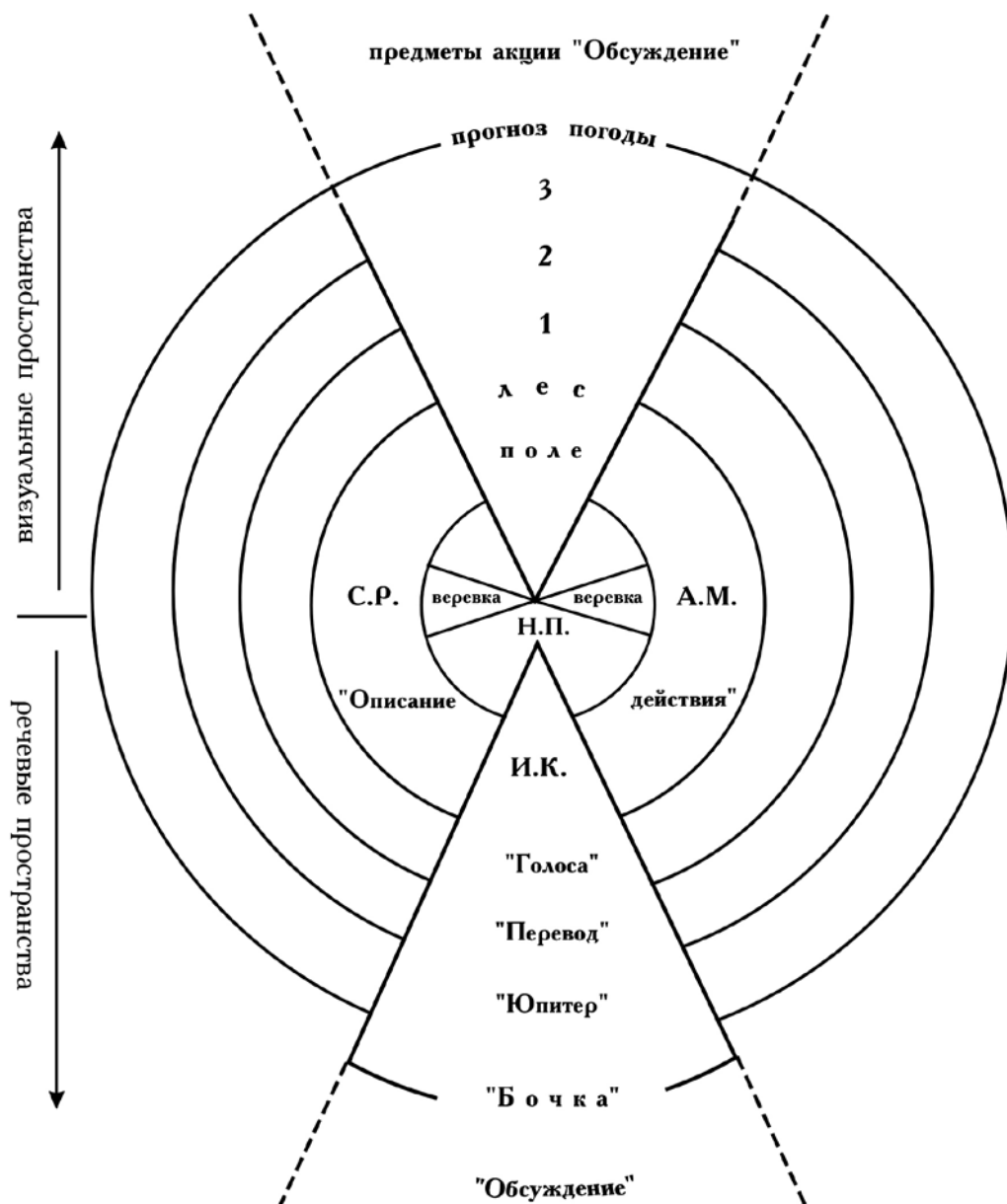
В эссе «Инженер Вассер и инженер Лихт» я описывал историю покупки фонаря «Фотон» для акции «Перевод». Надо сказать, что схема установки трех батареек к этому фонарю была довольно необычной, о чем предупреждалось в инструкции, приложенной к фонарю. Я сначала не обратил внимания на инструкцию и засунул батарейки в фонарь как обычно, по последовательной схеме. Фонарь не загорелся. Тогда я прочитал инструкцию. В ней было написано, что батарейки нужно вставлять по такой схеме (снизу вверх): + — — + + -. В противном случае, как было сказано в инструкции, нижняя батарейка сразу же сгорает. Что у меня и произошло. На следующий день я купил новую батарейку, засунул ее в соответствии с инструкцией и фонарь горел. Мы благополучно сделали акцию «Перевод» и стали готовиться к новой акции. Где-то за неделю до «Юпитера» ко мне приехал мой брат Игорь помочь мне подогнать на-

ушники к телевизионному входу (кстати, он неоднократно помогал мне при подготовке акций, за что я ему весьма благодарен). Когда он ко мне приехал, у меня на полке стояла черная коробка с фонарем «Фотон». Брат заинтересовался этим довольно роскошным на вид фонарем, вытащил его из коробки, вынул батарейки и удивился странной схеме их составления. Но я показал ему инструкцию, и мы решили, что мало ли какие странности бывают в технике.

В то время, когда мы рассматривали схему этих батареек, у меня на столе лежал И ЦЗИН — я его просматривал накануне просто так, без какой-либо связи с запланированным «Юпитером», а тем более с этими батарейками. И вдруг мне пришла в голову мысль переложить схему составления батареек в «Фотоне» на символику и-цзиновских гексаграмм. Как я уже писал, три батарейки давали сочетание + — — + + -, что соответствовало гексаграмме «966996» (ян-инь-инь-ян-ян-инь). Я нашел эту гексаграмму в И ЦЗИНЕ. Она стоит под номером 17 и называется «СУЙ», что в переводе значит «Последование». Прочитав толкование этой гексаграммы я нашел его довольно обнадеживающим. Общий смысл ее читается как «Изначальное свершение, благоприятна стойкость, хулы не будет». Не стоит здесь целиком приводить толкование каждой из шести позиций, но в общей интонации смысл гексаграммы отражал довольно комфортную атмосферу акции «Перевод», где использовался фонарь «Фотон» со схемой составления батареек, соответствующей гексаграмме «Последование». Интересно, что в центре шестизначного ряда этой гексаграммы стоит сочетание «69» — даосский аналог шри-янтры, о которой шла речь в «Перевод».

Дальнейшая история с этими батарейками оказалась еще более удивительной. За два дня до «Юпитера» ко мне пришел Кизевальтер и тоже вытащил фонарь из коробки. Старые батарейки еще чуть давали ток, и фонарь слабо горел. Я к этому времени купил новые, и мы с Гогой решили их туда поставить. Вставив их по прежней схеме, которая была указана в инструкции (по гексаграмме «СУЙ»), мы получили тот же эффект, что и при старых батарейках — едва теплящийся огонек лампочки. Сначала мы решили, что испортилась лампочка, и заменили ее новой: тот же эффект слабого, истощенного света. Повертев фонарь по-разному мы решили рискнуть и вставить новые батарейки по естественной схеме последовательной связи. Я предупредил Гого, что когда я ставил их последовательно, нижняя батарейка у меня перегорела, о чем и предупреждала инструкция. Гога сказал что-то вроде «попытка не

Взаимоотношение демонстрационных полей
в серии акций КД
"Перспективы речевого пространства"



-
- 1- ящик с фонарями на балконе,черный кабель
 - 2- щиты с автомобильными номерами,ящики с фонарями
 - 3- щиты с эмблемами.

пытка» и засунул батарейки по нормальной схеме: + — + — + -. Фонарь вспыхнул ярким светом и стал нормально гореть. Я очень удивился и тут же полез в И ЦЗИН искать гексаграмму, соответствующую этой схеме, то есть «969696» Это была предпоследняя, 63 гексаграмма, которая называется «ЦЗИ-ЦЗИ», что в переводе значит «УЖЕ КОНЕЦ». Толкование гексаграммы оказалось очень мрачным (кстати, это видно и по графической символике цифрового ряда: девятки («небо») и шестерки («земля») как бы повернуты спиной друг к другу). Общий смысл этой гексаграммы читается как «Малому — свершение, благоприятна стойкость. В начале — счастье, в конце — беспорядок». Последняя, шестая позиция читается так: «Наверху шестерка. — Промочишь голову. — Ужас!». Впрочем, меня не очень занимала эмоциональная сторона этого дела. В эстетическом отношении, подумал я, мрачный тон гексаграммы как нельзя более соответствует «предмет-раме» «Юпитера», во время которого будет работать фонарь «Фотон» по схеме «ЦЗИ-ЦЗИ». Шесть «ангелов тартара» на черных щитах довольно красиво сочетаются с интонацией этой гексаграммы. А в «комфортной» 17 гексаграмме «СУЙ» на пятой позиции советуется «Правдивое отношение к прекрасному. — Счастье!». Так что «ужас» этой гексаграммы и вообще ее название «УЖЕ КОНЕЦ» вполне можно было отнести просто к концу серии «Перспективы речевого пространства». Ведь «Юпитер» первоначально и мыслился нами как заключительная акция в этой серии (в комическом и бредово-ассоциативном соответствии с кодом автоматического замка, поставленного в моем подъезде как раз перед первой акцией этой серии — «321»: в «Голосах» звучало три голоса — Кабакова, Ромашко и мой, в «Переводке» — два — Сабинин и мой, в «Юпитере» — один — только мой при повторе программы «Время»). Впрочем, потом (в качестве обещанного «ЦЗИ-ЦЗИ» «беспорядка») появилось продолжение этой серии — «нулевая» акция «Бочка», которая проходила уже на кизевальтеровской «магической» территории, о чем скажу в самом конце этого эссе.

При всей мрачности гексаграммы «УЖЕ КОНЕЦ» в ней есть отсылка на ту область, где возможна реализация, а именно на область некоего «малого»: «малому — свершение». В нашем случае среди всего этого грандиозного символического экспрессионизма юпитеров, ангелов тартара и прочего, этим «малым», на мой взгляд, как раз и была аффирмация «незаметности» «Мягкой ручки», о которой я уже писал выше. Ведь «незаметность» можно еще рассматривать и как метафору стиля аффирмативного начала в искусстве периода «ЦЗИ-ЦЗИ», когда «белое становит-

ся черным», и необходимый для культуры, но довольно жестокий процесс «исправления имен» достигает своего апогея в «черном» экспрессионизме. Сейчас дело обстоит именно так и на этом объективном фоне слишком настойчивая «пропаганда» конструктивности и ментальных аффирмаций выглядит жалким, несвоевременным классицизмом, может расцениваться вообще как дурной вкус и «непопадание». Однако любой процесс, включая и «исправление имен», — дихотомичен, аффирмация существует, участвует в этом процессе незаметным наматыванием белых ниток на «Мягкую ручку». Поэтому и можно сказать, что «незаметность» есть еще и стиль аффирмативного начала в искусстве «ЦЗИ-ЦЗИ». Кстати, и пустое белое поле, оставшееся после «Русского мира», его эстетическое значение снежной белой пустоты, которое никто из зрителей не отметил (хотя мы и подчеркнули его, тщательно засыпав снегом черные обгоревшие предметы), относится к этой же стилистике незаметных аффирмаций.

Вообще вся серия «Перспективы речевого пространства» создавалась как бы в порыве противоборства энтропической тенденции «ЦЗИ-ЦЗИ», в поисках каких-то новых перспектив. Одна из самых неприятных, коллапсирующих черт «ЦЗИ-ЦЗИ» это амбивалентность и тавтология. Избавиться от них можно только сознательным использованием их по принципу «клин клином вышибают». Мы с Ромашко проанализировали нашу деятельность последнего времени, пытаюсь обнаружить, откуда пошла цзицзианская энтропия, и обнаружили ее в акции «Описание действия». Она представляет собой своеобразную тавтологию: на действие одновременно накладывалось его же речевое описание (репортаж Кабакова). Мы решили вставить эту тавтологию в еще более широкую тавтологическую раму: сделать описание описания, вывести тавтологию как пластический прием прямого повтора. Таким образом, тавтология дистанцировалась, перешла на уровень глубинной структуры, «повторение» приобрело характер эстетической категории в процессе сознательной манипуляции с ним (обмененное воспроизведение реплик диалога с рефлексией на такой тип воспроизведения). В следующей акции «Перевод» повторение дистанцировалось еще «дальше», из-за еще более сложной системы обмененностей воспроизведения. Перспективы углубились. В «Юпитере» принцип тавтологии (повтор программы «Время») демонстрировался как уже хорошо отработанный частный прием, допускающий рядом с собой и другой тип подачи материала («музыкальная» линия «Юпитера»). И, наконец, в «Бочке» произошла полная девальвация тавтологии (110 текстовых повторов) и вытеснение ее визуальным и звуковым рядами.

6. МЕХАНИЗМ ТВОРЧЕСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ

В связи со всей этой «цзи-цзианской» историей у меня возникли некоторые соображения о подсознательных мотивациях отбора и вычленения, то есть о том, на каких основаниях автор, незаметно для себя, выстраивает тот или иной образ и даже целую систему толкований. Я не настаиваю на том, что таков общий закон, но лично я подозреваю, что все мои метафизические спекуляции основываются на неосознанных впечатлениях (особенно регулярно-однообразных), которые я почерпнул в сфере обыденного.

Может ли быть каким-то образом связан номер троллейбуса, на котором я много лет ежедневно езжу на работу, например, с магической секвенцией чисел, которую я обнаружил, анализируя «герметические» обстоятельства деятельности «КД»? Посмотрим.

Итак, как я писал выше, у меня возник интерес к цифре «9» в связи с девятью предметами «Русского мира». Я начал об этом думать и у меня вдруг «из всех дыр» полезли «девятки». Во-первых, «Русский мир» сделан на 9-ом году деятельности «КД». Во-вторых, эта акция хронологически девятая в третьем томе «Поездок за город». В-третьих, природа как предмет изображения (то, что я переживал как высшее для себя эстетическое впечатление в «Русском мире», наматывая «Мягкую ручку») находится на девятой позиции в секвенции «Быка». В-пятых, с девяткой мы имели дело в предшествующей «Русскому миру» акции «Перевод»: классическая шри-янтра изображается в виде девяти магиндовидов, число которых можно истолковать и как аналогию девятимесячного срока внутриутробного развития человеческого эмбриона, плюс еще указание на электробатареях, с которыми мы тогда возились — «срок хранения до начала эксплуатации 9 месяцев». И, наконец, шестая девятка — это уже описанные девять бело-золотых предметов-«зайчиков». Получается шесть девяток. А между прочим, номер троллейбуса, на котором я уже шесть лет езжу на работу в Литературный музей — «69» (до этого я три года ездил туда на троллейбусе номер 9). Дело в том, что, кроме того, что мы вообще занимаемся «Поездками», где-то начиная с акции «М» я начал особенно уделять внимание связи между «духовным» и «бытовым» (транспортная эстетика и понятие дао, путь). Вполне возможно, что мой интерес к дао, моя творческая избирательность неосознанно направлялась для меня этим номером троллейбуса, на котором я каждый день ездил. Ведь «69» — это центральный даосский символ (две рыбки в круге).

Этот номер троллейбуса, возможно, как-то очень глубоко отпечатался в моем подсознании, фонил и направлял мою художественную избирательность — в огромном море культуры — именно на понятие дао. Как ни комично это звучит, но вероятность того, что мой «даосизм», методология толкования системы образов и весь этот ряд «чудесных» совпадений (или шизофренических вычленений — в данном случае неважно, факт остается фактом), вероятность того, что все это основывается на номере троллейбуса довольно велика.

Но и так же, как обыденное конструирует метафорическое, так и метафорическое, в свою очередь, влияет на обыденное. Причем тоже самым удивительным образом.

Вернемся к И ЦЗИНУ. Не трудно догадаться, что значение двух типов линий «Книги перемен» основывается на физиологии особенностей женского организма (прерванные линии или «шестерки») и мужского (целые линии или «девятки»). Кстати, арабское начертание шестерки еще подчеркивает, что женский «центр» — это «низ» (живот, земля), а мужской центр — «голова» (начертание девятки). И вот, кроме того, что «69» — это номер моего троллейбуса, шесть девяток это еще и первая гексаграмма И ЦЗИНА — «Творчество». То есть она состоит из шести девяток, шести «ян». А гексаграмма №2 называется «Исполнение» и состоит из шести шестерок, шести «инь». По упрощенному, «народному» толкованию И ЦЗИНА получается так, что мужчине почему-то отводится роль «творца», а женщине — «исполнителя». Конечно, такое транспонирование мужского шовинизма в сферу «духовного» выглядит несколько примитивно. И однако эта спекуляция настолько укоренилась в сфере коллективно-сознательного, что она подчас руководит механизмом творческой избирательности. Так например, подготовив текст для акции «Перевод» (в котором, кроме всего прочего, шла речь и о «69», но в виде шри-янтры), я дал этот текст Сабине, предполагая и прося ее, чтобы она написала свой текст, параллельный моему, на немецком языке. В заголовке моего текста стояло слово «перевод». Я поставил его там как название акции. Сабина же, вместо того, чтобы написать, как я предполагал, свой текст, сделала перевод моего текста. Когда я спросил, почему так, она ответила, что восприняла слово «перевод», озаглавливающий мой текст как указание к исполнению, то есть взяла и перевела его. Эта структура, этот поступок показался ей наиболее правильным. Думаю, что чувство этой «правильности» ей подсказала сфера коллективно-сознательного (давно вырастившая архетип той системы представле-

ния, о которой идет речь в «Перевод» в законченный суперархетип), сформированная и И ЦЗИНОМ тоже — системой мощной и очень жизнеспособной, которая уже много тысячелетий отводит место женщине (и в творчестве, и в жизни) в сфере исполнения, соответственно второй гексаграмме «Кунь» — «Исполнение».

Как видим, проблема творческой избирательности существует, она вполне осязаемо очерчивает границы свободы творческих проявлений.

В эпохи «ЦЗИ-ЦЗИ» механизм творческой избирательности часто «засоряется» и начинает барахлить. Сфера трансцендентного (своеобразный магнит, направляющий духовную эволюцию), думаю, только тогда порождает новые перспективы — методологические, изобразительные, содержательные, когда она остается пустой. Любая иерархия системы знаков, которая манифестируется как трансцендентное превращает эту сферу в помойку. Эта сфера не только принципиально «невидима», но и «неговорима». Она не столько даль, сколько возможность этой дали в сфере обыденного, что, разумеется, очень важно для сохранения многоперспективного восприятия мира.

Символизм и «магия» начинают доминировать в культуре тогда, когда исчерпывается конструктивная методология, познающая обыденность. Основные категории познания — это «есть» и «нет». Культурно-гносеологические порывы (всегда обремененные психологическими мотивами) стремятся к подмене этих оперативных категорий. «Есть» понимается как «земля», а «нет» — как «небо». На этой оси «земля-небо» и разворачивается культура. Одновременно с этим разворачиванием «есть» начинает ползти вверх по оси. Наконец наступает момент, когда возникает ситуация «есть» — «есть» («земля» — «земля» — «+» — «+») — тавтологическая ситуация ЦЗИ-ЦЗИ. При таком положении, разумеется, всякое движение прекращается, возникает «кружение на месте» и потом — сильный эмоциональный, часто психопатологический взрыв («черный» экспрессионизм) как начало процесса «исправления имен» (разрушение небесного «есть»).

Этот общий гносеологический кризис (взаимообразно) связан и с политической сферой, которая очень часто определяет метаинтенцию творческих направлений. Например, круг МАНИ отреагировал на эпоху стагнации, наступившую после разгрома правозащитного движения так, как и следовало ожидать: ярость и злоба (копролалия Кабакова, Сорокина, Пригова), тавтологическое передразнивание «победителя» (те же плюс Булатов, выступающий в этом смысле как пионер со своим «Бреж-

невим в Крыму») и разнузданной интроверсией и мистицизмом («КД»), о которых и идет речь в этом эссе. Эстетическое соответствие всех этих проявлений экспрессионистскому духу времени только подтверждает наличие общего корня вышеописанного кризиса.

7. «ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ!»

В свете всех этих странностей ЦЗИ-ЦЗИ было бы любопытно проследить взаимодействие судеб всех участников «КД» за последние два-три года. Но проследить все «мистические» перипетии этого взаимодействия было бы слишком утомительно. Лучше ограничусь ностальгическим каламбуром о «Взаимодействии» — так называется акция С.Ромашко, помещенная в первом томе «Поездок за город». С течением времени я все больше и больше испытываю чувство восхищения перед этой незаметной акцией — она мне кажется теперь бесспорным шедевром минималистского периода нашей работы, шедевром эпохи ТАЙ (любопытный читатель может посмотреть что это такое в И ЦЗИНЕ). В конце той эпохи, году в 80-м, мы часто беседовали с Ромашко о психоделике и «областях расширенного сознания». Думали достать ЛСД, сделать стробоскоп по рецепту Рассела или, на худой конец, микстуру Медуны.

Впрочем, дальше разговоров дело не шло, хотя чего-то необычного очень хотелось. Я к тому времени уже почувствовал, что заменителем всех этих средств может оказаться религиозная практика. Впоследствии так оно и вышло. Ромашко, как человек здравого смысла, наблюдал за моими аскетическими занятиями с некоторым сомнением. Я же, как оголтелый практик, не соблюдая особой осторожности, начал свое длительное психоделическое путешествие, прошел через сумасшедший дом (куда меня отвозил Ромашко), через «созерцание бесплотных чинов» и прочие приключения в «областях расширенного сознания» и, наконец, года через полтора опять вынырнул на эстетическую поверхность, где ко мне снова подключился Ромашко. Мы начали заниматься с ним психоделическим музицированием, а потом приступили к осуществлению серии «Перспективы речевого пространства» (это название придумал Ромашко).

Профессиональное отношение Ромашко к немецкому романтизму (тема его диссертации «Лингвистические учения немецкой романтической школы») позволило ему и мне — не без его дисциплинирующего влияния — довольно удачно отрефлексировать свойственный этой шко-

ле и нам самим эстетический экстремизм, вогнать его в рамки довольно строгой формы. Ведь за самыми дальними горизонтами ассоциаций акций «Голоса» и «Перевод» не так уж трудно обнаружить тиковского «Кота в сапогах» (интерес Ромашко), а чуть ближе — мое пристрастие к кэрроловскому «Безумному чаепитию». Разумеется, окончательному оформлению этих линий в художественный материал способствовала Сабина, но о нашем с ней «взаимодействии» нужно писать или очень много, или ничего.

После акции «Описание действия», когда мы вышли из сферы переживаний и целиком переключились на эстетическую рефлексию (вероятно, из чувства протеста перед эмоциональной бурей ЦЗИ-ЦЗИ), на понимание, мы, в сущности, остались вдвоем с Ромашко. Отпали Панитков (как участник) и Кабаков (как сочувствующий). Практически, только два человека нас экзистенциально поддерживали — Сабина, заменившая Паниткова, и Бакштейн, откликнувшийся тремя статьями на наши с Ромашко эстетические изыскания. Состав нашей команды и состав болельщиков сильно изменился. Однако мы с Ромашко продолжали катить нашу пустую эстетическую «бочку» и, с помощью подключившегося на последнем этапе Кизевальтера, докатили ее до мастерской Макаревича, где демонстрировали слайд-фильм «Бочка».

Роль Макаревича в акции «Бочка» очень любопытна и заключается она не столько в том, что он предоставил свою мастерскую и аппаратуру. Его «мистическая», цзи-цзианская роль заключается в том, что он, причем неосознанно, случайно, но абсолютно в согласии с духом своего творчества («смерть», «отсутствие») предоставил нам единственного адекватного зрителя для «Бочки» — белую гипсовую маску старика с закрытыми глазами, которую я обнаружил в день акции, войдя в мастерскую, на стене, как раз противоположной той, куда мы собирались проецировать слайды. «Бочка» — вещь «нулевая», т.е. практически не рассчитанная на постоянное восприятие. Это скорее полуторачасовой инвайромент, определенным образом организованная среда. И важнейшей деталью этого инвайромента (для меня), причем с тем важным качеством «незаметности» (никто ее не заметил и не связал с «Бочкой» — случайная вещь интерьера), о которой я писал выше, оказалась эта гипсовая маска, которой Макаревич неосознанно проучаствовал в «Бочке», дав дополнительную пищу моему цзи-цзианскому аутичному интерпретированию. Причем проучаствовал, повторяю, в полном согласии со своей стилистикой (вспомним серию его работ, связанную с гипсовыми масками).

Поместив на стену этот знак «невосприимчивости», которому, кстати, последовал и Кабаков, просидевший большую часть времени с закрытыми глазами, во сне, Макаревич как бы определил иконографическое пространство «Бочки» как пространство «Бога, почившего от всех дел своих» (об иконографических пространствах других домашних акций я писал в тексте «Перевода»: «Голоса» — пространство «трех», двухпространственный «Перевод», демиургическое одноречевое пространство «Юпитера», где изображение как бы появляется из звука и, наконец, «обезбоженное», нулевое пространство «Бочки» — пространство изжитого личного мифологического начала).

С этой маской, которая так кстати оказалась на стене во время показа «Бочки», у меня было психоделическое приключение где-то через полгода после того, как я вышел из сумасшедшего дома. Мы с Ромашко приехали к Макаревичу на Измайловскую и сидели втроем в маленькой комнате на диване, над которым висела тогда эта гипсовая маска. В то время у меня был период самого разнузданного «созерцания» (своеобразных тонких ментально-чувственных галлюцинаций). Если отбросить современный медицинский взгляд на все это дело и описать это в традиции «умного делания», то в тот период мое восприятие было настроено на созерцание божественных (а не служебных, не «ангельских») энергетических мыслеформ. Я как бы плывал в другой реальности восприятия и видел, а точнее чувствовал в своеобразном «контактном» восприятии в окружающих меня людях божественные ипостаси различных религиозных традиций. То есть та «жизненная сила», которая заставляет быть мир человеческих форм «эволюционировала» в моем восприятии до необычайно высокого энергетического уровня. Это чисто силовое ощущение. Если мы все обычно живем как бы на «бытовом» напряжении — 220 вольт, то тогда мое восприятие было «высоковольтным» — я все воспринимал на тысячевольтных напряжениях.

Но к тому времени на довольно тяжелом пути этой алхимической возгонки видений я уже сформировал своего «оператора-наблюдателя» и устойчиво контролировал свое сумасшествие в том смысле, что, говоря, например, с Макаревичем на какие-то совершенно обыденные темы, у него не возникало и тени подозрения, что кроме Макаревича я вижу в его лице бога Шиву (как уровень определенной духовно-жизненной силы, а не как героя мифа, разумеется) во всем его энергетическом, захватывающем дух великолепии. Одним словом, мы трое — Макаревич, Ромашко и я — одновременно в виде (для меня) трех божествен-

ных ипостасей сидели тогда на диване и разговаривали о дальнейших перспективах «КД». Сидели под гипсовой маской нашего Почившего и Отсутствующего Создателя, от мыслеформы которого (через эту маску) исходила и проникала в мой «созерцательный» ум энергия покоя невероятной мощности, во много раз превышающая три наши, вместе взятые, тоже «божественные» энергетические потенциалы. Я тогда отметил мыслеформу Почившего как потолок моих энергетических «видений». Вообще, надо сказать, мир «контактных» созерцаний необычайно разнообразен и пребывание в нем создает иногда странные и комические эффекты индукций и взаимодействий, где совершенно нельзя разобратся что на что действует.

Вот, например, такой интересный анекдот, связанный с Кабаковым. Одно время я страдал, да и сейчас еще не отделался от этого, специфическим типом «навязчивых состояний» — так называемыми «бранями фантазии» — нечто близкое шизофреническому мантизму. Эти «художества» заключались в произвольно возникающих у меня представлениях сновиденческого характера в состоянии бодрствования. Но если в сновидениях этот мантизм естественен, то в состоянии бодрствования он крайне тягостен: сновиденческие фантазии накладываются на реальность и хоть они разворачиваются в области представлений, а не визуальных галлюцинаций, все равно, это крайне утомительно, так как они обладают своеобразными «силовыми» характеристиками как бы призрачно происходящего «на самом деле» (пусть только и у тебя в голове). Так вот, довольно часто проходя мимо дома «России», где находится мастерская Кабакова, у меня в голове регулярно разворачивалась одна и та же картина: раздается звон разбитого окна кабаковской мастерской и оттуда, вместе с осколками стекла, расставив руки в стороны наподобие птичьих крыльев, вылетает сам Кабаков (приблизительно так, как герой английского фильма «О, счастливчик!» в одном из эпизодов). Кроме того, что это было смешно и совершенно ничем не мотивировано, это было еще и довольно тягостно из-за своей регулярности. Но каково же было мое изумление и недоумение, когда Кабаков, уже после того, как эти «представления» его вылетов из мастерской у меня давно кончились, рассказал мне, что он задумал сделать «Комнату человека, улетевшего в космос». В центре ее, на резиновых тяжах, должен помещаться стул-катапульта, с помощью которого его герой предполагал вылететь сквозь крышу дома из этой своей комнаты. При чем вылететь именно так, как вылетал

сам Кабаков из окна в моих «художествах» — чисто «апофеозно» и в полную неизвестность.

Правда, единственное, что обнадеживает во всем этом «мистическо-хаотическом» деле — «магическая» партитура кодов автоматических замков в моем подъезде и подъезде Кизевальтера. Мой код — «321», его — «098». Мы уже осуществили четыре знака этой «партитуры»: «3210» («Голоса», «Перевод», «Юпитер» и «Бочку», которую делали вдвоем с Кизевальтером уже как бы на территории его триграммы — «098»). Сочетание же наших двух кодов «321098», как известно, дает гексаграмму ВЭЙ ЦЗИ (№ 64 в И ЦЗИНЕ), которая переводится «ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ!» (хоть она и последняя в книге). Так что спустившись на самое дно мистицизма в нашей «Бочке», есть надежда, что мы теперь будем подниматься вверх в направлении ЦАНЬ — первой гексаграммы «Книги Перемен», обозначающей «Творчество» и состоящей из шести девяток.

Ну, и, конечно, надеюсь, что большинство здесь сказанного читатель примет за шутку, построенную на странных сопоставлениях и непреложных фактах. (Далее см. материалы акции «Обсуждение»).

Москва — Кясму
1985 г.

ИНЖЕНЕР ВАССЕР И ИНЖЕНЕР ЛИХТ

психопатология «пустого действия»

В предисловии к первому тому «Поездок за город» я писал о том, что концептуальная и экзистенциальная событийность наших акций осуществляется по преимуществу внутри сознания, на границах осознаваемого и возможного быть описанным доступными нам языками описаний. К области культуры и, в частности, к перформансу наша деятельность имеет отношение именно через эти постоянно меняющиеся языки описания. Наиболее интересными представляются «рассказы участников». Эти рассказы передают в основном состояния алертной, выжидательной опустошенности с разной степенью ее длительности и глубины и с возникающим на ее фоне обостренным восприятием среды и обыденного, «нехудожественного» поведения в ней участников — появление, удаление, исчезновение, отсутствие и т.п.

Этот текст представляет собой тоже своего рода «рассказ участника», скорее даже зрителя, в положении которого я попал совершенно непредвиденно и в неожиданном месте. Я решил написать его потому, что то, что я здесь описываю, оказалось для меня «художественным» центром акции «Перевод». Причем переживание этого центра было не привычным переживанием приятной опустошенности с сопутствующим ей обостренным восприятием среды, а напротив, чувство этой опустошенности было крайне отвратительным, тягостным и неожиданно перешедшим в обостренное восприятие более сложного изображения по сравнению с теми изображе-



ниями (появление, удаление, пустое поле, время и т.д.), которыми обычно наполняются наши акции. К тому же это изображение возникло как бы само собой и на этапе подготовки акции как формально-пластическое наполнение заранее продуманной схемы замысла (прежде такие наполнения, если и возникали, то только во время акции или после нее).

Кроме того, при всей сомнительности происшедшего со мной, мне кажется уместным поместить этот текст в документацию «Перевода» из дидактических соображений, напомнив читателям (да и самим членам группы «КД»), что смысл нашей деятельности не в последнюю очередь мы видим в создании эстетическими средствами единичных и неповторимых переживаний обыденных явлений и состояний сознания как неожиданных и необычных.

Вполне возможно (кроме чисто психопатологического объяснения этой истории), что характер «повторного» речевого пространства «Перевода» со снятым смыслом и акцентированным интонированием «повторного» языка описания, его эмоциональная ностальгическая направленность назад, внутрь и вглубь (а не вдаль, «вперед» как в загородных акциях) способствовали возникновению этого «художественного» эффекта на границах одновременно и эстетического, и непосредственного, и психопатологического.

Из текста «Перевода» ясно, что мизансценная сторона акции задумывалась как Шри-янтра, развернутая во времени и событии (а не как изображение на плоскости в традиционном понимании и выражении янтры). Во время самого акта «Перевода» эта янтра просто демонстрировалась как иконы на выставке или в книге. Зрители могли рассматривать ее структуру, пластику, стилистические особенности (например, в традиции буддийской десятимерной иерархии состояний сознания можно прочесть структуру «Перевода» как репрезентацию шестого «Мира слушающих голоса» и т.п.), но они никак не могли в нее «войти», хотя известно, что янтра — помимо своей культурной функции изображения неких идеальных ментальных пространств — является системой координат для созерцания и медитации, техническим приспособлением, своего рода ключом, открывающим зоны сознания, переживаемые оператором-наблюдателем как трансцендентные обыденному сознанию, работающему в режиме восприятия согласованной реальности. Здесь еще раз хочется повторить, что и все наши прежние акции строились с учетом этих двух планов, более того, именно духовный прагматизм акции как технического приспособления, обеспечивающего возникновение измененных

состояний сознания часто инспирировал ее реализацию. Но в прежних акциях эти пространства-состояния предварительно не описывались, не наполнялись положительными ментальными схемами. Их технические структуры предназначались для снятия культурных установок, для своего рода «расчистки» сознания в дзен-буддийской традиции «удара палкой по голове» и даосской традиции «исправления имен». Переживание ожидания как совершившегося и положительного состояния казалось достаточным — и духовно, и эстетически.

В «Переводe» речь шла о тантристской Шри-янтре, о конкретной ментально-духовной пластике трансцендентного. В дзен-буддизме и даосизме трансцендентное всегда остается «пустым»: пустой круг в дзенской секвенции «с быком», «небесное дао пусто» в Дао де дзине и т.п. Пустота, молчание обычно манифестируются как высшие состояния сознания. В этом смысле наше обращение к Шри-янтре можно рассматривать как «ход назад», вниз, но ход естественный, вытекающий из природы построенного нами речевого пространства, тоже направленного «назад». Однако, весь фокус «Перевода» состоял в том, что наполнение этого «пустого» круга («пустого действия»), его опредмечивание и «загрязнение» (правда, красивое), произошло на периферии демонстрационного поля, за день до акции. Сама акция, на мой взгляд, прошла на прежней «высоте» разреженности, она была так же пуста по своему содержанию, как и все предыдущие. Это «содержание» вылезло как бы сбоку и только для меня. Как это случилось я и хочу рассказать.

...

Итак, мне нужно было купить три китайских фонаря для визуального ряда «Перевода», чтобы засунуть их в квадратный черный ящик. В поисках фонарей я обошел несколько магазинов «Свет». Некоторые из них были на ремонте, в других не было нужных мне фонарей. Когда я выходил из «Детского мира» (фонарей там тоже не оказалось), раздражение и внутренняя ругань, страшный мат, которым я про себя крыл все вокруг, достигли такой степени, что я впал в состояние какой-то психопатической кататонии. Мне вдруг стало наплевать и на фонари, и на усталость, и на раздражение. Все вокруг и внутри меня лишилось смысла, исчезла и эмоциональная причастность к тому, что делаю и хочу я сам, и к тому, что делается на улицах и в магазинах вокруг меня. Осталось только одно механическое передвижение по Москве от магазина к магазину и последний пункт, цель этого передвижения — ГУМ.

По мере того, как я продвигался по улице 25 октября к ГУМу, я чувствовал, что сознание мое все более застывает, застревает в «здесь и теперь» в тягостном бесстрастии и отстранении от реальности. Для меня стали совершенно пусты те смыслы, желания, интересы и формы, которые объединяют мир вокруг меня в единое целое. Все эти рациональные и эмоциональные нити, связывающие жизнь вокруг нас в один клубок, в одну реальность, напрягались, вибрировали, заставляли двигаться, хотеть и стремиться к чему-то людей, машины, падающий снег, лежащие сугробы, но совершенно не касались меня, ни одна из этих нитей не была связана ни с моим умом, ни с сердцем. Оказавшись по ту сторону принадлежности к миру, я чувствовал себя как движущийся футляр пустоты, как мертвое физическое тело, в своем движении подчиняющееся только механическим и поведенческим законам, без их эмоционального или любого другого переживания.

И вот в состоянии такого «футляра» я вхожу в ГУМ и двигаюсь по третьей линии к секции, где продаются фонари. Народу довольно много, но не так, чтобы огромное пространство универмага было заполнено целиком, без давки. Я подхожу к прилавку и вижу, что китайских фонарей нет. Однако, есть черно-белый большой фонарь «Фотон» за 2 руб. 20 коп. Я прошу продавщицу показать мне этот фонарь. У меня нет денег, чтобы купить три таких фонаря. Я верчу фонарь в руке, не зная, что делать — покупать или нет. В голове все сильнее и ужаснее внутренняя ругань, все сильнее степень «застревания» и отстраненности, которая дает буквально соматический эффект ощущения «раздувающейся» головы: внутренняя непринадлежность к обыденному миру, пустота, вакуум как бы давят изнутри на стенки моего головного футляра, на череп и на глаза. Возможно, у глубоководных рыб бывает такое состояние «раздувания», когда они выплывают из своих глубин в опасные для их жизни водные пространства с более слабым давлением. Наконец, степень всей этой психической гадости сгущается до того, что происходит как бы скачок и включается другой план восприятия реальности. Она приобретает характер сновидения или кинофильма — совершенно совпадающего с тем, что происходит на самом деле, но все же — сновидения, кинофильма со мной в главной роли. Изменение окружающего меня пространства в «кинематографическое» я чувствую потому, что, дойдя до полного опустошения своего «я» как свободной личности, я становлюсь совершенно пустой, бессознательной единицей вроде муравья в муравейнике — в данном случае в муравейнике огромного ГУМа. И так же, как муравьи, вероятно, в своей деятельности

подчиняются каким-то безусловным рефлексам, как-то энергетически, через биоимпульсы всей колонии в целом связаны друг с другом, так же и моя полностью опустошенная голова связывается с коллективным сознательным окружающих меня людей. Я ощущаю чудовищную внутреннюю, умственную несвободу, похожую на ту, которую мы испытываем во время сновидения и на то несвободное пространство кинематографа, где по сценарию, по плану двигаются актеры, герои фильмов. В таких психоделических состояниях (мне они хорошо знакомы) этот реликтовый план восприятия мгновенно насыщается культурными архетипами и мыслеформами: все предметы и связи между ними приобретают символический, ментальный смысл, и он перекрывает — по своей экзистенции значения — причем совершенно неподконтрольно — бытовое отношение к вещам. Попросту говоря начинается бредовое восприятие окружающего. Но поскольку мое сумасшествие контролируемое, я знаю, что это бред, то нахожусь как бы не внутри него, а смотрю — через своего «оператора-наблюдателя» — снаружи, смотрю на то, как мой мозг непроизвольно «считывает» все эти ментальные иконографические схемы бурлящих, копошащихся и сияющих вокруг меня «умных сил» и символов. Их «семантическая» энергетика как бы просвечивает сквозь мир обыденных форм.

И вот в этом пространстве, в плоскости как бы «третьего глаза» и развертывается самый интересный для меня эпизод «Перевода», но не как галлюцинация, а на совершенно обыденной канве происходящего. И вот из-за того, что мое бредовое (или созерцательное — как кому угодно) пространство смыкается с обычным пространством рядом достаточно необычных совпадений на очень коротком промежутке действия (как это будет, видно дальше), я и вынужден предполагать сферу коллективного сознательного как реально существующую психическую зону, взаимодействующую с пространством культуры и свободы, с пространством согласованной реальности, в котором мы все живем. То есть в эстетике действия я рассматриваю сферу коллективного сознательного как еще одну довольно существенную зону демонстрационного поля.

Итак, я стою у прилавка и держу в руках фонарь «Фотон». Бредовая часть моего сознания твердит, что это не только фонарь, это источник света, вернее — «Света от Света» и так далее, тому подобное. И хоть мне уже давно остоебли все эти «Светы» (гностическая брань!), ангелы, архангелы и «власти», и я крою их про себя еще более чудовищным ебом, чем министерство торговли, я, вспоминая, что все же как ни как мы строим в «Перевode» иконографическое пространство, а три

фонаря, торчащие сзади нас из черного ящика, должны символизировать что-то вроде «Тримурти», я перестаю сопротивляться разворачиванию «кинофильма» и говорю про себя: «Хуй с ним, куплю этот фонарь!». За спиной сразу же раздается: «Правильно!» — какой-то мужик сзади меня пробивается к прилавку с этим словом. Спроси я, почему он пробормотал это свое «правильно», ни к кому не обращаясь, он сочтет меня за сумасшедшего. В духовной же топографии моего «кинофильма» (или бредовой — не важно) его реплика просто не что иное, как «хамское» проявление «умной силы» (так называемых «властей»). Причем это не слуховая галлюцинация, я довольно хорошо исследовал этот эффект «сцепления» интенсивного внутреннего говорения с внешними артикуляционными проявлениями — он обычно реализуется в двух видах: вычленения подходящей реплики из постороннего разговора и «проборматывания» вслух, как бы случайного, «подходящей» к твоему «говорению» части своего мысленного потока человеком, который в момент такого «говорения» оказывается рядом с тобой. Скорее всего, это именно означенное и озвученное через объединяющую всех нас мыслеформу «Логоса» проявление коллективного сознательного.

Итак, мысленно послав этого мужика на хуй, я покупаю фонарь и отхожу от прилавка.

И вот неожиданно, действительно, как во сне или кинофильме, двигаясь по третьей линии ГУМа, я вижу идущую мне навстречу молодую женщину в черной шубе, по виду иностранку, вижу, что в левой руке она держит такой же фонарь «Фотон», который лежит и у меня в сумке, завернутый в бумагу. Но у нее он не завернут, она держит его в опущенной руке открытым, стеклом на меня. Я вижу отблеск, вспышку отраженного света на стекле фонаря. Фонарь в те несколько секунд, пока женщина проходит мимо меня, все время держится как бы в фокусе, центре кадра, и я не могу, не успеваю рассмотреть подробно ее улыбающееся лицо и довольно высокую, стройную фигуру в распахнутой черной шубе.

Она шла, выделяясь, вернее, мое сознание выделяло ее на фоне других людей, скорее даже на аудиальном фоне иностранного говора — вероятно, она была иностранным туристом — сзади нее шла целая группа иностранцев. Мое сознание, причем и трезвая его часть, с полным эмоциональным и ментальным согласием (без посылания на хуй и прочей ругани) и эстетическим восхищением переживало этот эпизод, эту встречу как в высшей степени художественный, прекрасный эпизод кинофильма «ГУМ», кульминацией которого, оказывается, был «вход»

в Шри-янтру: ведь мимо меня во всем своем трансцендентном великолепии прошла блистающая, воплощенная в роскошную форму сила Инь с акцентированным атрибутом — черной шубой, и, главное, конечно, с фонарем в руке, который связывал ее и меня в один сюжетный узел, в два наложенных друг на друга треугольника этой янтры. Интересно, что оператор и режиссер, в сущности, моего же фильма, моего сюжета «Перевода» так умело «подали» этот центральный эпизод, так направили мое зрение и слух, что я не успел разобрать видовых и звуковых подробностей, например, что это был за иностранный язык — просто шум иностранного говора, как фон. В центре эпизода «инженер Вассер и инженер Лихт» поместили и выделили только встречное движение женщины, ее черную шубу и фонарь «Фотон» в руке. Именно это выделение, усиление акцента только на ней и этих двух атрибутах порождало переживание ее как образа, силы, двигающейся в трансцендентном воздухе необыкновенной ясности, кристальности. То, что эта трансцендентность была необыкновенно комфортной и воспринималась мной почти на грани обыденности без чрезмерной мистичности, странности, образ женщины не был визуально искажен, галлюцинирован и смысл встречи раскрывался практически только на семантике предметов — шубе и фонаре, а силовой, энергетический оттенок «явления» носил характер ясной, а главное, культурной силы, все эти особенности (в отличие от страшных и бурных миров христианских мыслеформ, хорошо знакомых мне по прежним психоделическим переживаниям и встречам) позволили мне пережить этот эпизод как прежде всего художественный, эстетически «сделанный» с великолепным мастерством. Причем эта встреча, это впечатление оказались для меня и мощным психотерапевтическим воздействием — они мгновенно вернули мне связь с миром, эмоционально положительное его восприятие.

И как бы на прощание, на память об этой встрече «инженер Вассер» подарил мне еще один взгляд, еще один ракурс — вид на синий фонтан, который открылся мне в проеме, в проходе на вторую линию ГУМа. Двигаясь к выходу из ГУМа, полный эстетического восхищения, как если бы я только что посмотрел какой-нибудь шедевр Бергмана или Херцога, совершенно успокоенный и оживленный теплом и ясностью этой удивительной встречи с трансцендентной, прекрасной и живой духовностью, только что блеснувшей мне стеклом фонаря «Фотон», я довольно неожиданно для себя, как если бы мне мягко и безмолвно предложили это сделать, повернул голову налево и увидел в проеме синий

фонтан со сверкающими струями воды. И сама архитектура фонтана (на самом деле, если к нему приглядеться, наверняка что-нибудь ужасное, обшарпанное), и сверкающие водяные струи предстали передо мной в том же ясном силовом и трансцендентном напряжении как прекрасное, великолепное зрелище: блеск воды, как и женщина с фонарем, был полон той же силой Инь, силой освежающей, облегчающей, утоляющей и в конечном счете растворяющей все в себе. Это дивное восприятие фонтана как трансцендентной реальности было вторым и последним эпизодом кинофильма «ГУМ». Именно в этом кинофильме (и увы, только для меня) произошло вполне реальное — в чувстве и видении — осуществление Шри-янтры, «вход» в нее, янтры, о которой говорится в «Переводe». Моя покупка фонаря и ответный сигнал таким же фонарем через женщину в черной шубе как бы соединили ИНЬ и ЯН, СВЕТ и ВОДУ, соединили и сами соединились внутри меня, в чувстве возникшего во мне эмоционального и смыслового покоя и законченности. Ведь самым главным для меня, помимо формальных совпадений, в переживании этих двух эпизодов — «женщина» и «фонтан» — было чувство комфортной вечности, чувство, что эти эпизоды развернулись в трансцендентном пространстве, при вечном свете, на вершине достижимого воображению и восприятию, где они всегда и находятся, лишь ситуативно и формально меняя свои обличья и констелляции в потоке реальности и фантазии, дао и жизни, в потоке происходящего вокруг и внутри нас.

Интересно, что «инженер Вассер» и «инженер Лихт», устроив мне эти великолепные переживания в ГУМе и «изъяв» из продажи китайские фонари (если бы я их купил, то обязательно засунул в черный ящик — три одинаковых фонаря, символизирующих скорее Тримурти, чем Инь и Ян), «сконструировали» и соединение трех разных фонарей в этом ящике — мне просто ничего не оставалось делать, как только использовать имеющиеся у меня разные фонари, сочетание которых совершенно непроизвольно, но очевидно символизировало именно сочетание Инь и Ян: из коробки торчало наружу только два фонаря, причем один большой, белый (тот самый «Фотон»), а другой совершенно черный. Третий фонарь, который оказался у меня, был прямоугольный, с очень большим рефлектором, он не пролезал в дырку ящика — мне пришлось просто прислонить его к отверстию коробки изнутри. Его свет создавал скорее внутреннюю (внутри коробки) световую среду, освещенность, как в доме, а наружу торчали только два фонаря — белый и черный. Последний раз в тот день, поздно вечером «инженер Вассер» появился еще раз, уже

скорее в комическом свете. В тот день в нашем доме отключили воду, произошла авария, где-то под землей пробило водопроводную трубу. Часов в 11 вечера я услышал за окном крики, шум, мат — приехала водопроводная аварийная команда. Они галдели и ходили толпой по той части улицы Кондратюка, которая как раз видна с моего балкона. У них было несколько фонарей, и они освещали ими канаву, прорытую на улице, ища место повреждения трубы. Мне стало любопытно послушать, о чем они разговаривают. Первое, что я услышал, открыв балконную дверь и выйдя на балкон, была громкая фраза, почти крик: мужик в желтой спецодежде кричал мужчине в пальто: «Что где рыть, где рыть, ты ведь, блядь, у нас инженер, ты и ищи!!!»

Я закрыл балкон, взял в руки фонарь «Фотон», развернул его и вынул из него три батарейки. Батарейки назывались «Юпитер М». На них было написано «Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации не более 9 месяцев» — что ж, срок вполне «эмбриональный», к тому же цифра «9» соответствует и числу спаренных треугольников в традиционной Шри-янтре, упрощенное изображение которой тоже присутствовало на кожухе батареек: в черном кружке две человеческие фигурки с соединенными руками и как бы совместными усилиями держащие и поднимающие вверх вспышку света.

...

Возвращаясь к тому, с чего я начал свой рассказ, к общим проблемам и характеру «художественной» деятельности нашей группы хочу еще раз подчеркнуть, что в культуру она входит исключительно своей эстетической стороной. Адекватное описание и тем более сопереживание вышеизложенного, очевидно невозможно, да и не нужно. «Инженер Вассер и инженер Лихт» просто репрезентация одного из возможных типов языков описания, который лишь указывает на еще одну зону демонстрационного поля, где могут неожиданно возникать «художественные» эффекты той или иной акции.

Но в центре, так сказать, реального рассмотрения нашей деятельности остается, конечно, только как бы «остаточный мусор», но мусор в положительном смысле, с эстетическим значением, которое, в первую очередь, на мой взгляд, зависит от мифа. Миф — дело достаточно тонкое, его жизнеспособность обеспечивает не только изошренность интеллектуального уклонизма, эстетического лавирования на гребне актуальности, исторической уместности проявлений и художественно-

конъюнктурного чутья при отборе и выстраивании языковых структур. Жизнеспособность мифа в первую очередь держится на своего рода духовном прагматизме, на той, пусть и невнятной, но все же ощутимо наличествующей информации о состоянии коллективного сознательно-го как сложной, постоянно меняющейся системе психоформальных констелляций, в которой проявляется жизнь духа, информации, получаемой прежде всего в процессе часто довольно рискованного для психического комфорта самопознания.

9 февраля 1985 г.

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД

**«Черный» концептуализм и нью-бидермайер
как стилистическая предмет-рама «пустого действия»**

Прежде, чем описать некоторые «незаметности» акции «Обсуждение», мне кажется необходимым сказать несколько слов о ментальности. В последнее время это понятие часто употребляется в разговорах, дискуссиях, суждениях, однако я не уверен, что все мы подразумеваем одно и то же под этим понятием. На мой взгляд, чаще всего ментальность употребляется как синоним интеллектуальности, то есть под ней подразумевается некая характерная черта мышления. На самом деле ментальность стоит в парадигме совсем другого рода понятий, а именно в той же парадигме, что и слово «реальность». Под реальностью обычно понимается пространственно-временной континуум, созданный совместными усилиями психических способностей человека и физикой наличного бытия. Реальность бывает согласованной (в этом случае ее называют действительностью или просто миром), искаженной (в результате психических заболеваний, действия наркотиков и т.п.), сновиденческой и т.д. Наконец, существует так называемая реальность «расширенного сознания». И вот эта последняя реальность в том случае, если она обладает неким подобием порядка, который свойственен реальности согласованной, и есть то, что принято называть ментальностью. То есть под ментальностью понимается также пространственно-временной континуум, но протекающий в таком режиме восприятия и переживаний, когда усилия психических способностей человека — в постоянном процессе создания и поддержания этого континуума (например, «восхождение по бесплотным чинам» в православной аскезе, «сто стоянок» суфизма, «духовная алхимия» даосских практик, разные уровни дхьяни в буддизме и т.д.) — доминируют над физикой наличного бытия. Таким образом, ментальность это не свойство мышления, а особый мир (или слой мира, если понимать мир как слоеный пирог), в котором, как и в согласованной реальности, действуют свои причинно-следственные законы, случаются

разного рода неожиданности, происшествия, одним словом, протекает жизнь со всеми ее понятными и непонятными обстоятельствами.

Обычное сознание проникает в этот ментальный слой «мирового пирога» после того, как мышлению, оперирующему несуществующими в согласованной реальности понятиями, удастся подчинить себе механизмы и, главное, ритмы согласованного восприятия. В последнем случае возникает картина ментальных перцепций, которая и складывается в конце концов в мир ментальности. В аскетических практиках этот процесс называется метанойей (изменением сознания) или «умным деланием» в том смысле, что ум как бы делает мир, то есть сознание определяет бытие — (в известных пределах, разумеется), а не наоборот, как это принято в согласованной реальности.

Ментальность (если она не принимает клинические формы, что часто случается) обычно никак не проявляется в согласованной реальности — это сугубо внутренний, личный мир. Единственная реальность, в которой ментальный мир может проявиться — это реальность эстетическая. В преобладающем большинстве произведения искусства миметичны по отношению к согласованной реальности. Но, оказывается, возможен мимезис и ментального мира. Все наши акции серии «Перспективы речевого пространства» и акция «Русский мир» в каком-то смысле и являются таким мимезисом. Авангардное искусство, особенно такие его формы, как перформанс (акция), дает возможность не только говорить о ментальном мире, но и реализовывать прямые акты ментальных перцепций, правда, обычно лишь для соучастников группы «КД», а не зрителей. Зрителям ментальный мир открывается только в языках описания, на что им не стоит жаловаться, как это делает Пригов, ибо действительное пребывание в двух реальностях — согласованной и ментальной, жизнь в этом как бы «Двойном бытии», о котором писал Тютчев, не только тягостна, но в некоторые моменты просто невыносима, и те участки *vita beata*, которые встречаются в ментальном континууме, вряд ли компенсируют постоянное состояние раздвоенности «ментального странника».

До того как описать закрытую для зрителей сторону акции «Обсуждение», расскажу об одной ментальной перцепции из «реальной» жизни, которая случилась со мной года три назад. Она-то и инспирировала образ «Закрытого города» — той части слайд-фильма акции, которая состоит из красных слайдов: фрагментов троллейбусов и красных щитов-лозунгов.

«Итак, речь пойдет как раз об одном из эпизодов, когда мой взбесившийся ум подчинял — путем чудовищных их истязаний — механизмы и рит-

мы моего восприятия своим несуществующим в согласованной реальности понятиям, как он натурализовывал эти понятия в перцептивные акты, нарушая, изменяя и постепенно «ментализируя» самые основные, фундаментальные планы восприятия — в данном случае визуально-цветовой план.

Эпизод, о котором пойдет речь, был для меня далеко не первой встречей с ментальным миром (для тех, кто читал Кастанеду, будет более ясно, о чем идет речь, если они транспонируют кастанедовское понятие «нагваль» на тот этап развертывания ментального мира, когда он еще не упорядочен, не подчинен и не выдрессирован рефлексией). Вообще после месячного пребывания в сумасшедшем доме я постоянно «стоял на шухере» своего собственного ума, не без оснований ожидая от него каких-нибудь гадостей.

В то утро (это было в середине апреля 1982 года) я встал довольно рано и перед тем, как выйти из дома, посмотрел на улицу из окна для того, чтобы узнать, какова там сегодня «ментальная погода». Мое зрение сканировало только красные поверхности: красные пальто, шарфы, перчатки и другие красные части одежды и предметы на улице — как будто иных цветов вовсе не существовало. Для меня эта «краснуха» явилась знаком того, что сегодня ментальная (я тогда ее называл «ангельской» в соответствии с традицией исихастского «умного делания») реальность особенно обнажена и носит раздраженный, нервический характер. Причем, я тогда уже подметил, что изменения ментального климата (а точнее, моей «расширенной» психики) совершенно явственно зависели от состояния погоды — в тот день как раз шел снег с дождем, было ветрено и слякотно.

Для того чтобы попасть в тон состоянию нервической «ангельской» «погоды, я, помню, напялил на себя красный свитер. Тогда подобного рода идиотизмы имели для меня определенное «магическое» значение. Я надеялся, что красный свитер как бы растворит меня в этом красном мире, одновременно и защитив меня от возможного дурного его воздействия на мой ум.

Но красный свитер меня не спас. Я поехал на работу на 9 троллейбусе по проспекту Мира. Вообще, надо сказать, когда я сейчас вот это все пишу, я очень хорошо понимаю преступников, которых тянет на место, где они совершили преступление. Большинство моих ментальных переживаний, включая описываемые, были чудовищно мучительны и в то же время это был совершенно особый волшебный мир до такой степени не похожий на мой обычный предшествующий опыт жизни в согласованной реальности, что я мог (да и теперь могу) сравнить его только с каким-то потусто-

ронним, иносветным миром. Я буквально чувствовал себя тогда «на том свете» со всеми своими физическими и психическими потрохами.

Итак, я ехал по проспекту Мира как всегда в полной интроверсии, изоляции от внешней реальности. Мозг мой лихорадочно работал, неконтролируемая мыследеятельность как обычно вращалась вокруг природы «слоеного мирового пирога» и всех этих ментальных уровней. Я беспрерывно рассуждал о том, каким же образом и почему мое сознание вступает с ними в коммуникационные контакты, рассуждал о природе сплошного потока ментальных перцепций, в котором я оказался и из которого я никак не мог выбраться.

И вдруг в какой-то момент на меня обрушился этот ужасный синдром «цветов». Описать его не так-то просто. Обычно в транспорте мы едем в состоянии умственной рассеянности, за окном что-то мелькает, мысль наша перепрыгивает с одного предмета на другой. И если даже мы займемся решением какой-нибудь проблемы, например, существует ли Бог, то процесс этого решения будет протекать внутри нашего сознания, окружающие предметы и явления внешнего мира никак не будут ввязываться в наши рассуждения, не станут каким-либо образом подтверждать или отрицать наши выводы по данному вопросу.

Со мной же произошла следующая странная и ужасная вещь. Сила моего рефлексирующего вопрошания о «слоеном пироге», гносеологическая жажда дошла до такой степени неконтролируемости, что сцепилась, слиплась с энергетическими цветовыми импульсами окружающего мира.* В моей голове как бы пробудился совершенно чуждый мне механический или электронный мозг, часть цепей, узлов которого находилась вне моей головы. Его «печатная» схема включала в себя цвета окружающих вещей — кузовы машин, дорожные знаки, рекламные щиты, красные лозунги, одежду пассажиров троллейбуса и прохожих и т. д. Он лихорадочно работал совершенно независимо от моей воли, отвечал сам себе

* ... кстати, тут интересная проблема некоторой соприродности света (а цвет — это отраженный свет) и мысли как некоторых энергий, которая, возможно, возникает между ними в таком понятии и явлении, как скорость. Вспомним, что, по Эйнштейну, тело, достигшее скорости света, как бы выпадает из времени, а каковы пределы скорости мысли — неизвестно, особенно когда она включается в режим саморазвертывания, как это у меня и было. Если принять во внимание гипотезу, которая связывает в одну проблему мысль, свет, скорость и время, то лично для меня становятся ясными те временные aberrации, совершенно эмпирическое ощущение того, что я переживаю все это как бы «на том свете» и в некоторой «вечности», которые были всегда свойственны, характеризовали (психофизически) мои ментальные перцепции.

на задаваемые им же вопросы через цветовые знаки: насильственно, принудительно наводил мое визуальное внимание на определенные цвета окружающих предметов, то есть он подчинил себе нервные и мышечные двигательные центры моего зрения. Причем, моя воля, мое трезвое «я» не могло остановить, погасить все время усиливающийся процесс «расширенного» визуального мышления и в полном оцепенении наблюдало за этим лихорадочным сканированием. Интересно то, что это не были слуховые галлюцинации, а именно мыследеятельность с невероятной силой и скоростью навязчивости. Мои «рассуждения» состояли не только из вопрошаний, но и из констатаций типа «плохая погода скверно действует на ангелов» (имелся в виду «ангельский» слой этого слоеного ментального пирога). Одновременно с возникновением у меня подобного рода мысли разбушевавшийся мозг наводил мой взгляд на желтый цвет, что означало подтверждение правильности этой мысли, наведение на красный цвет, напротив, означало отрицание. Причем аутентичность этой системы знаков обеспечивало сердце, в котором возникали своеобразные энергетические импульсы положительного или отрицательного характера. Вообще, именно сердце во всех духовных практиках считается главным созерцательным органом ментального мира. Впервые о необходимости для аскета «свести ум в сердце» говорится в Упанишадах, а потом и во всех аскетических руководствах: даосских, буддийских, суфийских, православных, причем независимо друг от друга.

Но кроме этих «сердечных» подтверждений, система смысловой оперативной означенности цветов мгновенно выработалась у меня тогда на сплошном потоке совпадений бытовых суждений с независимым от моей воли наведением моего зрения на тот или иной цвет, например: «уже середина апреля» (желтый цвет; действительно, тогда была середина апреля), «я еду по улице Горького» (красный цвет; я ехал по проспекту Мира) и т.д. и т.д. На первый взгляд, все это может показаться не таким ужасным и легко объяснимым. Например, каждый может, сидя в комнате на стуле, подумать о том, что он идет по улице, и сознательно найти взглядом красный цвет в интерьере комнаты (обложку книги, красную тряпку и т.д.) То же самое можно проделать и с «утвердительным» желтым цветом. Но в моем случае было совсем не так: я еще не успевал закончить мысленно фразу, как уже мой взгляд упирался в желтый или красный цвет какого-нибудь предмета: визуальное насильственное сканирование по цветам «слиплось» с моим мышлением на каком-то очень глубинном, подсознательном уровне. Я не мог сознательным усилием

воли прекратить ни идиотской мыследеятельности, ни «принудительных» наведений моего взгляда на цвета. В мой мозг проникла тогда какая-то мощная энергия, специфическая жизненная сила и «настраивала» механизмы моих перцепций (весьма мучительным способом коллапсации мыследеятельных актов) на восприятие ментального мира.

Процесс этого «цветового» мышления все время раскручивался, усиливался, фразы делились на отдельные слова, слова на слоги, на отдельные буквы, зрительные перепрыгивания с одного цвета на другой становились все резче, быстрее. Я оказался в сплошном цветовом потоке, цветовой мясорубке, буквально размалывающей и размазывающей мое сознание по кузовам проезжающих машин, троллейбусов, автобусов, домов, вывескам, знакам и т.п. Причем, стал преобладать уже почти один красный цвет, буквально закрывший собой город, по которому я ехал. В слайд-фильме «Закрытый город» как раз и передан этот момент, это переживание «закрытости» города красными частями троллейбусов и распада мышления на отдельные слова, слоги и буквы на слайдах фрагментов лозунгов-щитов (желтые буквы на красном фоне).

Голова у меня болела и распухала, обычная реальность все больше отслаивалась, отдалялась, я бессильно барахтался в этом, постоянно убыстряющемся, смысло-цветовом потоке, который сам уже терял всякий смысл, превращался в какой-то вихрь мучительного психоделического абсурда. Совершенно мне неподвластная, страшная сила вращала моей головой, заставляя непрерывно метаться глазами от красного к желтому, от желтого к красному — и так без конца, до физической невыносимости, чуть ли не до рвоты. Это метание (в слабом подобии, разумеется) я и попытался передать через «моргающие» слайды фрагментов красно-желтых щитов-лозунгов.

Сойдя с троллейбуса у Сретенских ворот, едва волоча ноги, я пошел вниз по Рождественскому бульвару, но ни говорение, ни ужасное тырканье мне в рожу этими цветами не прекращалось. И вдруг неожиданно, как бы сами собой, в голове всплыли слова Иисусовой молитвы. Она стала постепенно вытеснять говорение и где-то в конце Петровского бульвара мой взгляд, совершенно истерзанный желто-красным адом, вдруг остановился, наконец, на спине идущего впереди меня человека, одетого в синее пальто. Синий цвет его пальто неожиданно всплыл передо мной, я «зацепился» за него взглядом и мое зрение как бы «встало на синий якорь». Получив другое цветовое впечатление, я испытал огромное чувство облегчения, как будто вынырнул из какой-то омерзи-

тельной желто-красной жижи на поверхность и увидел над собой синее небо. Правда, как только я сосредоточился на синем пальто, тут же мое зрение обнаружило склонность обращать внимание исключительно на синие предметы. Причем их вдруг оказалось как-то подозрительно много вокруг меня. Одним словом, идя по Петровке, я шел уже по «синему» миру — видел только синие машины, синие сумки, синюю одежду и т.п. Остальные цвета выпали из поля моего визуального внимания. И все же после красно-желтого метания «синий» мир был миром блаженного покоя, бессмысленное вопрошание-говорение прекратилось как бы наткнувшись на синий барьер.

Итак, войдя умом в синюю сферу (иногда в духовных традициях синий цвет квалифицируется как уровень «серафической» ментальности, более высокой, «сильной», чем красная «ангельская» ментальность), я, с одной стороны, был благодарен за ослабление интенсивности говорения и отсутствие идиотских желто-красных семафорических «да» — «нет», с другой стороны, я понимал своим «оператором-наблюдателем» несвободу моего положения. Ничего особенно приятного в этом тырканье в синие предметы не было (бросив же эту путеводную синюю нить, я чувствовал, что опять могу сверзиться в желто-красный ад). Я понимал, что и «синий мир» — ненормальное состояние, но выйти из него не мог.

Через некоторое время все это как-то незаметно прошло само собой.

Впоследствии у меня не раз еще возникали, правда, уже слабо связанные с говорением, «белые», «красные», «зеленые» и «черные» миры, когда зрительное впечатление какое-то время складывалось только из поверхностей того или иного цвета. Со временем, когда у меня начался процесс волюнтаризации ментальности, и я постепенно научился на нее воздействовать, упорядочивать и редуцировать ее, я иногда сознательно позволял себе некоторое время побывать в том или ином «цветовом» мире (особенно энергетичен в силовом отношении «черный» мир), довольно легко, усилием воли, выводя себя из этих миров «макё» (так дзэн-буддисты называют галлюцинации, часто возникающие во время дзадзен) и придавая своему визуальному вниманию обычный рассеянный характер. Потом мне эти «цветовые» миры перестали быть интересны. Передо мной раскрылись совершенно иные, более «высокие» ментальные пространства (в сущности, те же макё), о которых здесь говорить неуместно, так как они не имеют отношения к контексту акции «Обсуждение».

Надо сказать, что задолго до того, как со мной приключилось это цветное истязание, я прочитал, по-моему, у Григория Синаита, о том,

что человеку, занимающемуся аскетическими упражнениями и медитацией следует держать свой ум «бесцветным». Тогда я совершенно не понял, что это означает. Смысл этой загадочной фразы раскрылся мне только после того, когда я, на собственной шкуре, испытал «цветовую» брань. Впрочем, я думаю, что вряд ли возможно избежать «цветовой» брани, если уж волей-неволей оказался в алхимической словесно-световой трубе метанойи. Для православных «созерцателей» и аскетов, которые в своем порыве богоуподобления обречены на то, чтобы в них вселился «ум Христос», этот этап просто неизбежен из-за той программы мыслеформ, которая и открывает вход в этот «ум»: обязательность этой разновидности брани на определенном этапе «умного делания» определяется иконографией Христа. Тело (или голова) «Спаса в силах» обычно изображаются окруженные ореолом, состоящим из нескольких концентрических разноцветных кругов — красных, зеленых, синих и т.д. Из-под каждого цветового кольца выглядывают фигурки бесов — это и есть знак цветовой брани. Да и в других традициях то же самое. Например, в буддийской иконографии танцующей дакини, представляющей собой более подробное изображение различного вида браней, также можно найти множество бесовских масок разных цветов — и на рукояти жезла, и среди голов, из которых составлено ожерелье дакини.

Вот, собственно, «ментальная» предыстория одного из элементов акции «Обсуждение», а именно слайд-фильма «Закрытый город».

Однако, ментальное пространство акции «Обсуждение» как часть, слой ее демонстрационного поля, имеет лишь опосредованное отношение к этой побочной, дополнительной линии «предмет-рамного» слайд-фильма. Слайд-фильм «Закрытый город» — связка с идеологическим, социальным пространством согласованной реальности, и в этом смысле «закрытый город» является довольно прозрачной метафорой того идеологического мира, в котором мы живем. (Кстати, еще раз вернусь к «бабушкиным историям», о которых рассказала Вика в «Обсуждении»: где-то дня через два после акции я узнал из какой-то телевизионной передачи, что в октябре этого года исполняется 114 лет первому красному «закрытому городу» — Парижской коммуне. Волшебный счетчик И ЦЗИ-НА и на этот раз не оставил своим вниманием «КД» — отобрал именно 114 слайдов для слайд-фильма «Закрытый город»!)

Дело все в том, что эстетическая (а не ментальная) реальность акции «Обсуждение» обсуждала довольно актуальную проблему человеческой свободы в условиях «недеяния», а точнее — «деяния без борьбы» (ведь

в самом глубинном смысле тавтология, собственно, и есть своеобразная форма недеяния, когда деяние невозможно — по социальным ли причинам, духовным, физическим — неважно). Где же обнаруживается та зона свободы, зона неизвестного для ума и действия, когда сферы перцепций и проявлений закрыты, как бы детерминированы и «придавлены сверху» саморазвивающимися и неподконтрольными личности программами — с одной стороны, общественно-политической программой (идеологическая «закрытость», выраженная в акции слайд-фильмом «Закрытый город» — визуальная сфера перцепций), с другой стороны — программой коллективного-сознательного («ментальная» закрытость иконографического пространства предметного ряда акции «Категории КД» — онтологическая и гносеологическая сфера перцепций и манипуляций).

Что касается того, как она обнаруживается, то, возможно, в случае «Обсуждения» (Кабаков обнаружил зону «Обсуждения» как свободную) это было сделано путем своеобразного «выдавливания» на свободную поверхность сознания способом повтора высказываний выступающих через динамики, а также наличием нескольких, одновременно работающих точек несильных суггестий (слайд-фильм, разговор, стробоскоп и т.п.), которые друг друга «гасили», создавая впечатление свободного пространства. Но это — лишь предположение. Есть и другие.

Выше я уже намекнул на то, что ментальный мир — зона несвободы. В сущности разные уровни ментальности есть не что иное как саморазвертывающиеся по архетипичным схемам иконографические пространства, где никакой свободы творческих проявлений, никакой неизвестности нет — это полный аналог нашему «закрытому» общественно-политическому и идеологическому пространству, в котором допускаются проявления человеческой свободы по известным направлениям и до известных пределов. В каком-то смысле можно сказать, что ментальность — это «плановое» безумие, нечто похожее на плановое хозяйство нашей социальной реальности, где наряду с построением «нового» общества предполагается и воспитание «нового» человека. Правда, ментальный мир оставляет для нас некоторую свободу умопостижения, свободу ментально-эстетического понимания и идентифицирования происшедшего пост-фактум, чем я здесь, собственно, и занимаюсь. Причем, эта свобода обязательно должна реализовываться в интенции отрицания ментальности, по чаньскому рецепту: «Если встретишь Будду — убей его». Ясно, что Будду встретить невозможно. В этой отрицательной интенции свободного умопостижения

и заложены перспективы ментального мира, на самом горизонте которых маячит обычная реальность. Но надо сказать, что только самая «высокая» ментальная область текущего момента, мотивированная интимными обстоятельствами частной жизни, конкретными поворотами сюжета судьбы соприкасается с реальностью и обнаруживает искомую зону свободы действия (а не умопостижения) в одном-единственном месте: в незаметно-обыденном.

Перейду теперь к рассмотрению демонстрационного поля акции «Обсуждение». Когда я сделал девять предметов «Категории КД», я не понимал, что, собственно, они из себя представляют. Момент понимания всей картины в целом возник у меня только в процессе акции, причем «между актами» — после прослушивания фонограммы «ЦЗИ-ЦЗИ» и перед, собственно, «обсуждением». Произошло это следующим образом. По схеме расположения предметов в комнате видно, что перейти из одной половины комнаты в другую практически невозможно. А перейти мне нужно было, причем по каким-то чисто техническим соображениям (что-то взять в другой комнате). Мой взгляд упал на доску «Хождение». Да вот же, подумал я, эта штука здесь для того и лежит, чтобы по ней переходили, на ней же написано «хождение», мол, иди спокойно. Я встал на эту доску, сделал два шага и пересек комнату. Когда я находился на доске, я ощутил на мгновение как бы силовой вихрь, внутренний ветер. И тут же все понял. Акт перехода по доске был актом переживания освобождения от ментализированной эстетической программы, которая мне тут же и открылась во всей своей эстетической, ментальной, и, главное, экзистенциальной целостности. Кстати, экзистенциальную тайну всего этого дела мне открыла реплика и действие советника по культуре посольства ФРГ, который, увидев, как я перешел по доске, воскликнул: «Вот же как можно здесь переходить!» и последовал моему примеру. Ведь глубинная, экзистенциальная мотивация выстроенного мной пространства «закрытого города» носит сугубо личный, интимный характер, хотя он и связан с общей проблемой свободы перемещений граждан, которая в нашей стране достаточно актуальна и от которой очень часто зависят судьбы людей.

Одним словом, вроде бы акт перехода состоялся. Правда, он ни для кого не имел никакого эстетического значения, кроме как для меня. Для меня акт перехода через доску «Хождение» и был главным эстетическим содержанием акции «Обсуждение», той самой свободной, неожиданной и незаметной пространственно-временной манипуляцией «в зоне какого-то еще неясного ряда новой художественности», о которой я пи-

сал в связи с «незаметностью» в части «Мягкая ручка» эссе «ЦЗИ-ЦЗИ». Акт этого перехода имел чисто обыденное значение — человек пошел, там, например, в сортир, или на кухню и т.д., но и ментальное значение. Ведь в ментальном мире все мы, зрители и участники, являемся персонажами, персонифицированными «умными» силами, действующими в определенном иконографическом пространстве. Иконографическое пространство акции «Обсуждение» и оказалось той «высокой» ментальной сферой, которая мерцает на грани обыденного, и в которой действуют не один, два, три или ноль персонажей (как это было в предшествующих акциях), а целых девять, то есть множество.

Это иконографическое пространство было пространством перцептивных отношений и обыденных действий. Оно возникло как бы в точке пересечения двух противоположных спекулятивных усилий сознания, стремящегося так или иначе определить систему отношений между словом и вещью, а именно, усилия десакрализации понятий и усилия сакрализации событий (обыденности). Каждый из девяти предметов, разложенных на белой тряпке, заключал в себе два этих прямо противоположных значения. Например, зажатое двумя досками пальто (рэди-мэйд) и тип его маркировки: на верхней доске надписи: «Категории КД», «Хождение» и «Пальто мужское черное демисезонное (1 шт.)». Здесь диффузия «ментального» и реального очевидна, как и во всех других предметах, если внимательно их рассмотреть.

Кроме того, присмотревшись к схеме расположения предметов, мы увидим, что категоризованы и «опредмечены» были практически все составляющие эстетического акта, включая и метаидеологию как направляющую духовной реализации — дао в состоянии покоя («69») и развития («Хождение»), причем опредмечены в виде каких-то посылок, «посыльных» предметов, то есть, в сущности, уже не нужных, с которыми авторы готовы расстаться.

Здесь представлено и то, где происходит действие («Демонстрационное поле»), и то, как оно происходит («Гантельная схема» как аналог буберовскому принципу становления произведения искусства в пространстве между зрителем и автором), и то, в чем оно происходит («Предмет-рама» — меняющийся эстетическо-стилистический климат: минимализм, «черный» концептуализм, нью-вейв, экспрессионизм, нью-бидермайер и т.д.). Наконец, учтены и моменты «неизвестного» эффекта («Незаметность») и возможность эстетических неудач («Транспорт. Эстетическая накладка» — имеется в виду двусмысленность последнего слова). «Документационность»



и «фактографичность» представлены «Фотоальбомом». Даже обыденный интерьер (пианино, стол и т.д., не говоря уже о технических средствах — динамик в ряду зрителей — см. схему), в «раму» которого как бы помещены составляющие эстетического акта, и который выступает в

этой относительности нагарджуновским «Вторичным — без — первичного», через бидермайеровскую «Перевернутую вазу» и отражающие свет стекла двух «предмет-рам» акций «Юпитер» и «Бочка», включен в общую картину опосредованности и «отсылочности». Так что в самом общем смысле построенное пространство было открыто более серьезной перемене (о чем скажу в конце), неизвестности, чем та, о которой пойдет речь ниже.

Но вернемся в скромные рамки текущего момента «разгерметизации» нашего пространства, на реальный горизонт, и обратим внимание, что новый метадемонстрационный слой «предмет-рамы» акции «Обсуждение», его мерцающее пространство (с одной стороны оно все еще иконографическое — иконы отношений и действий, с другой — уже готовое стать обыденно-бытовым и ставшее им в акте перехода через один из его предметов, а именно через предмет «Хождение»), построенный из предметов «Категории КД», представляет собой своего рода «крышу», под которой располагаются иконографические пространства последних акций «КД» (включая «Русский мир»), а над этой крышей находится то самое искомое нами пространство новой художественности, выход в которое осуществляется через отношение «незаметность», о чем я писал в «ЦЗИ-ЦЗИ». Кроме того, эта художественность новых пространственно-временных манипуляций вводит нас в атмосферу загородных акций КД, что отметил Кабаков в своем выступлении. Получилось так, что мы, довольно неожиданным для себя образом организовали в небольшой комнате энергетическое пространство огромного снежного поля.

Дело, я думаю, здесь не только в том, что белую тряпку и разложенные на ней предметы можно было рассматривать как модель зимней загородной полевой акции, хотя аналогия напрашивается сама собой. Эта энергетика опять же возникла на мерцании трех уровней значений: эстетического (модель загородного поля, белая тряпка и знакомые всем как бы «опредмеченные» демонстрационные отношения КД типа «незаметность», «хождения», «стояния» и т.д.); затем — обыденного (или экзистен-

циального — чисто «техническая» мотивация моего перехода через доску «Хождение»), и ментального. В ментальном смысле предметы «Категории КД» были расположены на белой тряпке не как на модели загородного зимнего поля, а как на описанном в «ЦЗИ-ЦЗИ» омофоре, который покрывал предметы «Русского мира». Омофор — суперсакральная категория (подобная лону Авраамову или буддийскому лотосу с отсутствующей на нем фигурой Будды). «Выше» этого суперсакрального уровня в ментальном смысле как бы уже ничего нет, кроме ... зимних шапок, демисезонного пальто, матрасного чехла, гантелей, машин, людей и их бытового поведения во времени и пространстве (сходить в сортир, зайти на кухню что-нибудь съесть, подойти к кому-нибудь поговорить и т.д. — как это и было «между актами» «Обсуждения» — все переходили туда-сюда по доске «Хождение»). То есть «выше» — только сфера функциональной обыденности, не поддающаяся адекватной фиксации ни эстетическими, ни умственными средствами, в виду того, что эти средства, являясь частью этой сферы, при попытках таких фиксаций не могут сделать ее полноценной, абсолютной, так как вынуждены выносить за пределы выстраиваемой ими картины самих себя в дурную бесконечность. Вот эту-то динамическую иконографию (акт хождения по «Хождению») обыденных отношений и действий мы поместили на белую тряпку — «омофор».

Несколько слов нужно сказать и об инженере Лихте (знакомому нам уже по акции «Перевод»), который незаметным образом участвовал в создании энергетики демонстрационного поля «Обсуждения», оперируя четырьмя световыми знаками с довольно сложным значением, но с очевидным перевесом суммы этих значений в сферу обыденного, интимного, а не сакрально-ментального. Свет «ментальности» (четыре попарно горящих фонаря из черной коробки «Перевода») был приглушен белой тряпкой, которая покрывала и черную коробку, и фонари. А вот два отражения желтого абажура в стеклах партитуры «Юпитера» (над пианино) и экрана-рамы «Бочки» в синем паспарту (над диваном), и, главное, девятый, ничем не маркированный предмет — перевернутая бидермайеровская ваза в виде абажурчика, стоящая на столе и освещенная изнутри тоже желтым светом — вот эти три световых источника-знака и создавали преобладание обыденной энергетики над сакральной, сдерживая ее силовую ментальность, сохраняя ее в состоянии постоянной вибрации, в ускользающем мерцании: то ли ряд абсурдных, ничего не значащих предметов, то ли, действительно, «иконы» действий и отношений в целостном «иконостасе» демонстрационного поля акции «Обсуждение».

Таким образом, полной закрытостью (для зрителей, и самих авторов) всех вышеперечисленных цепей, рядов, планов и элементов в акции «Обсуждение» была поставлена проблема свободы, но не как понятия (в ряду «Категорий КД»), а как чувства освобождения, переживаемого в акте действия. Процесс умопостижения, расшифровки тех закрытых рядов, который был здесь мной проделан — тоже действие. Однако, герменевтическая секвенция, изложенная выше, дошла до такой степени сложности и аутичности, когда необходимые усилия эстетического понимания и выражения перешли за грань психического и стилистического комфорта. А ведь, в конце концов, свобода как чувство и есть желание избежать дискомфорта.

В условиях представленной здесь закрытости я вижу способ обнаружения, становления неизвестного (и событийного, и методологического) только в возврате к эстетике реального действия (как это было в акциях 1-го тома «Поездок за город»), а не в дискурсе, не в умопостижении последних акций «КД», включая и эту акцию.

В конечном счете мне кажется, что в дальнейшей работе нам предстоит решать проблему достижения психического согласия с естественным ходом вещей, восстановить нормальную последовательность опыта и рефлексии, сознательно нарушенную нами в серии акций «Перспективы речевого пространства», в результате чего мы оказались на грани распада коллективного согласия — самой ценной «категории» в эстетике «Коллективных действий».

И, однако, есть два соображения, которые заставляют рассматривать все вышеизложенное и в оптимистическом свете. Во-первых, это тот факт, что, начиная с «Голосов» и кончая «Обсуждением», наши зрители все время оказывались перед проблемой, что, собственно, им показывают, искусство или психопатологию? И мнения по этому вопросу всегда разделялись, что свидетельствует о некоторой живости или, хотя бы, проблемности наших «домашних» акций. Во-вторых, обнадеживающим фактом представляется то, что эстетизация, введение в структуру акции в качестве центрального элемента (т.е. предмета изображения) самого свободного обсуждения, не лишает его качества свободы, дистанцированности от происходящего в идеологическом пространстве «КД», как это обычно случается с «речевыми пространствами обсуждений» на идеологических просторах нашего «закрытого (двоемыслием) города».

Октябрь 1985г.

В БЕСЕДКЕ БЕЗ СОБЕСЕДНИКА

о слайд-фильме «Бочка»

Эту бочку, чей грохот так раздражал зрителей в начале слайд-фильма, я выловил в Яузе, в районе «Лосинового острова», когда записывал фонограмму для акции «Юпитер». Я провел там замечательных три часа в полном одиночестве, с 7 вечера до 10, в самом начале весны. В лесу, на горке кое-где еще лежал снег. Спокойно и бесшумно текущая Яуза, сгущающиеся сумерки, безлюдье, даже гроыхающие по железному мосту поезда действовали на меня удивительно успокаивающе,



отдаляли от тяжелых жизненных проблем, от самого себя. Я залезал на мост, облазил с любопытством всю его сложную многопутейную конструкцию, сидел на разных лесенках, уступах, ходил по дощатым мосткам над рекой, подвешенным к днищу железнодорожного моста, плевал в воду, смотрел на уток. Потом, где-то по прошествии двух часов, уже совсем в сумерках, увидел металлическую бочку, плывущую по реке. У меня мелькнула мысль, что она могла бы мне пригодиться. Но я как раз стоял тогда на мосту и не мог, не успел бы слезть и выловить ее. Впрочем, я особенно не расстроился, — уплыла и уплыла, неважно. Прошло полчаса, еще стемнело. Я решил пройти вдоль берега. И тут обнаружил эту бочку, прибитую к дереву, растущему у самой воды. Я ее вытащил, она была не очень тяжелая. Я стал пинать ее ногами — она издавала приятный звук и катилась. Тогда я стал с ней играть: вкатывал ее ногами в гору, по снежному насту и остаткам льда в глубину леса. Потом спускал вниз с горы и бежал за ней, записывая на магнитофон ее стуки и дребезжание. Так я проделал раза два-три на разных тропинках. Потом опять закатил ее под мост. Поставил стоймя, засунул внутрь магнитофон и записал звук проезжающего над моей головой поезда через резонирующую бочку. Однако время фонограммы подходило к концу, пора было возвращаться, и я покатил бочку к городу по асфальтовому шоссе, пиная ее ногами. Минут двадцать я грохотал этой бочкой по пустой дороге под моросящим дождем. Мне доставляло удовольствие по-разному пинать, швырять и катить эту бочку. Но дело, собственно, не в этом.

Бочка плыла по реке, держалась на воде, потому что была пустой, была наполнена этим «люфтом», об отсутствии которого в фильме «Бочка» с таким сожалением говорил Кабаков на обсуждении. Повторяю, что лично для меня в той сфере непосредственного, где я делал фонограмму, эта грохочущая пустота люфта, шум и скрежет катящейся бочки были чрезвычайно интересными и увлекательными. Так что понятие люфта крайне относительно, он зависит от конвенции, в которой происходит событие, а такое событие как «катящаяся бочка» особенно двусмысленно — где те границы притчи, границы дискурса, которые постоянно раздвигает «катящаяся бочка»?

Понятно, что в конвенции слайд-фильма грохот бочки был просто невыносимым шумом, от которого надо было освободиться. Кроме этого грохота в фильме был еще один шум, шум смысла, бесконечно повторяющегося и вибрирующего на грани девальвации, но никак ее не переходящий, что точно подметил Пригов. Этот шум смысла тоже был

разновидностью «качения бочки», продолжением притчи. Причем он шумел еще и параллельно визуальной «бочке», точнее — ее содержимому в варианте люфтированной пустоты личного мифа, в каком она и была преподана в ряду тех мучительных 110 черно-белых слайдов, смена которых, увы, зависела не от эстетического расчета на восприятие, а от чисто физической длины смысла повторяющейся фразы о «звуковом сопровождении остаточных явлений пустого действия», который мог носить «комический, трагический, эпический, героический, истерический, физиологический, семантический и т.д.» характер или взгляд на все это дело. У В. Некрасова возник комический взгляд, у кого-то — «семантический», у большинства — физиологический.

Конечно, мета-предметом изображения «Бочки» и было выявление этого взгляда в форме обсуждения с возможным «освобождением» через эту форму от всех «бочек», которые мы в течение полутора часов «катали» на наших слушателей и зрителей.

Собственно, все зрители — и протестующие (Вика, Пригов, Кабаков), и соглашающиеся (Некрасов, Бакштейн, Нахова, Дроздецкая) — были одинаково героями восприятия — восприятия как денотатного акта или даже как жанра. Естественно, что если имеется жанр, то все герои ведут себя по-разному — одни более «героичны», другие — менее, но все, так или иначе, участвуют в развитии сюжета, в данном случае сюжета восприятия. Причем очень интересна оказалась степень задействованности в этот жанр восприятия: согласившиеся были на самом деле менее задействованы (ибо высказывали по преимуществу оценки — «мне понравилось» и т.д.), протестующие же оказались более вовлеченными, героизированными. Их высказывания типа «Мне плохо», «Это недопустимо!», «Я заснул», «Не нашел выхода» — звучали как реплики то ли из комедии «Ревизор», то ли из стенограммы ее обсуждения современниками. То есть, именно протестующие оказались целиком внутри ситуации, внутри этого сюжета, жанра восприятия.

Мне кажется сказанное довольно важным относительно мета-предмета изображения «Бочки», то есть самого «люфта», не обнаруженного Кабаковым. Не знаю, почему люфт этого «необнаружения» (т.е. исторический, объективно-апофатический люфт «Бочки», с которым будет иметь дело посторонний читатель, зритель, исследователь, не присутствующий на акции показа) должен был обнаружиться именно через Кабакова, Пригова, Вику и еще нескольких молчаливо «протестующих», почему именно на их долю выпало участие в становлении этого жанра

восприятия (для них — металюфта). Что касается Пригова и Кабакова, то, вероятно, тут причина не только психологическая, но и методологическая. Возможно, эту их «служебность», вовлеченность породил кризис методологии личного мифа, который мы все переживаем, отдавая себе в этом отчет или нет — не знаю. Но думаю, что Пригов в качестве поэта Пирогова, о котором «слышал» Некрасов, выращает скорее плоды «чистого сердца», которые, впрочем, часто бывают вкуснее отрефлексированных консервов.

Мне думается, что их личные, очень тяжелые на сегодняшний день творческо-производственные пространства, которые они разрабатывают, настолько, видимо, тягостны для них самих как людей культуры, что подобные или еще более «тяжелые» пространства они просто не могут воспринимать дистанцированно (в каком-то смысле — дисциплинированно), интеллектуально, а только эмоционально — с разной степенью культуры эмоций, откровенности и артистизма игры. Этот аутизм восприятия (соответствующий еще более широкому аутизму самой «Бочки») и гиперболизация эмоциональной чувствительности, перекрывшие интеллектуальные каналы (а именно они были «выходами», «трубами» для зрителя «Бочки», в сущности, представляющей собой демонстрацию несколько раз трансформирующихся фактографических языков описания: от психопатологии доктринно-«духовного» символизма — через экзистенциальную алхимию личного мифа — к прагматической, рекламной денотации коллективного сознательного), эта гиперболизация, повторяю, с одной стороны, мешает свободному восприятию и преодолению эстетического пространства даже такой средней интеллектуальной сложности, которое кодирует обсуждаемую «Бочку», с другой стороны, однако, открывает выход в коллективное, бессознательно выстраиваемое метапространство вышеописанного жанра восприятия. Так что, с одной стороны, как бы и не очень хорошая ситуация, ментально расслабленная, с другой — хорошо, так как любая жертва не напрасна, если она осуществляется в рамках культуры — этической или эстетической, все равно.

Что касается плана содержания «Бочки», совершенно обойденного в обсуждении, то он довольно прост: серия черно-белых слайдов (экзистенциальная алхимия личного мифа) приводит зрителя к образу «беседки», в которой «не с кем беседовать» — на слайдах в беседке всегда изображен один человек. То есть, личный миф там представлен в кризисном состоянии, так сказать, скорее в трагедийном, чем в комедий-

ном освещении. Но так бывает, это вполне реалистично, реакция протестующих на дискуссии только подтвердила эту реалистичность: они высказывались именно в таком духе, как может высказываться человек, сидящий ночью один в беседке, но не в той беседке, где можно спокойно и прекрасно созерцать, например, луну или другие ночные красоты, а именно в «беседке», в которой «беседуют», но в которой не оказывается собеседника. Но ведь и, действительно, проблема «собеседника», поставленная в «Бочке», сейчас актуальна. Последние вещи Кабакова, Пригова, да и самой группы «КД» в каком-то смысле лишены «духа собеседования», они аутичны, «посылательны» и т.д., т.п. Я не говорю, что «дух собеседования» в произведениях искусства лучше «духа посылания на хуй», просто отмечаю это как исторический факт. Правда, они сами оценили эту «беседку без собеседника» как вещь крайне тягостную, тоталитарно-агрессивную. Может быть, действительно, длительность, затяженность переживания ситуации «беседки без собеседника» опасна и приводит, как сказал Пригов на обсуждении, к стрессу. Именно указанием на эту возможность кончается ряд черно-белых слайдов: последний слайд представляет собой «героя» этой «беседки без собеседника», опирающегося на столб с прибитым к нему указателем «Туберкулезный институт». Да, есть и такая перспектива выхода из сложившейся ситуации. Но есть и другая. Например, она может заключаться в шоковой терапии экстраверсии в ее самой грубой рекламной форме «неинтересных вещей». В слайд-фильме на эту возможность указывалось сначала цветным компромиссным «рекламным» слайдом магнитофона на тряпке из «Русского мира» (параллельно, кстати, указанию на «туберкулезную», интроверсивную перспективу пустой аллеи, уходящей во тьму — третий от конца черно-белый слайд), а затем и тремя щитами-объявлениями о правилах приема в Финансовый институт (они демонстрировались под заключительный скрежет коллективной «бочки» — громохание касс в большом «Универсаме»).

Но это, так сказать, содержание крайностей интроверсии и экстраверсии, экспрессионизм эпохи (кстати, столь эмоционально трудновыносимый план выражения всего слайд-фильма диктовался исключительно бесстрастной и связной репрезентацией этих двух денотатных миров). Надо сказать, что мало кто заметил, что фонограмма «магазина» кончалась «музыкой сфер», о нехватке которой говорил И. Бакштейн, точнее — рекламой этой музыки (как того и требовала прегнантность художественно-фактографической ткани слайд-шоу): грохотание касс переходило в звуча-

ние электронного аккорда «высокой гармонии». Из понятных эстетических соображений мы не могли более нескольких секунд держать этот аккорд, так же как и самый главный и единственно «нормальный» (нерекламный) люфт всего этого дела: никто не заметил веточку весеннего, только что распустившегося тополя на фоне «среднего» щита финансового института, проецируемого на моргающий (самый маленький) и паспартированный застекленный экран. Кроме того, этот щит с веточкой был в обрамлении (помимо стекла и паспарту экрана) — также едва заметном — окружающих этот щит деревьев, в едва видной рамке зелени (на больших щитах — слева и справа — эта зелень была замазана, и щиты демонстрировались без фона; ветка также отсутствовала).

Но все эти аффирмации, приятности, люфты в настоящее время «беседки без собеседника» (такова уж тавтологическая эпоха ЦЗИ-ЦЗИ!) были даны нами незаметно, так же, как незаметно наматывалась белая нитка на «Мягкую ручку», вращающуюся под стробоскопическим экраном и имеющую тогда значение своеобразной «подписи», смысл которой в том, что люфт, аффирмация, «белое» — существует, но незаметно, пока незаметно, так как сейчас мы заняты переживанием «Пройденности» как основной, доминирующей эстетической интонации, переживаем «Пройденность» как своеобразный траур, которому культура всегда отдает свой долг.

Что касается пластической структуры слайд-фильма, то мы руководствовались при ее составлении исключительно соображениями фактографической прегнантности и логикой повествования о следующих событиях: записи фонограммы для акции «Юпитер», самой этой акции и визуальной реставрации мест этой записи. Переключения с одного языка повествования на другой всегда были плавными, опосредованными рамками культурных ассоциаций и осуществлялись по каналам известных принципов построения текста. Трансформации рабочего предмета изображения фильма происходили по следующей схеме разных видов и типов репрезентации ожидания. Сначала абсолютно бессмысленное внешнее ожидание в том месте, где заведомо ничего не дождешься (грохот проезжающих по мосту поездов, где они никогда не останавливаются). Во время такого бессмысленного ожидания никакого адекватного «изображения», «предмета» по замыслу выудить невозможно — это чистое протекание времени, абсолютно апрагматичное (в течение десяти минут этой репрезентации работал только моргающий диапроектор на пустой застекленный экран в темно-синем паспарту). Однако, в такой ситуации

может «выудиться» что-то само. Так, когда я записывал этот кусок (а ему предшествовала еще более чем двухчасовая аналогичная запись) вдруг из реки под мостом, где я стоял с магнитофоном, выскочила водяная крыса и побежала мимо меня. Я зачем-то стал причмокивать, видимо желая ее остановить и разглядеть, но она, конечно, только испугалась моего чмокания и быстро нырнула в реку. Это «самовыуживание», представленное в начале фильма, мне кажется каким-то образом связанным с возникновением той интересной дискуссии после фильма, которая дает нам возможность говорить об акте восприятия как жанре.

Итак, первые десять минут фонограммы — чисто фактографические по отношению к непосредственному, к жизни — как я там болтался с магнитофоном, делая запись для «Юпитера» (не думая, разумеется, о «Бочке»). Потом, когда я выловил бочку и покати́л ее по асфальту от моста прочь, мы под звук этого качения стали проецировать на экран щиты с «человечками» (в контексте «Юпитера» — своего рода «ангелы тартара»), то есть пошла фактография акции «Юпитер» — эти щиты использовались на той акции как составная часть ее «предмет-рамы». Однако, новый, акционный уровень фактографии расщеплялся на разные степени символизации: символизм звука катящейся бочки был более высокого порядка, чем символизм черных щитов с человечками (в контексте «Бочки» это уже не «ангелы тартара», а просто указание на «время», на возможность «заткнуть (или протереть) уши» и разные паралингвистические дразнилки: высунутый язык, подмаргивание и т.п.). Возможность более «символического» осознания звука катящейся бочки позволила нам перейти, затем, к серии 110 черно-белых слайдов, изображающих те места, где записывалась фонограмма с поездами и бочкой, фонограмма, которая в акте показа предшествовала этому визуальному ряду. Сам ряд шел под другую фонограмму — интерпретационную. К возможности включения этой фонограммы мы подошли следующим образом. Когда мы с Гогой ходили снимать на слайды то место, где я записывал фонограмму для «Юпитера» (где-то через неделю после записи), мы надеялись найти бочку: я докатил ее тогда до определенного места и оставил там. Однако, бочки там не было. Мы сфотографировали мост, места вокруг него, искали бочку (не обязательно ту самую), не нашли. Потом прогуливались и Гога фотографировал все, что попадалось на глаза, пока не добрались до беседки. Сфотографировали с разных сторон беседку и с чувством, что «бочка» найдена, что достаточно, пошли назад, вернулись к тому месту, где я оставил бочку и где мы ее

искали в начале нашего путешествия. И вот вместо бочки в том же самом месте — на обратном пути, уже после съемок — мы нашли вдруг непонятно откуда взявшийся довольно большой металлический стержень вроде коленчатого вала, своего рода «анти-бочку» относительно ее пустоты, люфта. Стержень был тяжелый, так как сделан из цельного куска металла. Он представлял собой как бы содержимое потерянной бочки, символизировал и тяжесть грохочущей пустоты бесконечно катящейся бочки, и тяжесть внутреннего ожидания, ностальгическую атмосферу экзистенциальной алхимии личного «пути», личного мифа, который мы с Гогой сфотографировали на 110 черно-белых слайдов.

Связь (сюжетная) этого стержня (как «плана содержания») с бочкой (как «плана выражения») была очевидной. У нас появилась возможность через показ этого стержня остановить и трансформировать в «смысл» аудиальный ряд «Бочки», что мы и сделали: когда появляется последний слайд со стержнем, где я наступаю на него ногой и не даю катиться (а он действительно катился по асфальту, когда мы с ним возились, так как дорога в том месте имела наклон), фонограмма «бочки» останавливается. Документальность же этих слайдов со стержнем (они были сделаны в конце нашего археологического путешествия по местам записи фонограммы к «Юпитеру») давала нам возможность пластической плавности перехода к показу черно-белой серии: структурно-символический характер слайдов со стержнем сменялся показом ряда визуальной реставрации тогдашнего моего акта записи фонограммы с метафорическим характером своеобразной диаграммы «алхимии личного мифа» этого визуального ряда, символические абберрации которого были столь широки, что открывали возможность дать на аудиальном плане интерпретационную «бочку» — тот самый повторяющийся текст о «смысле этой фразы...», построенный в виде «змеи, которая кусает свой хвост». Таким образом у нас, в зависимости от семантической мотивации, силового преобладания того или иного плана в отношении к символичности и удаленности от фактографии, в отношении к содержанию и выражению появилась возможность менять семантическими местами аудиальный и визуальный ряды в смысле сопровождения одного другим. Самые сложные мерцания между фоном и изображением этих двух рядов и их взаимными переплетениями возникали в процессе демонстрации «черно-белого» ряда, когда речевое сопровождение, собственно, уже не было сопровождением, а вместе с визуальным рядом было фоном для «третьей» эстетической реальности «коллективного люфта», который

пробивался сквозь них разными способами, а потом целиком перекрыл, заслонил язык личного мифа, поданного в кризисной интонации «беседки без собеседника». В речевом ряду этот «коллективный» экстравертный люфт пробивался звуко-речевыми «бульканьями» на фоне словосочетания «пустое действие» (записывая 110 раз эту фразу, я, в момент произнесения словосочетания «пустое действие», включал телевизор и то, что выскакивало из его динамика в тот краткий миг, и наслаивалось на это место фразы). Эти звуковые «проколы» внешнего мира, из-за своей краткости, мгновенности воспринимались как чистая звуковая фактура, так же, как и на визуальном плане появлению «рекламного» слайда из «Русского мира», а затем и прагматической рекламной денотации финансового института предшествовала чисто цветовая фактура: сгущение интенсивности синего цвета (с разной выдержкой снятые слайды синего неба) на «пустых», фоновых слайдах стробоскопического экрана. Затем эта прорывающаяся экстравертная реальность коллективного сознательного (на фоне «алхимии личного мифа»), по мере её временного накопления перешла из состояния «фактуры» в структурно-семантический эпилог: неподвижная стена бело-синих щитов финансового института на визуальном плане и грохот кассовых автоматов на аудиальном — «бульканья» сквозь «пустое действие» как бы разрешились потом сплошным ревом, потоком денежной реки большого универсама в час пик. Да, собственно, они, эти звуко-речевые телевизионные «бульканья» и с самого начала были прорывами звучания этого потока: сквозь «пустое действие» любой языковой мир — от «музыки сфер» до скрежета магазинных касс воспринимается как «непосредственное» и на одном уровне «прекрасного внешнего» по отношению к «отвратительному внутреннему». Именно в этом смысле распределялся синий цвет «неба», возникающий на моргающем экране: налево (беседка была синего цвета, что можно видеть на цветном слайде с «Мягкой ручкой», назначение которого — указать на цвет беседки), и направо — синие щиты финансового института (распределение шло диахронически: сначала беседка, потом щиты).

Конечно, на этом фактографическом пути от абсолютно апрагматичного ожидания человека, болтающегося три часа под железнодорожным мостом с магнитофоном для того, чтобы сделать запись для акции к, казалось бы, прямо противоположному ожиданию человека, который стоит в кассу в продовольственном магазине, на этом пути (да ещё через алхимическое внутреннее ожидание «вокруг» и внутри беседки)

в том виде, как он представлен «Бочкой» «Коллективных действий» (старая уже группа, 9 лет работы, пора подумать о рекламной и финансовой стороне всего этого дела!) есть много «тонкостей небесных», связанных с деталями конкретных слайдовых рядов, конкретных их констелляций, переходов, «тайных знаков», отсылающих к даосской диаграмме «алхимии внутреннего делания», суфийским «стоянкам» и т.д. Но все это дано в интонации «пройденности», а потому не заслуживает особого внимания, разве что как архивная духовность для любителя герменевтики.

И в то же время самого серьёзного внимания заслуживает дискуссия по поводу «Бочки», где «act-out» восприятия становится жанром. Вполне возможно, что это очень перспективное становление, причём с той особенностью, когда план выражения совершенно подавляет план содержания («бездарно сделанная вещь»), то есть, произведение как бы лишается смысла, становится прозрачным и в то же время отражающим даже в какой-то сатирической интонации характерологические гиперболы героев восприятия (в данном сюжете, например, аутизм и нарциссизм — Пригов, уклонизм и тоталитаризм — Кабаков — в смысле «всё — мусор»), то есть то, что характеризует артистическое поведение самих героев восприятия, они, эти герои, видят как черты, присущие самому произведению, на самом деле — «нулевому» в смысле психологической автохарактерологии повествования.

В заключение хочу заметить, что обратная «циферблатная» сторона «Мягкой ручки», вращение которой сопровождало показ слайд-фильма «Бочка», представляет собой вырезанную из журнала рекламу часов фирмы «Tiffany & Co».

2 июня 1985 г.

С КОЛЕСОМ В ГОЛОВЕ

замечание о социологии, искусстве и эстетике.

Этот текст был зачитан А.М. сразу же после воспроизведения
«Диалога» акции «Голоса».

В середине 70-х годов концептуальная эстетика породила у некоторых представителей советского авангарда, в частности у членов группы «Коллективные действия», свойственный этой эстетике отстраненный взгляд на артистическое поведение художника. Артистизм стал рассматриваться не как цель, а как средство эстетической практики.

До того времени феномен советского авангардиста (точнее «левых» как нас тогда называли) был явлением протестующим, общественно-политическим по преимуществу. Такие понятия, как «конвенциональное пространство», демонстрационные отношения между автором и зрителем, изображение и фон, и вообще проблемы современной эстетики, а не искусства, советским «левым» (в основном абстракционистам и сюрреалистам) были либо просто неизвестны, либо неосознанно про-



являлись в их артистическом поведении, которое чаще всего носило атакующий, отрицающий характер какого-то грандиозного важного дела, сопровождающегося у художников чувством вовлеченности в серьезные общественные процессы.

По экзистенциальному интересу, а в массе — из соображений протеста, противостояния официальному искусству, в советском авангарде того времени происходило заимствование у запада форм художественного выражения. Эта заимствованная форма — чтобы там ни было нарисовано или написано — всегда наполнялась одним и тем же доминирующим содержанием социального протеста, а главное — воспринималась с таким именно содержанием зрителями. Чаще всего через то же западное искусство происходило и заимствование у своих же 20-х годов (по причине невозможности эстетически пережить действительно актуальные и современные тогда языки описания и смыслы). Когда обнаружилось, что у нас, оказывается, в свое время было то же самое и даже чуть ли не источник того, что теперь происходит в западном искусстве, художнику приходилось задумываться над историей, вступать в сложные и противоречивые отношения с советской идеологией. Неизбежно возникал исторический взгляд на культуру, в процессе формирования которого порождалось множество недоразумений, передержек, идеализаций, застреваний и застываний в этих идеалах и тому подобное. И все же на первый план все больше и больше вылезали исторические и социальные проблемы. Их решение, естественно, могло быть найдено не на холсте или в стихотворении, а в социальной конвенции. В то время дело усугубилось еще и тем, что и советское официальное общество вступило на путь откровенного заимствования у запада новейшей технологии, новейших достижений науки и техники, понимая, что только своими силами в современных условиях оно вряд ли выживет. Именно в этот период организовывались выставки в Сокольниках, выставки современной американской живописи и т.д.

И вот весь этот период заимствования, историчность и ценность советского авангарда конца 50-х — 60-х годов, на мой взгляд, была не эстетической, а общественно-политической и в меньшей степени артистической (последняя представлена узким кругом «лианозовцев», так называемыми московскими кабинетными «шизоидами» и чуть позже «школой сретенского бульвара» — причем все они симптоматично не вступали в напряженные политические отношения с властью; известный «подвиг Оскара» был совершен значительно позже — в 1974 году).

В более широких и активных в социальном отношении кругах советской творческой интеллигенции и просто интеллигенции, которые потом стали называться «диссидентскими», в тот период разговор об эстетических проблемах просто не мог состояться. Этой активной массе прежде всего нужно было отвоевать у властей жизненное пространство для культуртрегерской деятельности. Смысл этой деятельности «левые» видели в продолжении традиции русской культуры начала века и двадцатых годов, то есть того периода русской культуры, когда она составляла единое целое с мировой культурой. Тогда никому и в голову не приходило, что реальное взаимодействие культур возможно не на уровне застывшей национальной традиции и ностальгии, а на уровне самых современных эстетических (а не артистических и социальных) проблем, к которому и надо было подключаться.

Однако, как мы увидим, хоть и неосознанный, но процесс этого взаимодействия разворачивался и двигался в правильном направлении: культурный порыв породил стратегию коллективного сознательного со скрытой тогда целью. То есть, хоть и ориентированная на эстетику и взаимодействие культур, эта стратегия не порождала тогда никаких реальных современных эстетических интонаций, проявляясь лишь в социальном и артистическом ценностном облике тактических ходов.

И вот, на мой взгляд, именно тот стратегический порыв, та политика наведения мостов в 60-х годах между советским и мировым авангардом, та неосознанная попытка подключиться к эстетическому началу, на котором происходит связь и взаимодействие культур, породила в конце концов авангард второй половины 70-х и 80-х годов, когда, как я уже говорил, советский авангардист осознал, наконец, свою принадлежность к общему эстетическому процессу, к общей культуре, и когда социальная мотивация конкретного политического региона и в артистических проявлениях ушла на второй план. К этому времени он уже перестал называть себя «левым», перестала его так называть и публика. Он стал называться авангардистом и концептуалистом.

Конечно, фундаментальное заявление о том, что взаимодействие культур происходит на эстетическом, а не на артистическом уровне, может быть воспринято как чересчур произвольное допущение и как очередная атака в стиле 60-х годов. Впрочем, мне и хотелось бы, чтобы все здесь сказанное носило скорее частный и даже как можно более необъективный характер. И все же мне кажется, что общий язык (но никак не «общее дело», разумеется), точнее — согласованные языки описания,

рассчитанные на длительное и стабильное употребление (как это было с романтизмом, классицизмом, импрессионизмом и т.п.) обеспечивают по преимуществу эстетической наукой, эстетическим осмыслением, а не поведением художника. Эстетика как наука о поведении художника и зрителя, а концептуальная эстетика учитывает еще и поведение критика, обнаруживает и исследует процессы, возникающие при их взаимодействиях. Под искусством обычно понимается поведение художника в эстетических рамках и его взаимогенерирующие пластическую и интенционную новизну манипуляции с этими, постоянно меняющимися рамками, то есть искусство в каком-то смысле частно-формальное проявление эстетики. Теперь в некоторых аспектах даже социология может рассматриваться как частная дисциплина современной эстетики (например, творчество Бойса на западе и соц-арт у нас), особенно концептуальной, так как социология имеет дело с поведением индивидуума в реальности, в то время как более фундаментальную проблему восприятия реальности, ее конструирования, гештальт перцептивного поля и его конвенциональную природу рассматривает не социология, а философствующая, спекулятивная эстетика (например, отправными точками рассуждений Фуко и Барта всегда является тот или иной мимезис).

Исходя из этих соображений я и говорил о том, что стратегическая задача воссоединения культур могла быть решена не на социальном и артистическом уровнях (хоть и с их помощью в тактическом смысле или точнее — через них), а на эстетическом уровне. Именно на этом уровне культуры начинают понимать друг друга, разговаривая не о прошлом, а о текущих делах, когда кончается взаимное исследование и обследование на пригодность и начинается взаимное существование.

Разумеется, от художника не требуется (за исключением художника-концептуалиста, степень профессионализма которого зависит от широты его культурно-спекулятивных махинаций), чтобы он осознавал свое поведение в эстетических категориях и интонациях и тем более поведение зрителей и критики — его реализация, как всегда, осуществляется в границах «любви и славы» — и не более того. И однако представляется, что теперь кардинально новые художественные пространства, в которых в дальнейшем возможны пластические манипуляции художника, возникают все-таки именно на границах осознанного усилиями эстетики — и чем шире эти границы, обеспечиваемые эстетической, а не артистической практикой, тем эти новые художественные пространства кажутся перспективнее, при всей их — на первый взгляд — художественной реду-

цированности и чуть ли не сведенности в этом отношении до нуля.

Возвращаясь к широкой художественной жизни начала 60-х годов в Москве, мы видим там совершенно иную картину со всех точек зрения. Эта широкая художественная жизнь вращалась тогда не вокруг отдельных произведений, в массе это были псевдоностальгические осмотические цветы давно знакомых интонаций начала века — а вокруг подпольных журналов и неофициальных молодежных объединений.

Кто хорошо знает историю и особенно происхождение советского диссидентства начала 60-х, тот не может не помнить, что оно основывалось именно на культурных притязаниях. Основывалось и длилось на них — политические притязания гасились властями мгновенно (вспомним Осипова, Огурцова, процесс историков и т.п.), мгновенно и жестоко, если они не камуфлировались под культурные — с последними обращались мягче, во всяком случае дольше возились. Более длительная история внутрисоветского диссидентства Солженицына, Гинзбурга, Амальрика, Буковского и др. обеспечивалась их культурным прикрытием.*

Да и откровенно политические амбиции, впоследствии подменившие их культурную деятельность, возникли в результате обстоятельств, по нужде и неизбежной втянутости в политическую физиологию региона, по втянутости в еще более важную и дальнoplановую стратегию коллективного сознательного, нежели та, о которой здесь идет речь. Во всяком случае эта втянутость осознавалась как безнадежная в социальном отношении в тот период нового, чисто политического этапа диссидентства. Возможные плоды стратегии этого этапа столь далеки, что о них ничего нельзя сказать.

Что касается начального, культурного периода диссидентства, то события тогда разворачивались по одной и той же схеме, как снежный ком, скатывающийся с горы. Организовывался подпольный журнал (например, «Феникс», «Синтаксис» и т.п.), его редколлегия сажали, авторы журнала и ближайшие читатели вовлекались в борьбу за освобождение посаженных. У тех и у других возникал уже новый, по преимуществу социальный лагерный опыт, находивший отражение в журнале «Хроника текущих событий» и «тамиздате», а этот журнал и подобные ему западные издания открывал соответственно политический этап диссидентства.

Как я уже говорил, содержанием первых журналов, журналов молодежных, с которых все это началось, были поэзия и проза, написан-

* На этом месте чтения текста В.Некрасов покинул помещение.

ные в манере начала века или 20-х годов. Властей раздражало не их содержание, а сам факт возникновения неофициальной коммуникативной единицы, свободного информационного канала, который мог бы связать советского читателя с западной культурой (все эти журналы издавались параллельно на западе, но, в отличие от герценовского «Колокола» содержание их было исключительно художественное: например, журнал «Грани», издававшийся издательством «Посев» наполнялся безобидными стихами и т.п.*

Однако власти прекрасно чувствовали стратегию всего этого дела, направленную на воссоединение с общей культурой, с идеологическим плюрализмом, чувствовали, но не понимали — в последнем случае вместе с организаторами они пересажали бы и всех авторов, которых было значительно больше. То есть, они пренебрегали содержанием этих журналов, тактической мелочью, которая тогда была средством и только потом стала целью.

Одним словом, и стратегия, и психологическая суть происходящего тогда состояла в желании удовлетворить не столько социальную, сколько культурную жажду. Было желание (но не мысль, не рациональное побуждение) вернуться в лоно общей культуры, общей истории, от которых Россия была медленно и мучительно оторвана в 20-х — 30-х годах, до этого составляя с ними единое тело.

И тут произошла удивительно интересная вещь. Новый, естественный возникший в ходе борьбы политический этап диссидентства целиком привлек к себе внимание властей, запада и вообще социально активной общественности.

Коммуникационное окно в Европу все-таки опять проломили, но власти, вместо того, чтобы срочно и наглухо его ликвидировать, занялись, вместе с политизированными диссидентами, активистами и западом возиться вокруг вывалившихся из этой стены кирпичей, поднимая страшный вой, шум и пыль вокруг каждого обломка. Вырывая их из рук друг друга, обманывая, ускользая, настигая, то есть серьезно включившись в борьбу за права человека и против прав человека, они совершенно упустили из виду культурную суть происшедшего, то первоначальное зерно порыва, которое потом проросло уже в конкретных самоцельных проявлениях.

* Информационные передержки, натяжки и общая тенденциозность статьи обусловлены ее демонстрационным местом в структуре акции «Голоса», т.е. определенной психологической направленностью на слушателей.

То есть, в образовавшемся в этой стене проеме над всей этой общественно-политической борьбой социальных активистов, сгрудившихся вокруг разверстого лона только что родившей женщины — они буквально вцепились тогда в детское место и рвали его в разные стороны, хотя и так было ясно, что все равно его придется выкинуть — ведь степень допустимости прав человека и вообще социальных прав заранее определена их влиянием на функционирование тоталитарного государства — весьма иллюзорным влиянием, — и все-таки в этом проеме и с той, и с другой стороны стали появляться новые лица с новыми конкретными выражениями и предложениями. И между этими лицами стал налаживаться диалог, обмен информацией прежде всего культурного и, главное, частного свойства, который социальные активисты той и другой борющихся сторон за «детское место» воспринимали как комариный писк, ахинею, а не как писк родившегося младенца, чем он, этот писк, собственно и был. Конечно, гора родила мышь, эстетика по сравнению с колбасой и танками — мышь. Однако, факт родов состоялся, что-то родилось, и, как впоследствии выяснилось, родившееся оказалось достаточно жизнеспособным, чтобы вступить в реальный и постоянный контакт с другой «мышью» — западным авангардизмом в его наиболее крайних, радикальных проявлениях. То есть, в результате всех этих событий между западной и русской культурами все-таки произошло соприкосновение и взаимодействие в точках крайнего авангардизма, а поскольку авангардизм — явление культуры, то и можно говорить о том, что, хоть и очень эфемерное, но воссоединение культур осуществилось: в этих точках мы понимаем друг друга очень хорошо, у нас здесь одни и те же эстетические (а не артистические и социальные) задачи, схожая методология, одни и те же интересы.

Представители старшего поколения советских авангардистов, принимавшие живое (пусть хоть и внутренне, то есть психологически и артистически) участие в пробивании этой «бреши» и творчество которых насыщено социальными мотивами того героического периода с трудом соглашались (а чаще всего и вообще, по экзистенциальной мотивации, не соглашались) с тем, что сейчас вероятнее всего в авангарде наступил период «частного» несоциального искусства, время как бы общего широкого водного потока, сквозь шум которого слышны — как дальний и равнозначный фон — традиции, идеалы, скандалы, голоса пророков и крики петухов. Они не видят в этом периоде историчности, а следовательно, серьезности. Забывая о том, что эстетика вещь сама по себе се-

резная с точки зрения последней и решающей необъективности всего происходящего, серьезная так же, как и социология, энтомология и т.п., они по инерции крутящегося колеса неосознанной стратегии 60-х годов относятся к ней как к незначительному явлению «общего дела», а в России «общее дело», как известно, видится если не в подготовке к воскрешению мертвых, то уж во всяком случае никак не «ниже» социальной перестройки, то есть в участии, в принадлежности — хотя бы воображаемой — к глобальным социальным процессам. О проблематичности соотношения социологии и эстетики я уже говорил выше. Теперь хочу коснуться историзма, причем историзма как чувства по преимуществу, ведь для современника историзм всегда только чувство, а как любое чувство оно может быть обманчивым, недолговечным и крайне переменчивым — такова уж природа чувства и настроения.

Теперь, впрочем, можно говорить об историзме начала 60-х годов, можно говорить даже о том, что социальный историзм шестидесятых реализовался пока только в эстетическом обличье конца 70-х и начала 80-х, так как решил, пусть и в скромных размерах, достаточно важную задачу воссоединения культур. Ведь под историзмом понимается что-то плодотворное, целенаправленное и объективное.

В начале семидесятых годов необычайно важными оказались артистические, и, главное, эстетические усилия Булатова, Кабакова, Васильева, Сокова, Комара и Меламида и многих других. В результате этих усилий социальные и даже в некоторых случаях артистические моменты были почувствованы как внутриэстетические. У этих художников впервые возникла эстетическая интонация, тот метод работы, при котором акт реализации становится возможным только в том случае, когда расширяющиеся этапы замысла перестают укладываться в рамки дореализационной рефлексии, когда уровень рефлексии становится столь высоким, что его разрешение в понимании и переживании требует акта реализации экзистенциально, а не механически. Именно в работах этих художников к середине 70-х годов эстетика обнаружилась как нечто более мощное в духовном отношении, чем социальное и артистическое, как то, что имеет «технические» приспособления для сцепления, свинчивая одной культуры с другой. Все эти моменты стали пластическими приемами в решении эстетических, экзистенциальных и метафизических проблем, их можно было использовать, а можно и не использовать.

Да и в конце концов, не является ли взгляд на социальное как на внутриэстетическое, как на рабочий материал духа, не является ли этот

взгляд, собственно, тем, что отличает позицию культурной метрополии (где сходятся и взаимодействуют культуры) от провинции? Не является ли этот взгляд тем, что определяет в какой-то исторический момент широту или узость границ осознанного, эффективность технологии культурного производства? Ведь человек всегда (хотя бы на этапах культурного строительства, в период расцвета жизненных сил) тянется из социума в более открытые духовные пространства, а не наоборот. Социум, его реальность текущего момента, обеспечивает (или не обеспечивает) биологические и информационно-коммуникативные потребности, в то время как только открытость культуры на самых высоких (в данном случае речь идет об эстетических) уровнях обеспечивает, пусть часто опасный — но такова исследовательская природа разума и духа — комфорт культурной конвенции.

Для иллюстрации всего вышеизложенного сошлюсь на свои собственные отношения с социумом и историзмом. Я начинал свою творческую деятельность с того, что довольно длительное время писал стихи под «старших» символистов — Мережковского, Минского, Брюсова. Затем — под Северянина, Гумилева и т.п., даже до Хлебникова и Мандельштама я добрался значительно позже, чем другие (например, в смысле заимствования более поздних поэтических интонаций Рубинштейн был «продвинутое» меня, а в то время мы с ним занимались литературой, что называется, «бок о бок»). Однако свой «историзм» в кавычках, хотя я так тогда это и не называл, во всяком случае свою экзистенциальную причастность к культуре я чувствовал именно в этих своих псевдопоэтических проявлениях.

В 1967 году была демонстрация на Пушкинской площади по поводу Гинзбурга, Галанскова и компании, посаженных за издание журнала «Феникс». Нас было вряд ли больше 10 человек и мне пришлось держать палку одного из двух плакатов-лозунгов, с которыми мы и демонстрировали на площади в течение полутора минут. Я мало отдавал себе тогда отчет (мне было 17 лет), что, собственно, мы делаем. Атмосфера музейной литературности, в которую я был тогда погружен, создавала эффект иллюзорности окружающей нас жизни, создавала впечатление, что все мы — и демонстранты, и прохожие, и налетевшие на нас представители власти были персонажами в какой-то неопасной игре, в какой-нибудь драме Леонида Андреева «Жизнь человека» или что-нибудь в том же символическом роде. Та мертвая культура начала века, в которую я, как и многие, был погружен, своей невероятной отдаленностью, комфортно-

стью заряжала нас этой странной энергией несерьезности оценки своих действий во всех реальных проявлениях, включая и такие особо опасные социальные действия, как политическая демонстрация. Конечно, это была просто эйфория, возникшая в результате отравления трупными испарениями той предреволюционной культуры.

Теперь ясно, конечно, что стратегический, процессуальный историзм проходил тогда через меня не как через подражателя Мережковскому и Гумилеву, а как через одного из участников этой демонстрации, смысл которой — тогда практически неосознаваемый — заключался в борьбе за журнал, за коммуникативную единицу, которая в будущем сможет нас связать с живой, современной и общечеловеческой культурой.

Во всяком случае для группы «Коллективные действия» и не только для нее эта борьба за информационный канал оказалась не такой уж безуспешной, если вспомнить, что десять лет спустя после этой демонстрации, в 1977 году «КД» вывесили красный лозунг «Я ни на что не жалуюсь и т.д.», фотографии которого тут же были опубликованы во «Флэш арте», выставлялись на венецианском биеннале, а потом кочевали из одного издания в другое. Связь между этими лозунгами — тогда, на Пушкинской, и этим лозунгом «КД» совершенно очевидна, но еще очевиднее и принципиальная разница между ними, заключающаяся в перемене социального историзма на историзм эстетический, «частный». Социум, маркированный формой и красным цветом лозунга «КД», мы использовали как наполнитель, как пластический прием и фоновую энергетику, использовали исключительно в целях построения художественно-экзистенциального пространства, новых рамок эстетической конвенции, внутри которых он, социум, находился, а не наоборот, как это было на демонстрации 1967 года, когда мы вместе с нашими лозунгами находились в «художественном» в кавычках пространстве социума как его персонажи.

Но главное во всем этом деле, конечно, то, что местный социум был описан изнутри как этно-идеологическая структура, причем, хоть описан и местным языком, но языком, понятным другой культуре, культуре метрополии, а следовательно, «местный» язык — на уровне взаимодействия культур — занял музейную нишу бытования.

Интересно, что как только было осознано, что местного, туземного языка в советском авангардизме больше не существует, сразу же начались ламентации о кризисе. Подобные ламентации, на мой взгляд, — стабильное психическое состояние деятелей метропольных энтропирующих культур. Когда человек оказывается на ободке огромного колеса,

ему всегда будет казаться, что «пиздец близок» и его скоро раздавит. Дело, думаю, здесь в том, что хоть борьба (ментальная, разумеется) уже и кончилась, но пыл ее еще не угас и колесо это, колесо культуры, представляется как бы внешним, реально существующим, хоть на самом деле оно, конечно, находится внутри нас, внутри головы. Чувство кризиса просто еще не привычно, оно не вошло в норму (ведь разрушена важная, заградительная иллюзия, и теперь перспективы пустынного горизонта просматриваются значительно лучше, атмосфера «Пустыни Тартари» теперь вокруг нас и она полна грусти, ностальгии, и в конечном счете, безнадежности). Да и действительно, раньше это «колесо» представлялось объективно «внешним». Сначала было ощущение пребывания в некоем втулочном пространстве, неподвижном пространстве внутри втулки, которое обеспечивает подвижность, движение обода. Это втулочное пространство — место провинции, молчания и надежд, где, с одной стороны, как бы ничего не происходит, а с другой — нахождение, пребывание в этой втулке — как это было у нас в конце 50-х и в 60-х годах — давало ощущение потрясающих каких-то перспектив, замечательного будущего, наполняло энергией движения — выбраться, выползти из этого втулочного пространства, а потом ползти, ползти по спицам к сверкающему далекому ободу.

Теперь, когда мы в разнообразных позах сидим на этом «ободе», причем часто в крайне неудобных позах (чаще всего из-за собственной глупости и «системы социального обеспечения»), и на нас дует ветер незнакомое, неисследованное, ветер этой пустыни «Тартари», довольно трудно совершить умственное усилие и осознать это колесо культуры как находящееся «внутри головы», осознать себя уже в новой, общемировой втулке и найти в себе силы опять ползти вперед по спицам к какому-то еще невидимому ободу, но ползти теперь уже не с пафосом борьбы и стремлением к раю, а чисто из спортивного, альпинистского интереса, носящего повседневный характер, — не «общего дела», а частного увлечения.

1984

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ «ПОЕЗДОК ЗА ГОРОД»

Предисловие отличается от всех других литературных жанров тем, что его мало кто читает. И в этом смысле текстовое пространство предисловия оказалось наиболее подходящим, чтобы взять на себя функцию особой внутриконтекстуальной предметности высказывания, о которой идет речь в описательном тексте акции «Лозунг 86» (см. соответствующий текст в книге «Поездки за город»).

...

Неблагополучная культурная атмосфера, в которой мы все очутились, чрезвычайно психологизирует критическое осмысление эстетической деятельности. Поэтому мне кажется естественным кратко рассмотреть акции КД в психологическом аспекте, причем представить онтологический взгляд, осмысляемый нами всегда как фундаментальный, взглядом поверхностным по отношению к психологическому, исходя из той посылки, что, если бытие — это говорение о сущем, то не есть ли то сущее, которое проглядывает сквозь иссякающий поток этого «говорения» — то или иное психическое состояние?

Действительно, если мы посмотрим на акцию как на особый вид времяпрепровождения (а не осмысления), во всяком случае на тот тип акций, который нас интересует, то мы обнаружим, что они строятся совсем не в том «неопределенном месте между жизнью и искусством» (Капроу) и не указывают на эту неопределенность как на предмет изображения. Макрометафорой акций КД является скорее не «неопределенность», а «обособленность». Первоначально эту обособленность легче всего определить негативно: событие акции происходит не в сфере жизни, не в сфере искусства, не в диффузной, «разведовательной» зоне

неопределенности между ними. Единственным положительным определением было бы определение динамическое: событие акции происходит на совместном усилии авторов и зрителей, направленном на перемещение субъекта восприятия из демонстрационной зоны («искусство») через границу («полосу») неразличения — в зону рассеянного, обыденного созерцания («жизнь»). И чем глубже сознание наблюдателя выдвинуто в эту зону рассеянного созерцания, тем больше у него возможностей ощутить свою собственную природу, т.е. пережить не оперативность, знаковую своего восприятия, в режиме которого оно нам всегда дано, а его результативность. Посмотрев на проблему таким образом, мы обнаруживаем, что возможности нашего дискурса чрезвычайно сужаются. Единственной артикулированной знаковой опорой, опосредованностью становятся пространство и время, становление и протекание. Действительно, редуцируя событие до рассмотрения его как чисто субъектно-объектного отношения, мы обнаруживаем наблюдателя, «мерцающего» между субъектом эстетического проявления в том пространстве и времени, которыми он себя окружает, и объектом эстетического проявления, который скрыт от него «пустым действием» (ведь с точки зрения контентности наши акции можно свести к таким понятиям, как «пребывание в определенном месте», «хождение по прямой», «неподвижное стояние», «звучание», «свечение» и т.п.). То есть в наших акциях контентность объекта (и эстетическая, и метафизическая) остается неизвестной и всегда находится в сфере интерпретационного «последствия». Объект проявления во время события не актуален, так как его содержание чрезвычайно минимально по сравнению с собственно жанром акции — «поездкой за город». Он всегда строится и воспринимается как бы на волне угасания основного события — выезда авторов и зрителей за город.

Итак, с психологизированной площадки нашего дискурса можно сказать, что в этом месте субъектно-объектного пересечения, мерцания, где сознание наблюдателя актуализируется только как пространство и время, оно становится предметом для самого себя, т.е. онтологизируется, утрачивая свои гносеологические функции и высвобождая свою собственную созерцательную природу («таковость»). Возникает дискурсивный феномен «сознание-вещь», с которым могут происходить различные трансформации (т.е. пространственно-временные искажения, доступные рассмотрению в рамках акций).

Однако, коль скоро речь заходит о вещи, то мы сразу имеем дело с двумя ее предполагаемыми состояниями: феноменом, конкретной

явленностью ее «здесь и теперь» (акциденцией) и неизменной, непроявленной «вещью в себе» (Ding an sich). Обнаружив этот зазор между сознанием как «вещью» и сознанием как «вещью в себе», мы обнаруживаем и внутреннее демонстрационное поле расщепления, в параметрах которого мы, по естественной тяге к скрытому, неизвестному, начинаем дискурсивно «передвигать» онтологизированное сознание в сторону от «вещи» к «вещи в себе», тем самым постоянно увеличивая этот зазор, это внутреннее поле расщепления субъекта нашего дискурса. Но сколько бы мы не передвигали наше «сознание-вещь» в сторону Ding an sich (в событийном, «полевым» плане — сколько бы мы не расширяли границы «пустого действия»), достигнуть заданной точки нам не удастся по ее определению («недостижимость» абсолютной результативности из-за постоянного ее ускользания в оперативную «принадлежность»). Следовательно, это внутреннее (дискурсивное) демонстрационное пространство расщепления мы должны охарактеризовать как обладающее вечной длительностью и бесконечной далекостью, при разворачивании, раздвижении которого наше созерцающее сознание должно постоянно меняться по степеням увеличения его неизменности и «остановленности» на пространственно-временном самоощущении «здесь и теперь», то есть по степеням все большей и большей онтологизации, которая никогда (в качестве артикулированного пространством и временем бытия) не достигнет «сущего», «того берега», обычно представленного в наших акциях стеной дальнего леса, небом, полем и т.п., т.е. оно (пространство расщепления) всегда останется приближающимся пейзажем, даже «пейзажностью», но никогда не трансформируется в сам пейзаж. Оно может как бы «прикоснуться» к нему, например, светом фонаря, мелькающего вдали (акция «Фонарь») или особым образом организованным звучанием («Либлич», «Музыка согласия»), где свет и звучание в каком-то смысле являются краевыми пространственно-временными границами нашего «я», расщепленного эстетическим событием и особой точкой зрения на него, изложенной, например, в этом тексте.

Таким образом, проникнув — через дискурсивный акт и воспоминание о реальном событии — на внутреннее демонстрационное поле (в пространство расщепленного «я»), мы начинаем двигаться все дальше и дальше от самих себя как от известного субъекта установки в сторону объекта, как если бы он был трансцендентным по отношению к субъекту. При этом движении мы обнаруживаем, что с какого-то момента акт наблюдения за пространством и временем — через его переживание — становится актом

их воспроизводства, то есть наше сознание начинает не воспринимать, а генерировать пространство и время, погружаясь в состояние неподвижности и остановленности. Наше внутреннее усилие, в каком-то смысле и в какой-то момент оказывается изоморфным концепции расширяющейся вселенной (по Хабблу) и край нашего расширяющегося, расщепляющегося «я», всегда оставаясь недостижимым, предстает перед нами и переживается только как пространственно-временная граница.

Пережив это крайнее расщепление и осмыслив его как не имеющее никакой опоры, которая позволила бы нам продолжить наш дискурс, мы вынуждены вернуться в границы конкретного, но теперь уже с определенным знанием того, что пограничные состояния сознания актуальны для нас только как пространственно-временные переживания, а не языковые (знаковые) границы, как это было, когда мы имели дело с внешними, объектными демонстрационными полями. Теперь, с полной определенностью мы можем заявить, что то внутреннее демонстрационное пространство, которое само по себе является сокровенным и целевым переживанием акций, существует, но именно в силу этого «говoreние» о нем невозможно. Можно только рассказать о том, что мы делали во время очередного тайм-аута, каковым, по существу, является каждая наша акция, в то время как сама «игра» происходит совершенно в других пространствах — обсуждения, дискурса, рассматривания документации и фактографии.

Учитывая сказанное, мне бы хотелось, чтобы акции, помещенные в 4-ом томе, воспринимались читателем только как знаки конкретных пространственно-временных актов и как информация о реальных событиях (поездках и обсуждениях). В тех же репрезентациях, где читатель очевидно сталкивается с каким-то смыслом (например, «Партитура», «Музыка согласия»), ему следует иметь в виду, что реализация этих смыслов осуществлялась в интонации, а не в информативной, дискурсивной знаковости. То есть во время акции демонстрировалось звучание, а не значение смысла. Смысл как интонация всегда двигался в сторону звука (или «пейзажа»), в то время как обычно мы имеем дело со смыслом как знаком, удаляющемся от предметности в сторону интерпретации. Во всех случаях мы полагали смысл только как настроенность на пространственно-временное переживание, редуцируя его знаковость до чистой интонации, пропедевтики к переживанию той границы нашего «я», где оно становится пространственно-временным событием.

1986 г.

ТЕКСТ ПАРТИТУРЫ

Герой приближается лунной ночью
к застекленным дверям веранды
(съемка со спины. На стеклах веранды —
отражение луны, бегущих по небу облаков,
раскачивающихся под ветром деревьев).
Герой поднимает руку в поисках звонка,
нажимает — по стеклу веранды
течет темная струйка крови.
Вместо звонка напоролся на гвоздь.

*Сцена из «Земляничной поляны»
(Фотоотпечаток с эпиграфом
был наклеен на отдельной картонке).*

Предметом изображения нашего сегодняшнего вечера будут демонстрационно-эстетические ошибки. Первая и наиболее грубая ошибка — с точки зрения серьезного нарушения пропорций демонстрационного поля, естественности восприятия — это вручение нашим зрителям вот этих шести страничек текста с предложением непременно их прочитывать. Мы знаем, насколько мучительным, глупым бывает процесс чтения не очень коротких текстов и в том случае, когда ты приходишь к кому-то в гости, а тебе суют прочитывать статью, и в том случае, если ты идешь на художественное действие и вместо работы художника, музыканта, поэта, на которую ты пришел поглядеть, послушать, тебе опять же всовывают какую-то статью, не имеющую отношения ни к твоим личным проблемам, ни к общественным. Одно дело, если бы текст этот был «текстом-картиной» или секретным государственным циркуляром, например, о том, что всех нас скоро будут сажать, или, наоборот, простят, поймут, поддержат. Определенный интерес вызвала бы и статья из крупного журнала по искусству, касающаяся твоего творчества.

На худой конец — просто «письмо друга», в котором он тебя страшно обсерает, или письмо твоей жены, возлюбленной, из которого ты можешь узнать подробности отвратительной измены, надругательства и прийти в состояние эмоционального аффекта.



Здесь ничего подобного нет. Правда, на концертах мы обычно покупаем программы, где указываются произведения, авторы и порядок исполнения пьес. Есть даже традиция — тоже на концертах — следить за музыкой по партитуре. Вот, пожалуй, единственная, довольно сомнительная апелляция к известной традиции: партитура. Будем считать этот текст партитурой — текстовой записью того, что сейчас происходит. Хотя есть ли какая-нибудь согласованность между этой «партитурой» и теми слайдами, которые проецируются на экран, или той музыкальной «капельницей», которую можно слышать из динамиков? Уж не говоря о том, что нет никакого совпадения информационных скоростей — скорости чтения (зрители) и скорости слушания (наши с Ромашко «точки» и «тире» — мы слушаем через наушники запись этой «партитуры», отмечая вслух точки и тире ее текста). Разумеется, такой согласованности нет. Более того, читая партитуру, вряд ли можно одновременно внимательно следить за слайдами — разве что краем глаза. Впрочем, «краевого» смотрения здесь вполне достаточно: слайды представляют собой фрагменты пустых экспозиционных поверхностей, однообразный ритмический ряд.

Вторая демонстрационная ошибка нашего сегодняшнего вечера — это невероятно натянутая, искусственная глупость с фонарями. Неостроумная и неудобная игра: дали читать длинный текст, да еще погасили свет, вручив карманные фонари. Это несерьезно и даже стыдно для «Коллективных действий». Что за нелепое световое копание в том месте, где очевидно ничего не найдешь? Одним словом, все это производит далеко негениальное впечатление — натянутости, нелепости, неумелости. Плюс еще работа Летова на звуковых модуляторах с «капельницей» — сиротская попытка «художественного» поведения на фоне эстетического идиотизма.*

И все же в центре сегодняшнего события находится именно эта партитура, а не слайды, щиты с веревками, музыкальная и световая среда (точнее говоря — «партитурность» как техницизм, но об этом см. вы-

* Далее следует параноидальная часть текста, написанная в чувственном запале (режиме) «сверхценности» языка, т.е. демонстрируется уровень смысловой нелепости самого текста «партитуры». Эта параноидальность дает возможность девальвации информативной и интерпретационной (хотя и не лишенной правдоподобия) направленности текстовой части акции. Таким образом направленность смысла патопсихологизируется (и, следовательно, выносится за скобки эстетического внимания) как и все остальные направленности (интенции) акционных рядов «Партитуры». — А.М.

шеприведенное примечание). В пределах замысла, до исполнения, обнаружить точное значение этой партитуры невозможно. Можно только предполагать. Например, что эта партитура — программа выворачивающейся наизнанку психической автономии эстетического акта. То есть партитура «антигениального» художественного поведения или, точнее, пространства ностальгии по Железной Флейте, по ее функции — переводить «взлеты гения» из сферы критического разума в практическую. В европейской культуре впервые такую процедуру над самим собой проделал Кант. В 1788 году в «Критике практического разума» он написал о чрезвычайной важности предотвращения взлетов производственного, культурного гения, ибо, как он писал, такие взлеты обещают «мнимые сокровища и растрачивают сокровища настоящие». Что, надо сказать, и продемонстрировал в 1791 году Моцарт, сочинив свою «Волшебную флейту» — сверкающий болид-истероид, серафическую музыку «высокой» психопатологии, за которой вскоре последовала феерия романтических миров, духовная криминальность которых проявлялась тогда узко и имманентно — биографически (например, Кляйст) или сюжетно, причем, как бы уже на выходе из этих миров, в переходе к порожденному романтическим декадансом экспрессионизму (например, бюхнеровский «Войцтек»). Природа самого взлета, его онтологическая криминальность не только не считалась за таковую, а, напротив, поощрялась, иногда, впрочем, с грустью и сожалением (Гете – Байрон), чаще же принималась с восторгом («Моцарт и Сальери» Пушкина). Одним словом, криминальная гениальность побеждала исторически, то есть в той сфере предполагаемой действительности, где множество индивидуумов мыслится как один. Разумеется, кантовская духовная суверенность, его личное звездное небо и личный закон моральной автономии не исчезли, но телесная суверенность этой автономии поставилась под сомнение и заслонилась «сияющими» вершинами Гегеля, Бетховена, Вагнера, Ницше, Ленина, Гитлера и других романтиков действия (духовные «миры» превратились в газовые камеры), также как теперь эстетическая автономия Дюшана заслонена экспрессионизмом, вещью куда более серьезной, ибо «звездное небо надо мной» — это детская игра, а холсты экспрессионистов — это большие деньги.

На все это можно смотреть с интересом удручения. С интересом — так как мудрость истории обладает своей автономией и непредсказуемостью, а с удручением потому, что оно, удручение, как взгляд, состояние, настроение — ценностно и автономно само по себе. Итак, человечество

(в этом месте партитуры совершается самая серьезная ошибка — историческая, за которую нам стыдно, но замысел требует, ведь ошибки — предмет изображения нашего сегодняшнего вечера) — как стая крыс под звуки «Волшебной флейты» вовлеклось в состояние «принудительной одухотворенности» (за что, кстати, не раз привлекалось к уголовной ответственности двумя мировыми войнами, идеологическими геноцидами и т.п.). Идеи чистого разума восторжествовали. Приоритет практического разума в сфере действия, заявленный Кантом с надеждой, что он не будет деградировать, не был принят в расчет — разрядка между практическим западом и теоретическим востоком продолжает нашими теоретиками мыслиться на паритетных началах, что, разумеется, есть лишь исторический казус, ибо приоритет прикладного (детского) над неприкаанным (взрослым), приоритет чистого и достоверного бытия (обыденность) над грубым и неискушенным суждением (гениальность) в конце концов всегда восстанавливается по спискам «исправления имен», что уже неоднократно доказывали китайские прагматики на протяжении тысяч лет (кстати, не является ли наша партитура парафразой предположения, что когда «небесное дао пусто, земное спокойно») — и что в конце концов с успехом (очередного уголовного наказания?) еще раз подтвердят технократы — и западные, и восточные.

Но закончим свои сомнительные рассуждения восхищением в адрес Ильи Иосифовича Кабакова, который в своей инсталляции «Комната» поставил убедительную коммунально-криминальную точку над буквой *i* концептуального романтизма — чрезвычайно точно найденным способом смотрения (сквозь щель) на взлеты гения, завершив, на наш взгляд, героическую борьбу с гениальностью, начатую Дюшаном, обзериутами и другими героями быта с железными флейтами в руках, которым они нашли единственное правильное назначение в тех лагерных условиях, где протекает наш быт — то есть пиздили ими и друг друга, и кого ни попадя.

Интересно, что в результате этой «борьбы» в нашем авангардном регионе вычленилось два замечательных типа рефлексивного художественного поведения. Одни осознают себя художниками-персонажами, художниками-игрушками, которые переживают имитацию как первую любовь: бегают по мастерским, кричат на разные голоса, выступают с официальными заявлениями о том, что их «дом — Россия», продолжают ебать говно, причем уже за кадром, из чистой любви к этому занятию (съемочная группа давно снимает другой эпизод) и т.д. Другая группа

— в частности «КД» (независимость Кабакова позволяет ему свободно мерцать между этими двумя типами) — занимается поисками «места текста» (в прямом смысле — в этой работе). Они продолжают мыслить свою эстетическую позицию автономной и представляют собой «играющих» художников. В отличие от первой группы, им важно силовое напряжение их игры, причем любой ценой, вплоть до невыносимости (чтобы запутать себя и забыть о рефлексии). Обнаружив обозримость и, следовательно, силовую уязвимость понятного в позиции первой группы — «художников-игрушек», «необозримые» (назовем их так в ироническом смысле, ибо и те, и другие, как рефлексанты понимают свою относительность и взаимосвязанность) — прекрасно осознавая себя продуктом распада завершающейся эстетической эпохи, которыми они являются в той же степени, что и художники-персонажи, ухватились вдруг за этическую струну, которая в такие распадные времена оказывается сопряженной с эстетической, придавая ей дополнительное силовое натяжение. Во всяком случае апелляция к автономии морали, к ее априорности и независимости от истории, производит впечатление некоторой загадочности (вспомним свифтовскую «Сказку бочки»), в то время как чисто эстетическое поведение производит впечатление знакомого, узнаваемого кривлянья. Механизм поведения художника-персонажа понятен, ибо он лишен априорной эстетической автономии: ослабли нитки — руки опустились, натянулись — и его волокут к рампе или за кулисы. Художник-игрушка (хитрый, но амбивалентно роковой Чичиков) не контролирует самого себя изнутри, как это и следует настоящему гению, ангажированному двумя неподвластными ему механизмами — собственной фантазией (т.е. тем, что И.К. называет «своей, ничем не обусловленной позицией»; вспомним сорокинскую «Морфофобию») и дилерской конъюнктурой текущего момента.

Разумеется, группа «негениев» («необозримых»), претендующая на естественную эстетику (так принято называть классический взгляд на обыденное и фантастическое), лишь имитирует эту естественность, которой они также лишены. Их «необозримость» — это необозримость чисто словесного НИЧТО, другими словами — самый дальний горизонт повтора — хинаяна.

Но вернемся к поискам «места текста» этой партитуры и предположим, что еще одно ее значение — это выяснение степени производственности художественного процесса. Думается, что наша приверженность к эстетике «Железной флейты» обусловлена не только крайне слабой

вовлеченностью в динамические культурные процессы региона (существенная черта местного авангарда), но еще и тем, что группа «Коллективные действия» работает в любопытной — с точки зрения производственности — конвенциональной оппозиции, а именно: «дом» — «дача» (домашние акции и загородные акции), которая очень сильно отличается от такой — более распространенной — оппозиции, как, например, «мастерская» — «выставочный зал». Ясно, что и дома, и на даче мы (по идее) концентрируем свое внимание на личной, бытовой сфере, на конкретном поведении конкретных людей, а не персонажей. То есть у нас Коля Панитков, идущий по полю, остается Колей Панитковым, не превращаясь ни в Папагено, ни в Зигфрида, ни Вокноглядящего архипова, ни в человеческий фактор. То есть, степень опосредованной производственности нашей эстетики практически равна нулю, и наша художественность носит прикладной (к чужой художественности) характер. Обратите внимание на те места, где помещается эта художественность. Ее можно увидеть на гвоздях, которыми прибиты черные щиты, закрывающие экспозиционные поверхности комнаты. На этих гвоздях намотаны веревки. Они намотаны с художественными целями, но довольно скромно, аккуратно в смысле демонстрационного места намотки (места, где мог бы разыгаться сюжет «Волшебной флейты», оставлены свободными и представляют собой пустую черную поверхность — поверхность «предложения»). Предлагаемая же нами художественность «намотана» на те функциональные места, где щиты (демонстрационная поверхность) прикрепляются к стене (экспозиционная поверхность), то есть она мерцает там, где идеальное соединяется — физически, буквально — с бытовым, реальным. Однако, эта намотка не производит декоративного впечатления. Она производит странное впечатление, ибо является одним из невыясненных в пределах замысла слоев исполнения нашей партитуры — воплощением ее пространственной протяженности так же, как слайдовый ряд является воплощением ее длительности во времени.

Но каково же экзистенциальное переживание, породившее наше сегодняшнее пространство выворачивающейся наизнанку психической автономии, которое, конечно, является тем единственным, что способно точно определить место текста нашей партитуры? Это то самое пространство, история черного ящика с фонарями, которая упоминалась в акции «Перевод». Тогда я — по соображениям эстетических пропорций — не рассказал этой истории. Сегодняшняя эстетическая диспропорциональность, кажется, дает мне такую возможность. Речь пойдет

о том, как я на самом деле, в личном переживании оказался в состоянии той психической аномалии, коллапса, который носил характер клинический и криминальный, и в то же время твердо устанавливал для меня приоритет личного и бытового над метафизическим и общественным.

Это случилось со мной в конце августа 1982 года.

(Конец текста «Партитуры»)

**Следующий текст повторялся с магнитофонной записи
вслух А.М. во время акции «Партитура»:**

Разумеется, и в этот раз я не буду рассказывать о том, что со мной случилось в грязной осенней луже ночью, недалеко от платформы «Реутово» по Курской железной дороге. Ибо воспроизведение этого рассказа, его речевое звучание стало бы тем самым искомым пространством «места текста» нашей партитуры — хотя бы как вступление к нему. Замечу в скобках, что сегодняшняя работа не входит в серию акций «Перспективы речевого пространства».

Кроме того, что я вообще плохой рассказчик, мне кажется более важным, не найдя этого «места текста», получить в результате этой не-найденности возможность убедительнее и глубже ощутить наше с вами сегодняшнее демонстрационное взаимодействие, его новизну, а именно, что мы теперь как раз и находимся внутри этого черного ящика с фонарями — тире — в руках, то есть в каламбурическом пространстве, в котором обычно разрешаются все проблемы, а железную флейту, которой мы пиздили друг друга столько лет, засунем — хотя бы на некоторое время — и причем исключительно из этических, а не эстетических соображений — в особый черный ящик (мы использовали его в акции «Звуковые перспективы поездки за город»), ограничив тем самым ее орудийно-производственную автономию.

(А.М. засовывает металлический стержень тотоки-тосуй, которую все время держал в руках, в ящик, стоящий перед экраном).

1985

ЭСТЕТИКА И МАГИЯ

об акциях «Ворот» и «Такси»

Придет серенький волчок
Схватит Ваню за бочок.

И. Богослов. Откровение.

Человек может быть глуп и суеверен только в идеологическом контексте, по своей же естественной природе он лишен этих замечательных качеств. Но поскольку любой текст идеологичен (за исключением текста-крика, на который срывается Бакштейн в своих статьях: «Не трогай — это святое!» (статья «С ненавистью к прекрасному») и «Оставь, это — шизофрения!» (статья «Нормальные не выживают») хотя, казалось бы, с точки зрения эстетической автономии концептуального перформанса речь идет о совершенно классических произведениях, построенных на монотонности — «Ворот», и мгновенности — «Ботинки») и не один пишущий не смог еще преодолеть идеологичности, ибо все его артикуляции так или иначе группируются вокруг борцовского ринга, на котором идет вечный бой между Труляля и Траляля, то, на мой взгляд, не имеет смысла скрывать, что и в этой статье речь, как всегда, пойдет о несуществующем, причем в достаточно широких границах глупости и суеверия, чтобы как можно больше напихать туда этого несуществующего (а не только одну «вульву» с апокалипсическим номером).

Итак, «магическая» сторона акции «Ворот» и «Такси» поставила перед нами довольно сложную проблему. У нас, да и у наших зрителей, сложилось такое впечатление, что мы пересекли какую-то границу дозволенного и оказались под воздействием неких «высших сил». Поскольку я глубоко убежден, что «высшие силы», а именно — естественность и культура (функций и отношений) выражаются только в нормальных, привычных формах, то здесь следует говорить о влиянии скорее каких-то «низших сил», а точнее — о коллективном бессознательном и формах его арти-



куляций в «дорецептивных» — по отношению к эстетике — зонах наших перформансов. Эти дорецептивные зоны во всех прежних акциях хоть и учитывались — как определенные этапы поездки к месту действия, — но оставались индетерминированными в своих событийных подробностях. В этих индетерминированных зонах пред-ожидания, ожидания, во время протекания «пустого действия» и т.п. накапливалась основная масса впечатлений — случайных и, следовательно, свободных от замысла акции. Эта очень широкая индетерминированная зона (неизбежно сужающаяся и прекращающая быть таковой в момент начала действия) была самым ценным эстетическим пространством в наших акциях.

Что же произошло в «Вороте»? Неужели действительно механизм акции вызвал эту метеорологическую феерию? Вряд ли. В заданных координатах нашего дискурса можно сказать, что скорее всего произошло артикуляционное детерминирование дорецептивных зон через одну из мандал руководства коллективным бессознательным — в данном случае через И Цзин. Ввод мандалы руководства И Цзина в программу акции «объединил» участников перформанса (и авторов, и зрителей) в единое тело коллективного бессознательного и артикулировал передвижение этого тела таким образом, что все собрались к месту действия именно к тому времени, когда и началась эта феерия. То есть, все собрались у ворота точно к тому времени, когда можно было увидеть как «ян» взаимодействует с «инь», демонстрацией чего, собственно, и занимается «Книга перемен». Мандала руководства И Цзина стала «работать» за много дней до момента осуществления акции, точнее — с того самого времени, как она была введена в план акции «Ворот». Под ее «влиянием» был выбран день проведения перформанса (для авторов — как бы бессознательно и случайно), под ее же воздействием в соответствии со сферой ее влияния, а именно — числа и даты в коммуникационных взаимодействиях — был детерминирован по числовым отрезкам времени путь зрителей на Киевское поле, время готовности устроителей и момент начала акции.

Здесь как бы возник эффект «крысы, бегущей с корабля», т.е. эффект предчувствия стихийных изменений, к чему очень чувствительны животные или группа людей, объединенная (индуцированная) в единое тело коллективного бессознательного какой-либо мандалой руководства. По отношению к индивидуальному сознанию, функционирующему в культуре, уровень коллективного бессознательного (КБ) лично мне представляется реликтовым. Любая мандала руководства КБ имеет дело именно с этим реликтовым уровнем (иногда его называют фоном).

То есть какая-либо более-менее достоверная (желательная) и формализованная в знаках идея веками «прорабатывает» коллективное бессознательное, и, если для нее находится подходящая почва (в наших акциях — интерпретационная заявленность индетерминированных зон пути к месту действия, на что мы всегда обращали особое внимание в комментариях) она тут же «использует» ее в рамках своих возможностей и целей, наглядно демонстрируя свои «мирообразующие» структуры и как бы становясь в данном акте артикуляции коллективным сознательным, что, собственно, и произошло в «Вороте».

Мы должны признать, что «перформанс» мандалы руководства И Цзина оказался более эффективным по сравнению с нашим перформансом, идея которого заключалась в создании образа «звучания пустого пространства» с помощью особого «музыкального» инструмента — ворота и лесок, протянутых через поле.

Надо сказать, что в глубине души мы были разочарованы тем, что произошло, так как никогда не гонялись за внешними эффектами. Ведь для нас всегда была важна установка на то, чтобы «ничего не показать, но так, чтобы возникло ощущение показанности» — но только ощущение, без визуальных блестящих эффектов. Происшедшее на акции «Ворот» можно сравнить с такой ситуацией: на сцене композитор-минималист исполняет свое «фоновое», медитативное произведение. Вдруг вылетает какая-нибудь попс-певица вроде Аллы Пугачевой в платье с блестками и начинает петь одну из своих популярных песен. Естественно, публика в зале волей-неволей переключается на певицу, на ее сверкания и переливы, вызывающие у зрителей синдром «сороки» (все блестящее притягивает). Жалкому минималисту приходится убраться со сцены. В акции «Ворот» такой Аллой Пугачевой оказалась мандала руководства И Цзина.

Но, с другой стороны, процессы, которые происходят в коллективном бессознательном заслуживают внимательного критического рассмотрения. В настоящее время (интерес к фактуре) синдром «сороки» в КБ очень силен. И в этом смысле акцию «Ворот» можно рассматривать как симптоматическую.

Можно сказать, что существует ментальная конъюнктура коллективного бессознательного, и если человек артикулируется в какой-то деятельности, на выходе (пусть и минимальном) в социум, то не учитывать эту конъюнктуру нельзя. В 70-х годах шуньявада как мандала руководства занимала в КБ одно из ведущих мест. «Коллективные действия» привыкли работать по этой мандале, достаточно отчетливо

сформулировав ее как янтру действия в предисловии к первому тому «Поездок за город»: деметафоризация любых знаковых констелляций (т.е. любых мандал руководства, по которым возможна интерпретация сюжета) через метафоризацию «пустоты» в реально осуществляемом «пустом действии». При такой ментальной установке наши артикуляции (пространственно-временные прежде всего) носили характер просторности, естественности и очень широкой индетерминированности. В результате этой деятельности лично у меня сформировался субъективный ментальный объем, пристрастие к так называемому прямому, неопосредованному восприятию предметности как таковой (просто лес, просто поле, небо, деревья и т.д. — без какой бы то ни было их символизации).

В 80-х годах «конъюнктура» КБ существенно изменилась — конец века, «конец света», апокалипсические — с одной стороны, и антисозерцательные («древнеримские»), с другой, настроения стали доминирующими. Во времена метафорических плеоназмов всегда почему-то начинается торжествовать самое тупое архетипическое сознание, для которого, например, лицо женского пола — это почему-то «земля», мужского — «небо» и т.п. Причем женщина в «апокалипсические» времена занимает место «неба», как, например, на известной древнеегипетской фреске, в апокалипсических текстах /666/ и т.п. Естественно, что женщины в такие времена становятся более агрессивны (всего лишь из-за того, что какой-то шизофреник сравнил влагалище с дырой и путем несложных «логических» операций символизировал женщину в качестве «земли» — так как дыру, действительно, можно выкопать в земле, а не в небе). Хотя совершенно ясно, что в возникновении метафорического плеоназма (ситуации «земля-земля» вместо «земля-небо») в большей степени виноваты мужчины, а не женщины (имея «ум скачущей обезьяны» именно мужчины склонны заселять «небеса» фантомами своего безумия).

Не исключено, что духовная стагнация, а затем и уничтожение Древнего Египта связаны с невероятно усложненной и высокой степенью знакового плеоназма: древнеегипетский «космос», место «неба» в котором занимает женщина — как это изображено на известной фреске — есть ничто иное, как «космос» покойника, ибо именно для покойника «небом» становится «земля» (то есть на этой знаменитой и загадочной фреске изображена в виде ребуса простая могила). Вообще можно сказать, что основная характеристика декаданса — это увеличение степеней опосредованности между людьми и вещами (между людьми в такие времена,

как правило, связи вообще утрачиваются, так как вместо людей в этой атмосфере стагнации выступают символы).

Итак, после истории с «Воротом» нам ничего не оставалось, как заняться незаинтересованным исследованием механизма работы этих мало симпатичных для нас мандал руководства КБ.

Конструируя акцию «Такси» (тоже с использованием И Цзина) я намеренно поместил на самое «высокое» (в ментальном смысле) место обыденное происшествие: проезд такси по аллее. Поэтому, пространство возможных «магических» странностей заведомо полагалось как бы «внизу», под уровнем обыденности (непосредственности). Поэтому с уровня обыденности можно было более-менее спокойно наблюдать эффект слипания участников акции в коммунальное тело КБ, следить за тем, как отдельные его члены начинают совершать «странные» по отношению к обыденному функционированию поступки, но совершенно закономерные по отношению к той мандале руководства КБ, в пространстве которой они очутились, осуществляя замысел, так как уровень их «сознательности» берет на себя знак мандалы, относительно которого их языковые и коммуникативные поступки становятся бессознательными, персонажными.

В акции «Такси» разрыв шести лесок давал определенную последовательность гексаграмм и каждый из участников как бы «заведовал» одной из этих гексаграмм. Ю.Лейдерман стоял у конца первой лески, при разрыве которой возникало пространство гексаграммы «Перечение» (№ 44). Вероятно, именно потому, что так называлась «его» гексаграмма, ему послышалось вместо команды «зажигай» команда «считай шаги!», что он и стал делать. И.Бакштейн стоял у второй лески, при ее разрыве возникала гексаграмма «Бегство». Когда я после акции спросил Иосифа, где он был во время проезда такси, он сказал: «А я убежал!», так же осуществив в действии название гексаграммы. В.Мироненко стоял на гексаграмме «Упадок» — не потому ли он так мучительно долго привязывал свою леску, она все время у него спадала с дерева? М.Еремина стояла на гексаграмме «Созерцание» и должна была фотографировать проезжающее такси (так как уже заранее было известно, что она должна «созерцать сквозь щель» видеоискателя своего фотоаппарата, то ничего «странного» с ней не произошло). Коля Панитков стоял на самой «страшной» (по названию) гексаграмме «Разорение». Видимо, поэтому я его отослал зачем-то к Макаревичу, и он так и не вернулся на свою позицию к тому времени, когда проезжало такси. Причем важно, что ни они, ни я не знали названия гексаграмм (во всяком случае — не пом-

нили). Мы узнали их названия только после того, как пришли после акции ко мне домой и сверились с текстом И Цзина. То есть, все знаковые «указания» И Цзина осуществлялись нами во время акции совершенно бессознательно. Более того, в пространстве гексаграммы «Разорение» у меня стоял на снегу магнитофон, записывающий акцию. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, придя домой после акции, что у магнитофона оказалась сломанная клавиша «паузы»!

Сам я во время акции стоял в пространстве гексаграммы «Исполнение» и поэтому, видимо, удостоился чести созерцать целевую мыслеформу И Цзина — двух рыбок в круге (ян/инь): когда такси остановилось в конце аллеи и открылась дверца, то вместо Лены я «увидел» вышедших из машины мужчину и женщину. Разумеется, это было просто совпадение: мужчина и женщина проходили мимо машины и у меня сложилось такое впечатление, что они из нее вылезли. Лена зачем-то сначала открыла дверь, а потом уже стала расплачиваться с таксистом внутри машины. Вылезла же она из машины уже после того, как мимо (перед капотом) машины прошли мужчина и женщина. Однако «волшебный счетчик» И Цзина так «подогнал» цепь совпадений, так детерминировал пространство вокруг своей мандалы руководства, что мужчина и женщина прошли именно в тот критический момент, когда открылась дверь машины и должна была вылезти Лена Елагина.

Во время этой акции я имел еще одно, уже чисто галлюцинаторное, «созерцание», возникшее в моем индивидуальном созерцательном объеме в результате, как мне кажется, столкновения двух мандал руководства — христианской апокалипсической и И Цзиновской. Связано это переживание с мыслеформой «света» как с некоей умопостигаемой идеей (наряду с «бытием», «временем», «языком», «сущим» и т.д.). Собственно, в разных состояниях «света» этого «умопостижения» и происходили у меня те психоделические перцепции, которые я описываю в «Каширском шоссе». Где-то дня за три до акции у меня начались любопытные ментальные состояния, которые я называл «Поражение света». Заключались они в том, что «свет умопостижения» как общая среда ментальности — где-то там, на самом дальнем (и одновременно самом близком, внутреннем) горизонте моего ментального восприятия самого себя и мира вдруг начинал меркнуть, темнеть, причем не визуальный, а именно ментальный фон, на котором возникают психоделические фантомы, становился как бы черным, радирующим чернотой. То есть, за всем видимым миром как бы начинал идти черный снег, густой туманной

завесой начинали падать хлопья черного снега, и эта черная завеса целиком закрывала, съедала ментальность как таковую.

Особенно сильное почернение этого ментального фона было в день акции, когда я ехал днем домой на такси. «Поражение света» не было тяжелым переживанием, оно было контролируемым и отчетливо связывалось с языком, называнием. Я мог усиливать это «почернение» (все реальные предметы, разумеется, оставались обычными, видимыми) констатацией, что, вот, мол, «поражение света» — и черный снег продолжал падать, создавая во мне ощущение небытия, темной эмбриональной нирваны. Но я мог и прекратить это называние — тогда прекращалась и натурализация «светового поражения».

В библейской традиции «конец света» в каком-то смысле является завершающим этапом созерцания (так построена библейская мандала руководства КБ: все упирается в апокалипсис). В И Цзине же такой мыслеформы нет, поскольку там вообще нет линейности и и-цзиновская ментальность разворачивается по бесконечному кругу. Гексаграмма «Поражение света» стоит под номером 36, корреспондируя с предпоследней «переставленной» 63-ей гексаграммой, которая имеет апокалипсическое название «Уже конец», но после нее следует «последняя» гексаграмма — 64 — «Еще не конец», переходящая в первую — $6+4=10$. Тем самым, открывается новый круг, который остается бесконечно незавершенным: четвертая гексаграмма И Цзина называется «Незавершенность», указывая, тем самым на число 4 как на ключевое число И Цзина. Таким образом, «конец» помещен внутрь этого круга в качестве эпизода перемен: сумма от сложения цифр 36 и 63 гексаграмм дает цифру 9 — последнюю «полноценную» цифру в десятичном цифровом ряду. Причем, в 36-ой гексаграмме есть позиция, дефинированная как «Поражение света ЦЗИ-ЦЗИ», то есть света «конца». Таким образом, в Книге перемен отчетливо сформулировано, что «конец света» — чисто языковой феномен и его следует понимать как «конец света прелести» (в данном случае гносеологической). В И Цзине есть восьмая гексаграмма, которая называется «Приближение». Смысл ее состоит в том, что она описывает состояния приближения чего-то невероятно важного, главного, вроде конца света, но последняя ее позиция толкуется как «приближение, лишненное главного», то есть лишненного реальности: в комическом смысле вместо «жены на багряном звере» по аллее проезжает Лена Елагина в такси. В каком-то смысле по этой гексаграмме у меня был построен ящик «Музыки согласия», который мы использовали в акции «Такси» (кроме того, что он еще похож на восьмиголового «зверя»

из Апокалипсиса, его семантика более сложная, а целевая символика вообще снимает всякую сакральность, так как она представлена в этом ящике в виде внешнего футляра, в то время как сакральное мыслится, напротив, скрытым, т.е. находящимся внутри футляра).

Перед тем как осуществить акцию «Такси», где-то за час мы с Макаревичем пошли на Звездный бульвар снимать для слайд-фильма «Подготовка» огромную трансформаторную будку, снабжающую электроэнергией восточную часть Москвы. В этом смысле ее символика — это как бы «начало света» и в слайд-фильме она была помещена после слайдов акции «Такси». Ящик же «Музыки согласия», который стоял рядом со мной во время акции «Такси», символизировал как бы «конец света» с точки зрения библейской мандалы руководства КБ, но с точки зрения мандалы руководства И Цзина — «Конец света прелести».

В результате наших манипуляций с трансформаторной будкой на Звездном бульваре и с черным ящиком «Музыки согласия» в аллее напротив Хованского входа ВДНХ образовалось еще одно довольно мощное ментальное пространство, где «столкнулись» две мандалы — библейская апокалипсическая и И Цзиновская со снятой эсхатологией.

Во всяком случае, когда я нагнулся к ящику и включил находящийся внутри него приемник, я на мгновение оказался как бы в совершенно другом, иносветном, галлюцинаторном пространстве и увидел около ящика довольно яркую вспышку малинового цвета, после чего «иносветное» пространство исчезло, было как бы «сожжено» обыденностью начавшего звучать радиоприемника, находящегося внутри «сакрального» футляра. То есть, ментальность библейского пространства «конца света» была как бы наглядно «сожжена» через десакрализацию ее мандалы руководства (в виде «футлярности» ящика «Музыки согласия») и сакрализацию обыденного (внутри ящика, на «сакральном» месте находился обычный радиоприемник). Здесь опять сработал механизм «пустого действия» шуньявады:

* В пределах дискурса шуньяваду можно определить как «мандалу», но в отличие от любых других мандал, в ней нет предикатива «руководства». В качестве ментальной мыслеформы она не то, чтобы энергетически «сильнее» любых других мандал, а просто они для нее не существуют так же, как не существует и само коллективное бессознательное (на уровне ментальности шуньявады). Ее спекулятивная артикуляция по отношению к КБ может быть представлена в виде «дыры» в коллективном бессознательном, как бы «сквозь» которую индивидуальное сознание перцептивно и функционально связано с согласованной реальностью, со сферой непосредственного. И в этом смысле можно рассматривать шуньяваду как объем непосредственного в индивидуальном сознании (в то время как все остальные мандалы руководства КБ в той или иной степени искажают восприятие, а иногда и поведение индивидуальности в сфере непосредственного).

деметафоризация любых знаковых констелляций через метафоризацию «пустого действия», во время протекания которого демонстрационное поле сцепляется со сферой непосредственного. В данном случае со звучанием случайной музыки из ящика «Музыки согласия», которая, хоть и эстетизирована, но по отношению к сверхсакральной символике всех остальных атрибутов акции выступала как «непосредственность», или, во всяком случае, с весьма скромной опосредованностью: только внимательный взгляд сумасшедшего герменевтика может усмотреть в опере Берлиоза «Бенедикт и Беатриче» аббревиатуру из трех «Б» — «БББ», что напоминает число «666», и кроме того, отсылает к триграмме «Земля» и второй гексаграмме И Цзина «Исполнение». Во всяком случае для нас эта музыка была просто аналогом «смотрения на облака, лес и т.д.» во время «пустых действий» наших загородных акций.

В результате наших довольно скромных исследований в области коллективного бессознательного, лично я пришел к выводу, что включение в эстетическую деятельность мандал руководства КБ, несмотря на все странности и «магические» эффекты, не представляется продуктивным прежде всего потому, что «съедается» огромная зона индетерминированности, т.е. сфера непосредственного. Акции превращаются в театральные постановки, а акционеры — в актеров, «повторяющих» (в режиме дорецептивных артикуляций) те или иные сакральные тексты. «Суфлером» в данном случае выступает какая-либо мандала руководства КБ, воздействующая на поведение «актера» мало изученным образом, возможно, через рудимент его продольного мозга, который, скорее всего, может претендовать на роль органа, связывающего отдельную личность и общество в языковое коммунальное тело коллективного бессознательного (в стаю крыс или что-то в этом роде).

Почему так важна, во всяком случае, для практики «Коллективных действий», зона индетерминированности, т.е. зона случайных впечатлений? Эта случайность, рассеянность и вообще невовлеченность в программу сюжета какого-то конкретного знакового выражения характеризует непосредственность (т.е. демонстрационную зону предожидания, или в категориях действия — пред-подготовки) как зону сознания, которое свободно от самого себя. В этой зоне работа сознания еще как бы не начата. Именно в этой зоне возникает возможность «взгляда со стороны», причем с какой стороны — выяснить невозможно, ибо выяснение — это уже начало рефлексии. Здесь сознание не вовлечено в само себя, а принадлежит, как часть, какому-то саморазвивающемуся содер-

жанию, оно только «есть» в своей отстраненности, и эта отстраненность, «взгляд со стороны» ощущается как положительное непонимание.

Конечно, эмоциональная просторность пред-ожидания, область свободных впечатлений и ассоциаций, где преобладают реакции типа: «Эх, ты!», «еб твою мать!», «А, вон, вон!...» и т.п. осознается во всей своей замечательности только в том случае, если мы проходим сквозь нее и оказываемся в более узких рамках программы, где, собственно, и формализуется то место, откуда мы и смотрели «со стороны», находясь внутри зоны пред-ожидания. Переходя эту границу и оказываясь в сюжете выражения, который конечен во времени, обозрим, просчитан и в конце концов воспринимается как что-то чуждое (ведь временность любого сюжета — это и есть абсолютная отстраненность, помеха, пауза), мы, однако, обретаем очень важный опыт содержания, смысла, какой-то пространственной, а не временной, полости, где мы только что побывали и которая с этой новой территории, где мы являемся не более, чем персонажами отстранения, воспринимается с очень важными качествами недостижимости и бесконечности — качествами пространства, а не времени.

Затем мы попадаем в зону ожидания (подготовки) — т.е. в то место во времени, на тот участок пути, где мы находимся на территории нашего же собственного отстранения, как бы внутри нашего «взгляда со стороны» и, естественно, перестаем что-либо видеть. Вместо свободного, рассеянного рассматривания мы начинаем понимать. С этого момента перед нами возникает картина, правда, пока еще пустая (ожидание), но то, что это уже не реальность (просторность), а ограниченная нашим сознанием поверхность чьего-то чужого замысла — понимается однозначно. Комфорт случайного и необязательного кончается и начинается чья-то тягомотина, чей-то смысл, противопоставленный нашему экзистенциальному смыслу. То есть, если в зоне пред-ожидания мы были внутри смысла, то теперь, в зоне ожидания, мы находимся как бы напротив него, как на базаре, и, естественно, когда начинается собственно показ чего-то, придуманного авторами, сознание тут же включается на оценочность (а это сколько стоит, а это?), соотносимость, возможность уклонения и т.д. То есть в зоне пред-ожидания, пред-подготовки каждый из нас (и авторы, и зрители) — автономные индивидуальности, заброшенные в свою собственную индетерминированность.

При включении же в замысел акции какой-либо программы из мандал руководства КБ мы оказываемся заброшенными в коммунальность,



детерминированность уже на этапе пред-ожидания и пред-подготовки, т.е. оказываемся заброшенными в «неслучайность», где граница между жизнью и искусством совершенно стерта, а факт «искусства» (или факт «жизни» — в данном случае все равно) оказывается «нулевым», энтропическим, так как исчезает напряжение одного (жизни) по отношению к другому (искусство). Что, разумеется, делает бессмысленным занятия эстетической практикой (конечно, только при описанном положении дел).

В отличие от бессознательного коммунального тела, автономия индивидуальности определяется прежде всего диалогической недосказанностью, которая мыслится и чувствуется как бесконечный процесс, развертывающий диалог. Именно эта недосказанность, неокончатальность и порождает личность, другого. То есть некая положительная экзистенциальная неясность (в искусстве, а не в жизни!), верхняя перспектива, в глубине которой угадываются едва различимые подробности каких-то новых далей, новых конструкций (а не известных уже мандал руководства КБ, порождающих коммунальность), и является необходимым элементом культурного диалога, в котором мы все нуждаемся.

...

Закономерно задаться вопросом, почему эстетическая деятельность, автономия которой описывается в известных категориях, включая и концептуальную эстетическую деятельность КД (от традиционной эстети-

ки концептуальная деятельность отличается просто большим набором средств выражения, несколько иным отношением к предметности контекста и рядом других особенностей), оказалась связанной с какой-то шуньявадой, мандалами руководства КБ и вообще «магией»? Думаю, дело здесь в том, что изначальная посылка авангарда на уровне теоретического решения реализации концептуального замысла неизбежно включает в себя (среди составляющих эстетического акта) и какую-то идеологию, так как, если речь идет прежде всего о работе с конвенцией, с ее языком, то в той или иной степени осознанности концептуалист должен учитывать, что любая конвенциональная артикуляция идеологична и, следовательно, эстетическая результативность концептуального акта не в последнюю очередь зависит от того, насколько этот акт (его идеология) напряжен в качестве «контр-партнера» по отношению к идеологиям той конвенции, в которой он осуществляется. Поэтому и в первоначальной посылке, и в ходе эстетического процесса идеологичности избежать невозможно, соответственно невозможно избежать диффузий, «загрязнений» концептуальной эстетики другими сферами деятельности (в том числе и «магией»). Но в любом случае, пройдя даже самые сложные лабиринты взаимодействий с какими-то другими автономиями, окончательный результат концептуального акта возвращается в культуру как эстетически автономный. Поэтому мы относимся к «магической» стороне наших акций как к вынужденной (лабораторной) «грязи», оседающей только на страницах необязательных комментариев, подобных этому, которые просто вскрывают отдельные эпизоды «кухни» эстетического процесса — и не более того.

1986



ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

«Мотив павлина и кондора на экспозиционном знаковом поле г. Москвы»

«В младенчестве моем
она меня любила...»

А.С.Пушкин. Муза.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОСТАНКИНСКОЙ
ВОДОНАСОСНОЙ
СТАНЦИИ
ВЕДЕТ СУ — 40...

Надпись на заборе

— —
— —
— —

№ 48 ЦЗИН (Колодец)

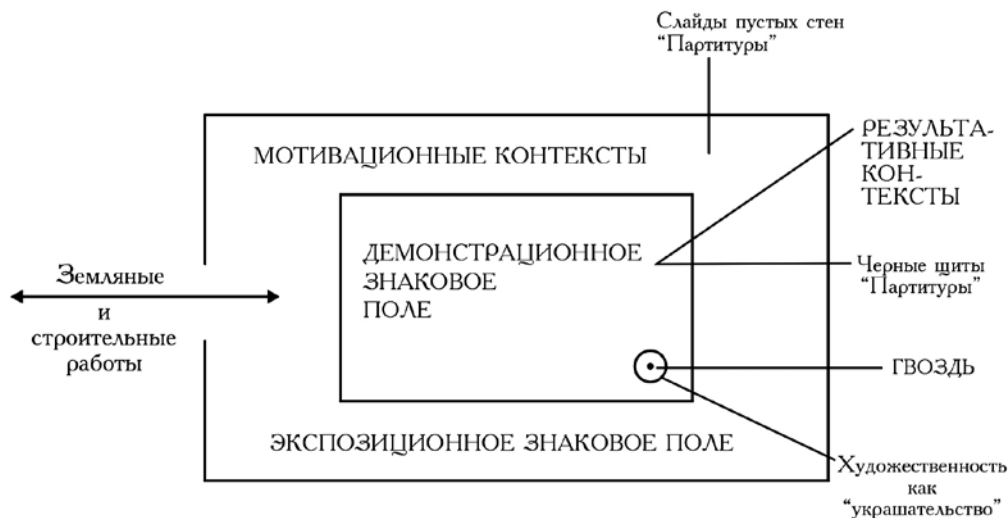
И ЦЗИН

«Она сложила руки на
коленях, словно отвеча-
ла урок, и начала.
Но голос ее звучал как-
то странно, будто кто-то
другой хрипло произ-
носил за нее совсем
другие слова:
ВОТ ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ ЖУК...»

*Л.Кэрролл.
Приключения Алисы
в стране чудес*

Традиционный эстетический дискурс направлен чаще всего от языка к сущему, то есть критик как бы разглядывает сквозь произведения того или иного автора действительность — природу, социальные отношения, идеалы, не забывая, конечно, описать — с учетом своей «смотровой площадки», на которую он заброшен временем, — и особенности устройства той «линзы» (стиля, направления художника), сквозь которую он судит об эпохе.

Концептуализм, совместив в себе критику и артистическое поведение, выработал в результате этого необычного симбиоза и особый концептуальный дискурс, границы которого оказались чрезвычайно широкими (особенно в советском концептуализме, так как советские концептуалисты 70-х — начала 80-х годов действовали по принципу «голь на выдумки хитра» — самостоятельно писали исследования о своих работах — ведь внешней критики практически не существовало). В этих исследованиях, как правило, тоже артикулировалось некое сущее, но сущее как бы все время ускользающее. Концептуальный критик, постоянно вопрошающий в художнике-концептуалисте, не мог указать на сущее как на что-то окончательное, как на то, что он на самом деле имел в виду — каждое указанное, отрефлектированное место в дискурсе становилось знаком и, следовательно, не сущим, а продолжением концептуальной работы, ее контекстуальной части, все время расширяющейся.



В конце концов дело дошло до того, что граница между языком (опосредованностью) и сущим энтропировалась, размылась в полную пустоту. Другими словами, сущее стало «сущим», закавычилось, превратилось в обиходный знак, в обычный языковой феномен, опорную точку, от которой можно было начать «обратный» дискурс — от «сущего» к языку. Причем язык здесь мыслится как некая целевая верхняя перспектива, сложная — по сравнению с «сущим» — и «онтологизированная» данной дискурсивной подменой система отношений, вроде железобетонных конструкций цокольного этажа, а «сущее» — как дно ямы, земля, на которую и должна опираться вся эта верхняя конструкция «обратного» дискурса.

На «возвратном пути» этого дискурсивного усилия «вверх», от «сущего» к языку мы можем позволить себе обнаружить ту самую мучительную для философии кантовскую дорецептивность (или хайдеггеровское «предпонимание»), но уже с некоторой глубиной и культурной проработанностью в виде текстового пространства, способного порождать свою особую предметность на основе свойственной ему проблематики, связанной с природой и видами контекстов (т.е. обозначить этот дорецептивный люфт, его глубинность как мето-или-пра-контекстуальное пространство и сделать его предметом рассмотрения концептуальной критики). Таким образом, мы получаем возможность рассмотреть контекстуальную предметность, онтологию контекста, в то время как традиционная эстетическая критика обычно имеет дело с инструментальной стороной контекста (социальный контекст, исторический, религиозный, искусствоведческий, бытовой и т.д.).

Очень важно, что контекстуальная предметность обнаружилась в процессе развития концептуального дискурса как бы сама собой, по необходимости: «уйдя» невероятно далеко от концептуальной картины в ее толковании, художник-концептуалист оказался как бы в безвоздушном, беспредметном пространстве и, полностью потеряв ориентацию (у Кабакова есть работа, которая называется «Бывают такие состояния, когда не знаешь, где право, где лево, где верх, где низ»), ему ничего не оставалось, как опереться о стену, на которой эта картина висит.

Со мной это произошло в буквальном смысле слова. Когда я делал экспозиционный ряд к акции «Партитура», состоящий из четырех черных щитов, то, прибывая их к стенам длинными гвоздями и обматывая гвозди белыми веревками, я эстетически почувствовал, что места крепления этих щитов к стенам гвоздями и есть те эстетические точки опоры, предметность изображения (и план содержания) экспозиционного ряда «Партитуры»: место крепления, крепёж — чисто технический момент, техницизм, оказался для меня эстетическим. «Оперевшись» таким образом о реальную стену, я обнаружил ее как эстетически напряженную и определил ее как экспозиционное знаковое поле, которое соприкасается (в буквальном смысле через гвоздь) с демонстрационным знаковым полем, состоящим из материальной предметности концептуальной картины и текстовой предметности ее интерпретаций (контексты). Причем в моем случае с черными щитами «Партитуры» текстуальная предметность (контекст) оказалась абсолютно «непрозрачной»: о ней ничего нельзя сказать, кроме того, что она самоопределяется как демонстрационное поле с замкнутой на себя же художественностью как чистым «украшательством» (обмотанные веревкой крепежные гвозди). Но с другой стороны, выраженная только как «демонстрационность» демонстрационного поля, в расширенной предметности всей акции «Партитура», а именно в сочетании с ее слайдовым рядом (30 слайдов, изображающих обои стен той же комнаты, в которой после съемок этих слайдов были повешены черные щиты, закрывшие собой снятые на слайды участки обоев), она, эта «демонстрационность», породила знак — составленный из черных щитов и слайдов стен, — указывающий на стены как на экспозиционное знаковое поле, т.е. дала возможность ввести в концептуальный дискурс это понятие, оперируя которым мы можем получить конкретные, вариативные артикуляции текстового пространства дорецептивного «люфта». Иными словами, парадигматика, открывающаяся с введением этого понятия дает нам возможность проработки «цокольного этажа» нашего дискурсивного усилия «вверх», от «сущего» к языку.

Первое, что бросается в глаза при исследовании природы экспозиционного знакового поля, это то, что оно, в отличие от демонстрационного знакового поля (картины и текстовые комментарии к ним), принадлежит не художнику, а государству, и его предметность практически не знает границ: стены квартир и мастерских, музеев, заводов, институтов (и внешние, и внутренние), земля, принадлежащая колхозам и совхозам, дороги, одним словом все, включая водные ресурсы и воздушное пространство — разве только снег и огонь остаются бесхозными, во всяком случае о них нигде не сказано как о государственной собственности.

Далее можно с определенностью сказать, что все, что находится, и все, что происходит на этом экспозиционном знаковом поле поставлено в отношении мотивационных контекстов к художественному творчеству. Причем предметность, онтология этого мотивационного контекста (как и всякая предметность) артикулирована не через социальные, политические или какие-либо иные связи и отношения, а через предметные изменения — строительство дорог, рытье канав, ям для фундаментов, строительство зданий, распахивание полей и т.п. Экономические же, социальные и политические связи и отношения являются инструментальными по отношению к предметности и ее изменениям на экспозиционном знаковом поле (поле мотивационных контекстов). Изменения этих связей и отношений реально артикулируются в разного рода перестройках экспозиционной предметности.

В нашем регионе как в самом идеологизированном, эти предметные изменения на экспозиционном знаковом поле (потому-то оно здесь и выявилось как напряженно знаковое) случались, как известно, довольно часто и носили кардинальный характер, причем мотивировались они не экономическими соображениями, а идеологическими (например, перedelывание зданий церквей под склады, потом под музеи и т.д.).

И однако с полной определенностью можно сказать, что любая перестройка в своей предметности всегда шла (и идет) по одним и тем же законам: роется яма для фундамента здания, строятся подземные коммуникации и само здание, прокладываются новые (или исправляются старые) дороги. Предметность этих земляных и строительных работ обязательна для любого серьезного изменения на экспозиционном знаковом поле. Более того, рассматривая их и как знаковые изменения, вполне можно задуматься и о том, в каком причинно-следственном отношении они находятся к изменениям политических, экономических и т.п. структур. Вопрос, что чему предшествует, остается открытым.

Обычно художник, ангажированный социальной конъюнктурой, связан с экспозиционным знаковым полем функцией «украшательства» — либо он его «украшает» с помощью какой-либо устоявшейся традиции пейзажами или психологическими портретами (и тогда он практически «непроницаем» для мотивационной контекстуальности экспозиционного знакового поля), либо он «отражает» всякого рода перестройки на этом поле (также через конкретную предметность — «украшая» или «критикуя» эти перестройки) — и тогда он «проницаем» для мотивационного контекста, но «проницаемость» эта допускается официальной культурой только до той степени, пока она не выходит за рамки функции «украшения» (включая и «критические» работы, «украшательство» которых носит диалектико-корректирующий характер и определяется уже как «красота» или «безобразие». «Безобразие» на экспозиционном поле не допускает, рассматривается либо как хулиганство, либо как бездарность).

Неангажированные социумом (подпольные) художники, в Советском Союзе предоставленные самим себе, на протяжении многих лет находились в совершенно свободном отношении к экспозиционному знаковому полю, которое их окружало. Они могли как угодно экспериментировать со степенями «проницаемости» мотивационного контекста на своих демонстрационных полях, могли делать любое «безобразие» у себя в подвалах и на чердаках, и даже, более того, могли довести степень этой «проницаемости» до абсолютной, как это случилось с Кабаковым.

В начале 70-х годов (или даже раньше) Кабаков начал рисовать картины и альбомы с пустым белым центром (изображение помещалось по краям). Социальный мотив и мимезис такого рода изображения в демонстрационном поле Кабакова как поле личного результативного контекста понятен и неоднократно отрефлектирован им самим: не вылезай в центр, задавай! Приблизительно тот же самый мотив и мимезис, что и в «Современной идиллии» Салтыкова-Щедрина. Но возникает вопрос: откуда взялась именно такая предметность его работ, такая форма? Обычно художник отвечает: интуитивно, озарило и т.п. То есть сфера формообразования (для авангардиста), мотив предметности всегда сакрален и коренится в таких понятиях, как талант, дар и т.п.

Достаточно широкий, панорамный взгляд нашего дискурса, а главное — жанр критического вымысла и необязательность постулируемых умозаключений, позволяет нам обнаружить (разумеется, при сильных допущениях), где «коренится» мотив предметности художника, который

сделал свое демонстрационное поле абсолютно прозрачным для экспозиционного поля, то есть позволяет нам обнаружить его «сакрального» инспиратора, по отношению к которому он выстраивал свой онтологический (формальный) мимезис.

Этот «сакральный» инспиратор (фотографии которого войдут в предметный ряд нашего дискурса как автономного концептуального произведения «Земляные работы») вполне может быть обнаружен напротив «Дома России», т.е. напротив мастерской Кабакова, на углу Сретенского бульвара и Уланского переулка. Он представляет собой историю строительства здания какого-то института или учреждения. История строительства довольно необычна. По словам Кабакова, это здание, по форме очень напоминающее фигуру сидящего кондора с опущенными крыльями, строили лет 20 (с 1968 года), причем лет 15 возились с ямой и фундаментом: грунт оказался рыхлым, сваи проваливались в землю, в яме скапливалась вода, железные рамы ржавели, одним словом лет пятнадцать за забором на углу Сретенского и Уланского зияла отвратительная яма, наполненная ржавыми металлическими сваями, прутьями и водой, которую и созерцал Кабаков из окна своей мастерской, оформляя детские книжки. Стол, за которым он это делает, стоит как раз возле окна, откуда видно это место. Одновременно с тем, как архитекторы, инженеры, прорабы и строители возились вокруг этой ямы, вокруг этих свай и железных соединительных рам фундамента, Кабаков работал над своими рамами и фонами — цикл альбомов «Десять персонажей», картина «Бердянская коса» и т.п., т.е. над работами, предметная художественность которых воплощалась через раму и фон: разрабатывалась очень сложная система рам, рамок и фонов, которые, в сущности, и были предметом рассмотрения этих работ как концептуальных с точки зрения их эстетической автономии (т.е. вне инструментальных контекстов). Приблизительно в это же время на большие белые щиты переносились рисунки из альбомов, в частности — три щита «По краю» (с изображением гуцулов и телег).

Наконец, к концу семидесятых годов фундамент был закончен и здание-«кондор» напротив его мастерской начало строиться. Одновременно с началом стройки у Кабакова на его пустых белых щитах стали проступать разного рода схемы и расписания, сделанные как бы от лица некоего жэковского художника. То есть когда на экспозиционном знаковом поле, где находился кабаковский «сакральный» инспиратор шла возня вокруг ямы, то и Кабаков делал очень экзистенциально-

напряженные, направленные «внутрь», в глубину (в инсайте — «вверх», «в небеса») работы — вспомним его «Небо-1», «Небо-2», «Меон» и все выше, выше до полного исчезновения слов, изображения и даже самих рамок в пустом белом пространстве (альбомы «Десять персонажей»). Но как только кабаковский инспиратор стал подниматься вверх — начали строить само здание института — Кабаков стал делать «чужие», «внешние» работы (в инсайте — «низовые»), причем сначала это были просто сетки с надписями — «Собакин», «Расписание выноса помойного ведра», а потом, когда на его инспираторе приступили к отделочным работам, у Кабакова появились и цветные щиты — соцреалистический реди-мейд. Я помню, написав первые шесть щитов этой серии, он сказал мне при одном из моих последних посещений его мастерской: «У меня все абсолютно изменилось, полная экстраверсия, я могу теперь писать все, что угодно».

Таким образом, хронологически вполне можно усмотреть мотивационную связь, даже полную миметичность между строительством кабаковского инспиратора (поэтапными изменениями предметности на экспозиционном знаковом поле) и формальными, структурными изменениями на демонстрационном знаковом поле Кабакова. То есть можно говорить о том, что предметность структур демонстрационного поля концептуального произведения (в случае его полной «прозрачности» для мотивационного контекста экспозиционного знакового поля) опосредована конкретной предметностью земляных и строительных работ на экспозиционном поле — через тот или иной «сакральный» инспиратор.

Интересно, что в то время, когда стали «прорубать» Кировский проспект, также видный из окна его мастерской, Кабаков как раз начал работать со своими «веревками» (веревка как «дорога»; кроме того, мусор, подвешенный на веревках, в нашем контексте интерпретации может быть понят как аналог тех домов со всей их коммунальной грязью, которые ломали во время прорубания Кировского проспекта, а надписи к этому мусору, включая и работу «Ящик», — как вопль выбрасываемых — или крики тех, кто их выбрасывает — уничтожаемых и ненужных уже вещей из этих домов).

Историю строительства Кировского проспекта тоже можно рассматривать как инспиратор для Кабакова, для становления его жанра «веревки». Интересно, что, когда проспект был закончен — одновременно была закончена и крыша — в виде головы кондора — на институте, на углу Сретенского и Уланского, Кабаков довольно быстро создал свою

инсталляцию «Золотая подземная река», которую сам он оценивает не как напряженно-экзистенциальную, а как чисто культурную работу.

Итак, сделав свое демонстрационное поле абсолютно прозрачным для мотивационного контекста экспозиционного знакового поля, Кабаков получил неожиданно мощный эстетический эффект на уровне формальных структур: сквозь его работы как бы проступили те структурные изменения, которые на самом деле происходили на экспозиционном (государственном) знаковом поле. И в этом смысле Кабакова можно назвать «государственным» художником, то есть художником, отражающим, а не украшающим структурные, глубинные процессы, происходящие на экспозиционном знаковом поле, валентно-синергетическом по отношению к экономическим и политическим событиям и мотивам. Причем следует иметь в виду, что власть знаков этого валентного поля неизмеримо превышает власть знаков демонстрационного поля, так как вся знаковая система экспозиционного поля строится и меняется под влиянием власти вещей, под воздействием жизненной необходимости: в ее строительство задействовано огромное количество людей и организаций — вплоть до самых высших правительственных инстанций.

Вполне возможно, что именно «государственный» характер его работ с выявленными мотивами экспозиционного контекста определил место и успех его работ на Западе: государственные музеи. В то время как место и успех работ Комара и Меламида — частные галереи (во всяком случае, в рассматриваемый нами период), хотя, казалось бы, результативные контексты их демонстрационного поля ярче, нагляднее таковых же контекстов работ Кабакова.

То есть можно сказать, что опредмеченный в формальных структурах мотивационный контекст является в каком-то смысле «онтологическим» (или просто более «добротным», «глубоким») по отношению к результативному контексту, с которым обычно имеет дело и художник, и зритель.

Тот же мотив экспозиционной предметности (земляные и строительные работы) можно легко обнаружить и в истории «Коллективных действий». Но если Кабаков работал с архетипом «дом» и «дорога» (то есть с советской городской коммунальностью), то КД, проводя свои акции за городом, на экспозиционных знаковых полях, принадлежащих колхозам, работали с архетипом «еда», «пища», и — через интерпретацию своих акций (но не через их событийность!) — выявляли экспозиционные структуры советского агропромышленного комплекса как «пустого действия»

(в метафорическом смысле как малорезультативного и пустого дела с экономической точки зрения).

Основным «сакральным» инспиратором, формообразующим структурную предметность наших загородных акций — копание ям и т.п. (кроме, разумеется, сельскохозяйственной выставки, рядом с которой живем мы с Панитковым) — была также история очень длительного и мучительного рытья какого-то колодца необычайной глубины на пригорке возле кинотеатра «Космос», мимо которого я каждый день с 1976 по 1980 год ходил на троллейбусную остановку, чтобы ехать на службу в Литературный музей. Все эти четыре года на пригорке велись земляные работы. Причем никто толком не знал, что это такое. По охвату работ — вокруг места рытья было наставлено множество строительных вагончиков, над ямой возведена высокая крыша, сама яма была огорожена забором и во время работ, которые велись и днем и ночью, использовалась какая-то роскошная иностранная техника, подъемные краны, морозильные агрегаты и т.д. — местные жители сначала предполагали, что строится второй выход станции метро «ВДНХ». Но когда я однажды заглянул в эту яму, то обнаружил, что диаметром она не более шести метров, дна ее не видно (десятки метров в глубину) и к метро она явно никакого отношения не имеет. Потом выяснилось, что это какой-то временный ассенизационный колодец, через который на очень большой глубине устанавливали новые ассенизационные очистительные агрегаты для всего этого района — Звездный бульвар, улица Королева, вплоть до Останкино. И действительно, в те годы, особенно весной, вокруг кинотеатра «Космос» сильно пахло говном. Интересно, что после того, как работы были закончены (где-то к середине 80-го года), на месте колодца не осталось ни следа, даже простой канализационной крышки.

Именно в годы строительства этого колодца мы ездили за город на Киевогорское поле и делали там акции с выкапыванием ям («Комедия», «Третий вариант», «Место действия» и т.д.), и где-то в 79-м году, после акции «Место действия» — как раз ко времени окончания строительства новой ассенизационной системы и началу работ по ликвидации колодца, — я сформулировал теорию «пустого действия» как внедемонстрационного этапа протекания акции на демонстрационном поле. А в 80-м году, когда работы по засыпанию колодца были закончены, в предисловии к первому тому «Поездок за город» я впервые ввел понятие «демонстрационное поле» и определил некоторые его зоны (разумеется, тогда я не усматривал никакой связи между рытьем ямы и своим теоретизированием).

Наш инспиратор оказался более сложным, чем инспиратор Кабакова, так как он был лишен внешней наглядности (строительство происходило под землей, колодец был потом засыпан, бесследно исчез, впрочем, вонять вокруг к/т «Космос» не перестало — так что вся эта возня с колодцем тоже оказалась «пустым действием»).

Лишенный предметной опоры своего инспиратора (все это, конечно, на бессознательном уровне) где-то в начале 81-го года я стал «копать яму» внутри себя, почувствовав жанровый кризис эстетических инсайтов на Киевогорском поле (после акции «Десять появлений»), пошел в православную аскезу и в конце 81-го года сошел с ума. Однако где-то через год я пришел в себя, и мы опять стали заниматься акциями, но уже делая акцент не на событийности, а на фактографии и документации (акция и слайд-фильм «Звуковые перспективы поездки за город» и вообще акции второго тома «Поездок»).

После своего сумасшествия, лишенный бессознательной, но наглядной опоры какого-либо предметного инспиратора на реальном экспозиционном поле я стал делать акции как бы на «небесах» (особенно это касается акции «М» из третьего тома, «небесность» которой подчеркнул Э. Булатов в своем рассказе «Золотой день»). То есть в отличие от Кабакова, который (бессознательно) все время «опирался» на свой инспиратор (строительство его, впрочем, тоже уже подходило к концу), у КД в тот период практически не было никакого инспиратора и мотивационность наших акций сильно ослабла, мы занимались, в основном, фактографическими и звуковыми структурами, т.е. результативными контекстами. Первоначальный же период, до моего сумасшествия, когда под воздействием «сакрального» инспиратора мы работали на мотивационном контексте («государственном»), выявляя — через интерпретацию — систему советского агропрома как «пустого действия» (ведь наши акции проводились на колхозном, государственном поле) — наши структуры были также «прозрачны» по отношению к экспозиционному знаковому полю и мотивационно очень напряжены. Что было сразу же почувствовано на Западе: именно этот цикл загородных акций был опубликован Ф.Ингольдом в швейцарском журнале «Кунст Нахрихтен» (1980) — журнале академическом, «музейном» и в каком-то смысле «государственном». В этих акциях и автор статьи, и издатель журнала почувствовали (но не осознанно) их государственную миметичность, т.е. что они отражают реальное положение дел на экспозиционном знаковом поле региона («пустотность» советского агропрома, хотя такой прямой рефлексии

не было ни в наших интерпретациях, ни в статье Ингольда — все это было очень сильно опосредовано эстетически автономной рефлексией, но структуры были достаточно наглядны и говорили сами за себя: например, акция «Время действия» с полуторачасовым вытягиванием семикилометровой веревки с пустым концом на колхозном поле, кроме своего «дзенского» содержания, имела и очевидно социально-метафорическое значение, которого никто тогда не понимал, включая и авторов, так как совершенно не учитывался экспозиционный контекст, т.е. то, что акция проводилась на советском колхозном поле, где картошки сажают много, а в магазины ее попадает мало и качество ее известно).

В 1984 году разрыли всю улицу Кондратюка (прокладывали водопроводные трубы к строящемуся напротив моего дома зданию) — и я опять почувствовал прилив сил и провел — совместно с Ромашко и Сабиной — серию домашних акций «Перспективы речевого пространства». «Сакральным» инспиратором этих акций, как я теперь понимаю, были земляные работы по прокладке подземных коммуникаций и строительство жилого дома напротив. Вероятно, именно потому, что на этот раз строился жилой дом, мне и приходили в голову структуры домашних (а не загородных) акций. Впрочем, к тому времени я уже почувствовал какую-то связь между тем, что происходит на улице у меня за окном, и тем, что происходит в моей голове (замыслы акций), о чем и написал в эссе «Инженер Вассер и инженер Лихт». Но тогда все это еще было на бессознательном уровне, хотя начало работы с осознанной шизофренической синдроматикой относится как раз к тому периоду.

И только после акции «Партитура» и актуализации проблемы контекста в концептуальном искусстве (в нашем с Бакштейном диалоге «ТСО или черные дыры концептуализма», помещенном в сборнике МАНИ «Динг ан зих») мне удалось перевести эту синдроматику в плоскость эстетической автономии. У меня возникла концепция экспозиционного знакового поля как поля мотивационных контекстов, которая позволила посмотреть более общим, отстраненным взглядом на текстовую предметность концептуального дискурса, разворачивающуюся не через инструментальность контекста, а рассматривающую его онтологию и порождающую свою особую художественность («инспираторы»).

С психологической (или психиатрической) точки зрения не трудно понять, почему земляные и строительные работы активизируют творческую деятельность художников-концептуалистов (разумеется, эта связь актуальна и интересна только для тех художников, чьи демонстрацион-

ные знаковые поля «прозрачны» по отношению к экспозиционному полю), если эти работы проводятся рядом с местом, где они живут. Панитков, например, придумал акции «Изображение ромба», «Выстрел», «Ворот» и «Ботинки» как раз в то время, когда у него раскопали весь двор, прокладывая под его домом какие-то трубы (как обычно, такие работы у нас ведутся не один год).

Бывают еще более дальние, опосредованные связи между концептуалистом и его «инспиратором» (правда, здесь мы уже делаем совсем широкие шизоаналитические допуски). Когда я рассказал недавно В.Сорокину свою концепцию об инспираторах, он вспомнил, что стал писать свои тексты в то время, когда начали строить его кооператив в Ясенево, причем его дом входит в комплекс трех жилых домов (построенных в виде трех параллельных полукружий), школы и магазина, которые все вместе — как недавно сказал ему его знакомый — сверху выглядят как четыре буквы «СССР». Вполне можно усмотреть связь между невероятно долгим (более десяти лет) строительством одного только фундамента музея Дарвина и концептуальной деятельностью Н.Алексеева и М.Рошала — их дома находятся рядом с этим местом.

Но есть еще и такая степень опосредованной связи между системами «инспираторов», например, «опредмечивающих» культурные и экзистенциальные отношения советских и иностранных концептуалистов с «прозрачными» демонстрационными полями (в каком-то смысле речь идет просто о наглядности «свинчивания» одной культуры с другой, о чем я писал в эссе «С колесом в голове»), при которой предметность экспозиционного поля обнаруживается (может быть усмотрена в жанре критического вымысла) как результативный контекст нескольких демонстрационных полей — разумеется, при условии, если читатель хорошо знаком с произведениями, о которых идет речь. Эта предметность и является «Земляными работами» — автономным концептуальным произведением в виде прилагаемого нами ниже фотомаршрута от ВДНХ до Тургеневской площади. С другой стороны, все эти переходы, ассенизационные надземные сооружения, эстакады и т.п. можно рассматривать и просто как отдельные достопримечательности московских пейзажей (а не знаковые концептуальные ракурсы), где я люблю прогуливаться и мимо которых мы прогуливались недавно вместе с Сабиной поздним декабрьским вечером.

Январь 1987 г.

...

Следующий за этим текстом ряд фотографий представляет собой изображение различных «сакральных» инспираторов, связанных единым мотивом, который можно назвать «Мотив павлина и кондора на экспозиционном знаковом поле г.Москвы». Еще раз хочется отметить, что сюжет этого фоторяда опирается на результативные контексты следующих фрагментов и произведений:

76-я глава романа У ЧЕН ЭНЯ «Путешествие на запад» (эпизод о Будде, павлине и кондоре-оборотне: павильоны ВДНХ — «советский павлин», кондор — кабаковский инспиратор на Тургеневской площади в виде здания—«кондора»).

Перформансы «Коллективных действий».

Творчество В.Сорокина («путем говна» — фото наземных ассенизационных(?) сооружений).

И ЦЗИН (станция м. «Щербаковская», ротонда которой расположена в центре триграммы «Земля», образованной шестью жилыми зданиями).

Работа В.Янкилевского «Квартира № 48».

Творчество И.Кабакова.

Необыкновенные жизненные и фотографические приключения А. М. и С. Х., происходившие в Москве и Руре в 1984-1986 г. г.

...

Список фотографий

1. Ассенизационное (?) сооружение напротив Южного входа ВДНХ.
2. Ассенизационное (?) сооружение на углу ул.Королева и ул.Цандера.
3. Жилой дом на углу ул.Цандера и ул.Кондратюка. «Инспиратор» домашних перформансов КД.
4. Место возле к/т «Космос» (начало ул.Кондратюка), где находился «инспиратор» КД 1976-1980 гг.
5. Станция метро «Щербаковская».



6. Подземный переход на ул.Лобачека (бывшая «Проезжая»; я жил на этой улице приблизительно с 1956 по 1960 год).
7. Выход из подземного перехода на ул.Лобачека.
8. Бетономешалка (?) на строительной площадке между ул.Лобачека и Русаковской улицей.
9. Эстакада над Русаковской улицей (слева — жилой массив, где находится мастерская В.Янкилевского).
10. Под эстакадой.
11. Вид с Русаковской улицы на площадь трех вокзалов и Кировский проспект, упирающийся в «Дом России», в котором находится мастерская И.Кабакова.
12. Здание—«кондор» на Тургеневской площади («инспиратор» Кабакова).
13. Вид на здание—«кондор» со Сретенского бульвара.
14. Вид на здание—«кондор» из окна мастерской Кабакова.
15. Здание какого-то еще неоткрытого ведомства (предполагалось, что военного) на Тургеневской площади рядом со зданием—«кондором».

Фото Е. Елагиной
15 марта 1987 г.

РЕЧНЫЕ ЗАВОДЫ СОВЕТСКОЙ ХАРИЗМЫ

краткий шизоанализ истории «Коллективных действий»

...групповые божества.

Сходное явление наблюдается в классических системах древней Индии ..., имеющих ряд групп с фиксированным числом божеств в каждой...

Иногда в пределах такой группы один из богов может иметь титул «главного» (или «первого») ... возглавляет группу из пяти богов... в 60-летнем цикле Юпитера...

Б.Я.Волчок. Протоиндийский бог разлива

Бык замечен.

Название третьей сцены из «10 картинок о поиске быка». Коань Ши-юань

...

— Здесь молодцы из Ляншаньбо!

Ши Най-Ань. «Речные заводы»

— Ах, товарищи, коровы и быки, До чего вас довели большевики!

А.Есенин-Вольпин

...

ЗНАЮ:

Круг на воде — Серебряный,
Дерево — Петр Борисович
Сурин,

Нос — Самсон Коплянов,
Веки — Крапивин,
Луч — Шульман.

И.Кабаков. Альбом «Щедрый Бармин»

Если посмотреть на язык как на синергетически меняющийся организм с редуцированной сакральностью, отделив его от естественного горизонта событий, естественного хода вещей через формулу «В начале слова было слово...», то, используя несколько «смотровых площадок» (мировоззренческих систем), можно построить — в жанре критического вымысла — любопытную картину взаимосвязей креативных групп, участвующих в этом синергетическом процессе, который так или иначе связан с изменениями экономической системы потребления и распределения в том или ином обществе как идеологической (языковой) структуре.

Наиболее отчетливо эти группы и взаимосвязи могут быть усмотрены в синергетике советской харизмы, где идеологизированными являются экономические отношения (и прежде всего агропромышленный комплекс) и где, следовательно, «языковыми площадками», с которых лучше всего просматриваются эти взаимосвязи, являются две фундаментальные мировоззренческие системы: протоиндийские культы буйволов, быков, коров и т.д. (земледелие и скотоводство как основа экономики) и И Цзин (отношения, т.е. групповая комбинаторика).

Естественно, что предметом рассмотрения должен быть храм, ман-

дала, где хранится (или хранилась до некоторого времени) вещественная наглядность харизмы, с которой связаны наши креативные группы. В эссе «ВДНХ — столица мира» я уже писал о том, что такой мандалой является ВДНХ.

Каждая харизматическая наглядность, вещественность связана с двумя типами креативных групп: группой, которая создает эту наглядность (не зная истории создания ВДНХ, мы, естественно, не можем ничего сказать об этой группе), и с группой разрушающей, десакрализующей (на уровне языка) эту наглядность. Причем возникновение этой второй, «демонтажной» группы — при тех отчетливых диалектических основаниях, которые манифестируются в идеологии советской харизмы, — неизбежно происходит на самых ранних стадиях формирования ее вещественности (то есть в советском харизматическом теле изначально заложена его нестабильность).

Здесь я хочу кратко рассмотреть несколько линий «демонтажной» креативной группы, возникших после 1930 года (года XVI съезда ВКПб, закрепившего коллективизацию, т.е. «огораживание» крестьян 1929 г.).

Важно отметить, что степень «заземленности», архаичности советской харизмы была столь велика и радикальна, что можно с уверенностью определить тип креативности нашей «демонтажной» группы как «буйволиный», или «бычий», т.е. как самый архаичный (протоиндийский) тип креативной ментальности, который оперирует в своем творчестве простейшими архетипами — «пространство», «время», «свет», «звук», «пустота», «еда», «дом» и т.п. Причем интенция креативных актов этого типа в большей степени реагирующая (отрицательная или нулевая тавтология), чем созидаящая, фантазирующая, которая свойственна антропоморфным («культурным») типам креативности «осевого времени» (К.Ясперс).

Любопытно, что в харизматическом теле ВДНХ есть своеобразный «оберег», как бы «сдерживающий» эту изначально встроенную в его языковое поле идеологическую «язву» демонтажной группы, а именно — павильон «Мясная промышленность», построенный в 1954 году и обозначенный на панорамном плане ВДНХ 43-м номером (по И Цзину — «Выход»). На крыше этого павильона помещен знаменитый огромный бык, которого сдерживает гипсовый титан. Фронтон павильона украшен четырьмя колоннами, в каждую из которых, на крито-микенский манер, вмонтирована голова быка. Эти колонны, так же, как и гипсовый атлет на крыше как бы сдерживают, зажимают быков, так сказать, не дают им «выхода».

Интересно, что после акции «КД» «Выход» (1983 год), собравшей большую часть нашей «демонтажной» группы, которая вышла из троллейбуса на остановке «Козицкий переулок» (от слова «коза»), в еженедельном издании ВДНХ «Новости» под 43-м номером стал обозначаться (или обозначался еще до акции, теперь трудно это установить) уже не павильон — «оберег» «Мясная промышленность», а павильон «Животноводство», в архитектурном декоре которого нет никаких «сдерживающих» символов.

Кроме того, павильон «Мясная промышленность» содержал в себе еще и скрытый, языковой «оберег» от «быка» как «силы». В индуистском тексте Чхандокья-упанишада (Поучения Санаткумары), где речь идет о том, что чего «больше», «сильнее», сказано: «пища больше, чем сила». То есть «бык» как «сила» побеждается «быком» как «пищей». Но там же ряд этих «сильнейших» побеждается и завершается «дыханием» (№ 15). Не исключено, что именно по этой «партитуре» пятнадцатого номера «Поучений Санаткумары» я соорудил в 77-м году «Дыхалку», которая теперь хранится у Макаревича (см. год его рождения в таблице ниже) и Е.Елагиной. Заслуживает внимания — по контрасту с вышеупомянутой архаикой — парижское кафе «Бык на крыше», где в 20-30-е годы собирались дадаисты и сюрреалисты. В нем до сих пор висит картина Пикабиа тех времен. В 1919 году Д. Мийо пишет балет «Бык на крыше» (активный год для парижского этапа дада). Вряд ли есть основания сомневаться в «демонтажной» идеологии дадаистов по отношению к предшествующей им традиции. И весьма знаменательно — в соотнесенности с этими парижскими «быками» — появление на ВДНХ в 1954 году павильона с быком на крыше (хотя на первый взгляд такое соотношение — между парижским дада и сталинским стилем — кажется совершенно диким; впрочем, 54-й год в каком-то смысле является годом начала «выхода» из сталинской эпохи).

Можно было бы привести довольно много любопытных креативных «контактов» нашей «демонтажной» группы с языковым полем постепенно слабеющей сакральности советской харизмы. Ограничусь здесь лишь двумя таблицами, по которым каждый из участников этого «демонтажа» может при желании проследить свою «роль» в синергетическом процессе деидеологизации советской агропромышленной сакральности (разумеется, не в качестве суверенного частного лица, которому нет никакого дела до всей этой шизофрении, а в качестве «художника-авангардиста» или «концептуалиста», и лишь на том критическом горизонте, где «аван-

гардизм» рассматривается как форма скрытой идеологической борьбы одного языка с другим).

Таблицы построены по шестилетним циклам, так как в европейском регионе креативная ментальность символизируется цифрой «6» (седьмой день по «Бытию» — день «богооставленности», т.е. «декреатизации» языка). Поскольку не исключено, что определенные числовые артикуляции групп и временных циклов в общем языковом поле (начиная с протоиндийских мифологических систем и кончая коммунистической идеологией) основываются на И Цзине, который, с определенными допущениями, возможно, и определяет механизм креативной синергетики, то мы даем в скобках, после указания годов рождения наших «персонажей», названия гексаграмм указанных чисел. Кроме того, поскольку речь идет как бы о «божественном» (т.е. о «несуществующем»), нам кажется уместным ввести для каждого персонажа нашей «демонстрационной» группы и его «небытийный» год (т.е. год, предшествующий году его рождения), а также год, следующий за годом его рождения, т.е. год входа в язык креативной харизмы, причем давать их в виде названий павильонов ВДНХ: со знаком «минус» — предшествующий год (= названию павильона, стоящему на панорамном плане ВДНХ под соответствующим номером), со знаком «плюс» — год, следующий за годом рождения (также в виде названия того или иного павильона).

В панорамном плане агропромышленный комплекс занимает 35 павильонов (последний павильон — № 55 «Механизированный четырехрядный коровник», помещенный в секторе Е6). Из шести возможных линий (по шесть групп на каждой, разделенные шестилетними циклами) для КД на протяжении ее работы были актуальны все шесть линий. Но здесь мы более подробно рассмотрим только четыре линии — 1, 3, 5 и 6 (участие членов групп этих линий просматривается на всем протяжении деятельности КД). Интересно отметить, что 1-я линия «упирается» (по шестилетним циклам) в «Центральный» павильон ВДНХ, который обозначен на панорамном плане звездочкой и является своего рода «нулевым циклом» числовой иерархии павильонов.

...

Как только я допечатал до этого места, ко мне приехал мой ребенок и потащил меня гулять на ВДНХ. Было уже больше семи часов вечера. Мы дошли с ней до вольеров, посмотрели на волка в клетке и пошли мимо фонтана «Золотой колос» по направлению к Хованскому выходу. По до-

⑥

⑤

③

①

“Зерно”
(Разорение)

25

“Технические культуры”
(Беспорочность)

29- Гороховский-

**“ТЕПЛИЩЕСТРОЕНИЕ
И ОВОЩЕВОДСТВО
ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА”**
(+ “Цветоводство
и озеленение”)

(- “=29”)

27

“Мелиорация и водное хозяйство”
(Питание)

31- О. Васильев-

(Сочетание)

“УЧАСТОК ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ”
(+ “ЖИВОТНОВОДСТВО”)

28

“Семена овощных культур, картофеля и посадочный материал”
(Переразвитие великого)

33- Булатов- Кабаков

(Безство)

(- “Животноводство”)

“КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ”
(+“Свиноводство”)

34- В. Некрасов-

(Великая мощь)

(- “Крупный рогатый скот”)

“СВИНОВОДСТВО”
(+ “Овцеводство”)

(- 34)

35- Чуйков- "ОВЦЕВОД-
(Восход) СТВО"
(+ "Птицеводство")

37- В. Пивоваров-

(Домашние)

(- “Птицеводство”)

“КОНЕВОДСТВО”

(+“Кролиководство
и пушное звероводство”)

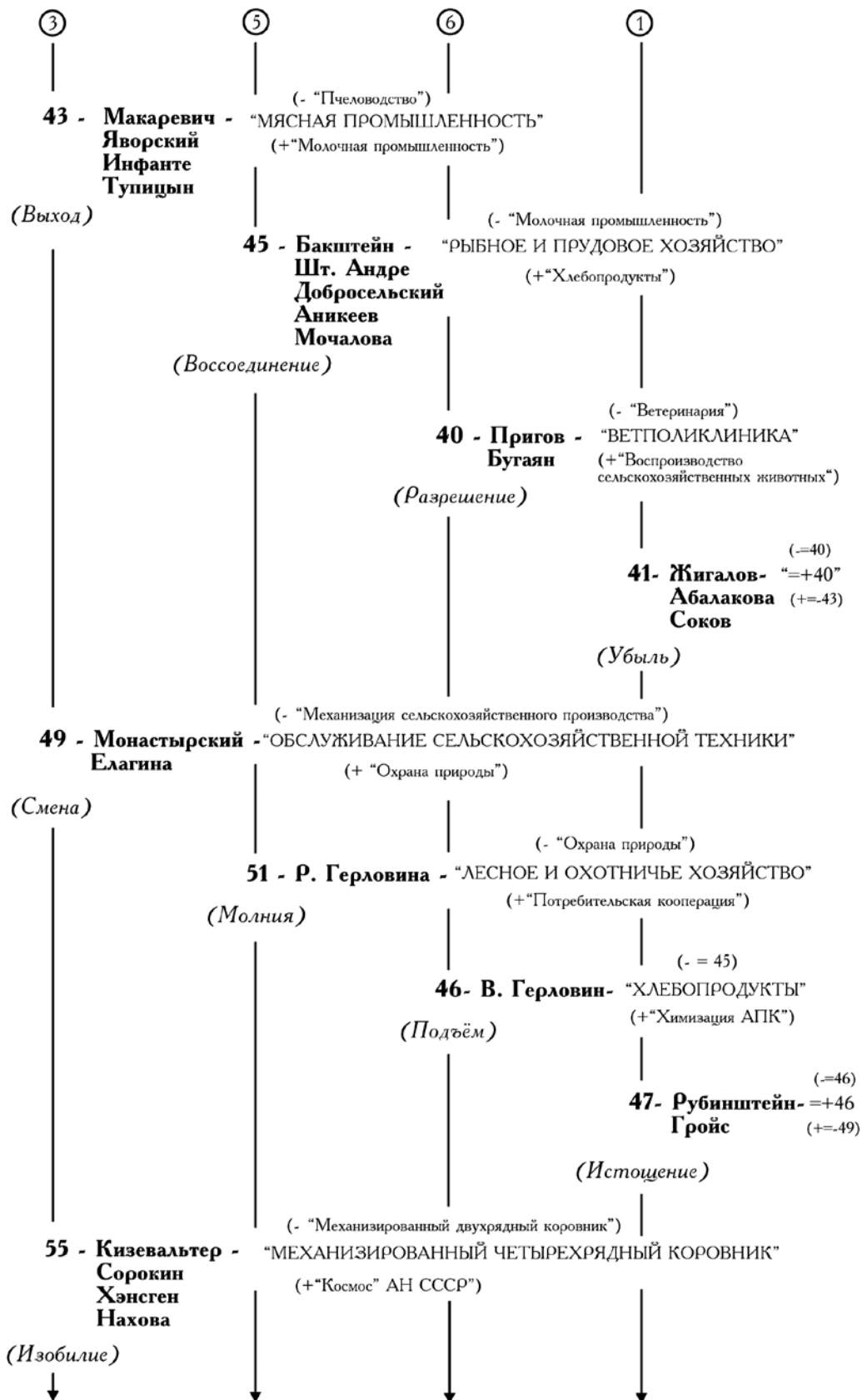
(- "Кролиководство
и пушное звероводство")

“ВЕТЕРИНАРИЯ”
(+ “Ветполиклиника”)

39- И. Пивоварова-

(Препятствие)





61 -
(Внутренняя
правда)

57 - Скерсис -
(Проникновение)

(- "Космос" АН СССР)
"ФИЗИКА АН СССР"
(+"Химия АН СССР")

52 - Панитков -
Ромашко
(Сосредоточенность)

(- "Лесное и охотничье хозяйство")
"ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ"
(+"Механизированный свиноводник-откормочник")

53 - Алексеев -
Константинова
Абрамов
(- " = 52")
" = + 52 "
(= " - 55")

(Течение)

67 -

63 - Лейдерман -
(Уже конец)

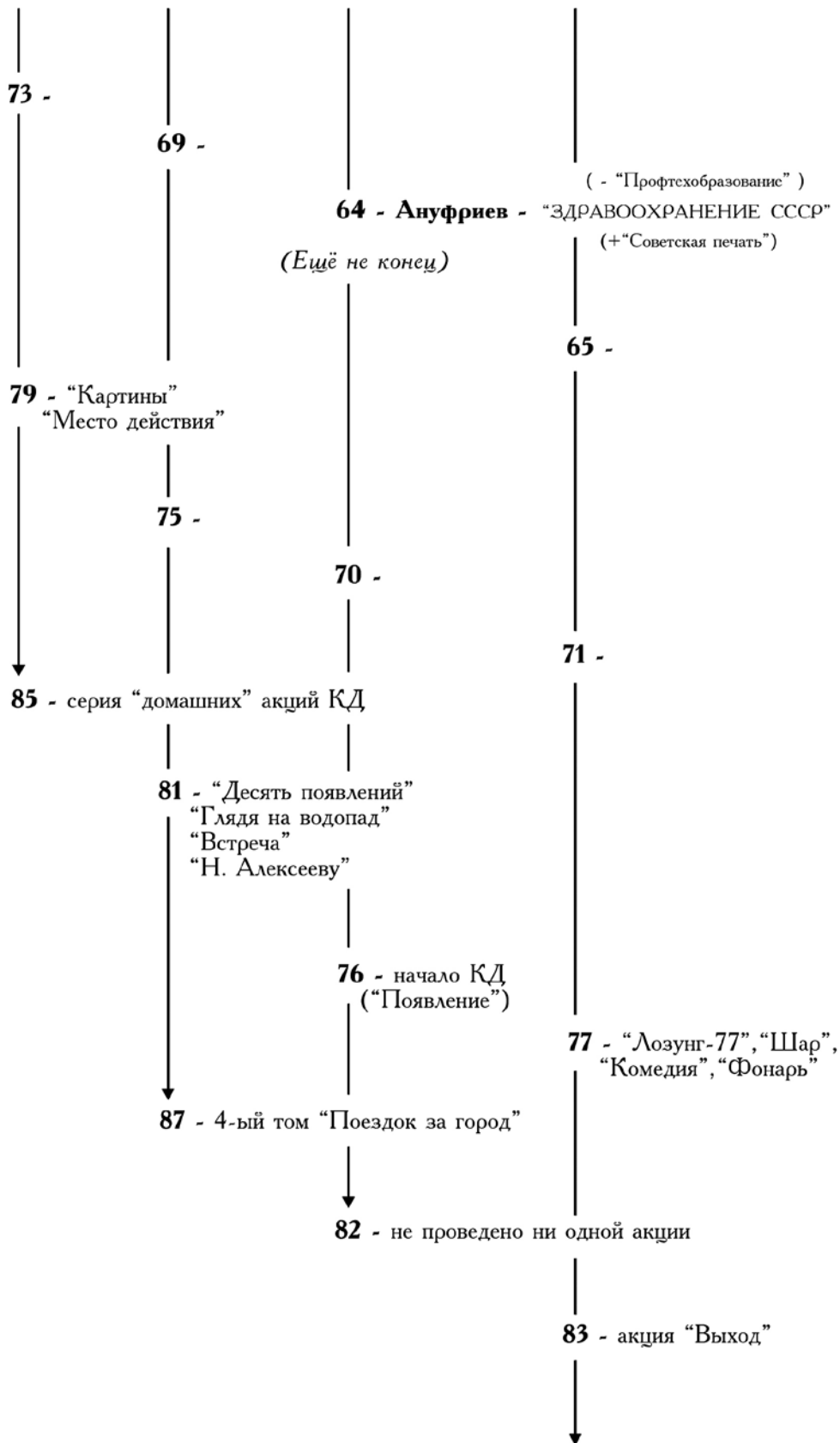
(- "Юные натуралисты и техники")
"ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ"
(+"Здравоохранение СССР")

58 - Звездочетов -
(Радость)

(- "Физика АН СССР")
"ХИМИЯ АН СССР"
(+"Биология АН СССР")

59 - Гундлах -
С.Мироненко
В.Мироненко
Захаров
Альберт
Филиппов
Е.Романова
(- " = "Химия АН СССР")
"БИОЛОГИЯ АН СССР"
(+"Гидрометеорология
и контроль
природной
среды")

(Раздробление)



③

91 - 6 т.
ПЗГ:
Розетка,
Средства
ряда.

97 - 7 т. ПЗГ:
Рассказы участников,
Места № 40 и 41,
Библиотека - .
Возобновление КД.
Выставка в Exit Art.

⑤

93 - 6 т.
ПЗГ:
Открытие,
Холину,
Шт. Андре,
Кабакову

99 - Шведагон
*Участие в выставке
в Queens Museum*

⑥

88 - 5 т. ПЗГ:
За КД-2,
Некрасову,
Вторая картина,
Промежутки.

94 - 6 т. ПЗГ:
Десятая тетрадь,
Альбом...,
Запуск в змея...

①

89 - 5 т. ПЗГ:
Макаревичу,
Елагиной,
Ромашко,
Хэнсен,
Перемещение зрителей,
Палатка-2,
...люди вдали...,
Звонок в Германию,
Ангарты на северо-западе.
Выставка "Исследование документации"
**Заявление об окончании
работы КД.**

95 - Возобновление [КД]
Археология света (Рим)

“Корма”
(Возвращение)

30

36

42

48 - М. Рыклин - “МЕХАНИЗАЦИЯ С.-Х.
С. Бордачев ПРОИЗВОДСТВА”

(Колодезь)

(- “= 47”)

(“+ “= 49”)

54 - В. Митурич - (- “= 53”)

Н. Козлов - “= + 53”
(+ “= 55”)

(Невеста)

60 - М. Чуйкова - (- “= 59”)
“ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ”
(+ “Народное образование”)

(Ограничение)

66 - П. Пенперштейн - (- “Советская печать”)
Ю. Овчинникова - “СОВЕТСКАЯ
КУЛЬТУРА”
(+ “Труд и отдых”)

72

78 - Лозунг-78,
Третий вариант,
Время действия.

84 - Описание действия,
Выстрел.

90 - 7 т. ПЗГ: Лозунг-90,
(начало) На горе,
Банки.

96 - 7 т. ПЗГ: Негативы,
Лозунг-96,
Лихоборка.

“Электротехника”
(Владение многими)

20 - И. Холин

(Созерцание)

(- “Микробиологическая пр-ть”)

- “ТРАНСПОРТ СССР”

(+ “Экономика и организация
АПК”)

26

32

38

44

50

56 - С. Летов - (- “= 55”)
С. Волков - “КОСМОС”
(+ “= 57”)

(Странствие)

62

68

74

80 - выход 1 т. ПЗГ.

86 - 4 т. ПЗГ

92 - 6 т. ПЗГ:

Пригову,
Вручение.

98 - 7 т. ПЗГ: Труба, Пересечение.

Выход книги ПЗГ в Ad Marginem

Участие в выставке *Out of Action*

роге, у пельменной, Маша нашла длинную бумажную ленту и потащила ее за собой, время от времени, со словами «Купайся, лента!», протаскивая ее по лужам. Больше половины ленты оборвалось. Когда мы вышли с территории ВДНХ и померили ногами оставшийся кусок, оказалось — 11 метров. Причем Маша утверждала, что ее первоначальная длина была метров 25-24. В тот момент, когда Маша стала «купать ленту», я вспомнил, что один из эпиграфов к этому эссе я взял из «Речных заводов». Среди героев этого романа есть некий Чжань Шунь, по прозвищу «Белая лента в воде». В конце романа, в списке «Тридцати шести могущественных и доблестных небесных звезд» он идет тридцатым под наименованием «Звезда на ущербе».

...

По принципу протоиндийского иерархического «патронирования» (специфического «техобслуживания») отчетливо просматриваются две связи: 49 — 55 (Монастырский — Сорокин, Хэнсген) и 53 — 59 (Алексеев, Константинова — Мухоморы — история АПТ АРТА (Алексеев), у Константиновой Свен Гундлах впервые показывал — в варианте шоу «Узундита» — «Среднерусскую возвышенность»).

Вообще по этой таблице (по системе древних языков без согласных и особенно для тех, кто страдает синдромом ассоциативного автоматизма) можно построить множество герменевтических спекуляций. Например, исходная позиция шестой линии «Семена овощных культур» и ее «родоначальник» — Сева Некрасов. Аббревиатура фамилий Булатова и Кабакова дает «БК» (БЫК). Кстати, Булатов первый затронул тему ВДНХ в своей картине «Добро пожаловать» — и т.д.

В особую таблицу выделены две линии: 2-ая и 4-ая. Одна из них — «Корма» — 24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84. На этой линии находятся С.Бордачев (48), который был на нескольких акциях КД, Н.Козлов (54), две подруги 54-го года рождения — Затуловская, также посещавшая акции и В.Митурич-Хлебникова, соавтор многих акций первого тома «Поездок за город». 60-го года рождения М.Чуйкова (жена Ануфриева), которая недавно сделала акцию на тему ВДНХ «Прогулка в ботанический сад». 66-го года рождения Паша Пивоваров. Чтобы как-то связать все это дело с «Речными заводами» и И Цзином, можно назвать эту линию «Сияние» — в честь номера гексаграммы, под которой стоит персонаж романа «Речные заводы» «Белая лента в воде».

Вторая нерассмотренная линия (4) — «Плодоовощеводство и кар-

тофелеводство; переработка и хранение плодоовощной продукции» — 26-32-38-44-50-56-62-68-74-80-86. На этой линии находятся С.Летов (56), М.Рошаль (56) и мой брат (56), который работает сейчас методистом в павильоне «Гидрометеорология и контроль природной среды», № 60 (в «плюсовом» павильоне креативной группы 59-го года, которая, кстати, полностью «укомплектована» по протоиндийской традиции — 5 человек, работающих в одной мастерской на Фурманном (с А.Филипповым — 6). Для КД на этой линии важен 80-й год — в этом году вышел первый том «Поездок за город» (и первый выпуск «МАНИ»). [Примечание 2000 года: в прошлом году я существенно дополнил эти две линии. Линию «Корма (Сияние)» я переделал в «Пчеловодство» и начал его с 42-го года. За период с 87 года, когда была написана статья, многое изменилось и, поскольку М. Рыклин принимал активное участие в качестве зрителя и интерпретатора акций КД, начиная с акций 5 тома, я именно его поставил «родоначальником» этой линии. Участие И. Холина в акции 6 тома «Поездок за город» в 1993 году дало мне повод поставить его «во главе» четвертой линии («Электротехника»)].

Наличие шести линий и два варианта расположения на них членов КД дает возможность для спекуляций на И Цзине более общего характера. Можно сказать, что до 83-го года КД работала по тенденциям двух гексаграмм — 21 («стиснутые зубы», пятая линия, завершающаяся на Лейдермане и четвертом томе «Поездок за город», где много его текстов и участия в акциях) и 61-ой («внутренняя правда», третья линия с выходом на «домашние» акции третьего тома «Поездок»; на этой линии находятся четверо из участников нынешнего состава КД). Кроме того, по этим двум гексаграммам разворачивалась общая эстетическая ситуация 70-х годов: (без дешифровки) — Б (2=6) А (1), преобладание неясности, Кунь-Цянь. С 83-го года (после ухода Алексеева) КД работало по тенденциям 51 гексаграммы («молния» = «брахман») и 15-й («смирение», 69), также пятая линия, хотя общая эстетическая ситуация изменилась на А Б (12 — 16), яркая фактура, Цянь-Кунь (акция «Ворот»).

Можно было бы продолжить и дальше наши спекуляции, но закончим их на этом и выскажем предположение, что демонстрационные креативные акты артикулируются (с некоторыми допусками) по экспозиционной партитуре (речь идет о концептуальном искусстве, см. мое эссе «Земляные работы»), т.е. они в достаточной степени детерминированы знаковыми объемами того пространственно-временного участка языковой харизмы, в которой они и происходят. Во всяком случае эта степень

достаточна для того, чтобы закончить наше небольшое исследование второй таблицей в духе «Щедрого Бармина» И.Кабакова, придав всему этому делу более комическую окраску. Тем более, что несколько последних листов щедрый Бармин не успел заполнить — на них поставлены только слова-заголовки: ЗНАЮ:... ЗНАЮ:...

Итак,

«ЗНАЮ:

Таблица №2 (по «Новостям №6» ВДНХ СССР 1987 г.)

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО	КАБАКОВ
МЕЛИОРАЦИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО	НЕКРАСОВ
ВЕТЕРИНАРИЯ.....	ГОРОХОВСКИЙ
ЦВЕТОВОДСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	ПИВОВАРОВ
ПТИЦЕВОДСТВО	ЧУЙКОВ
СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.....	ПРИГОВ
ХЛЕБОПРОДУКТЫ	ЖИГАЛОВ
ЖИВОТНОВОДСТВО.....	МАКАРЕВИЧ
ОВЦЕВОДСТВО	РУБИНШТЕЙН
ЛЕСНОЕ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО.....	МОНАСТЫРСКИЙ, ЕЛАГИНА
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ	ГЕРЛОВИН
СВИНОВОДСТВО.....	БАКШТЕЙН
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК....	ПАНИТКОВ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК	АЛЕКСЕЕВ
.....	КОНСТАНТИНОВА
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЙ КОРОВНИК.....	МИТУРИЧ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ КОРОВНИК	КИЗЕВАЛЬТЕР,
.....	СОРОКИН,
.....	ХЭНСГЕН,
.....	НАХОВА
ОБСЛУЖИВАНИЕ	
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ	ЗВЕЗДОЧЕТОВ
АГРОХИМЛАБОРАТОРИЯ	ГУНДЛАХ,
.....	С.МИРОНЕНКО,
.....	В.МИРОНЕНКО,
.....	ЗАХАРОВ,

.....АЛЬБЕРТ
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.....ЛЕЙДЕРМАН
«ФИЗИКА» АН СССРАНУФРИЕВ»

1987

Примечание 2000 года.

В 90-е годы вся описанная выше ситуация полностью изменилась: в московском концептуальном искусстве появился «новый бык» — связка Бреннер-Кулик. Их аббревиатуры, так же, как и аббревиатуры «старого быка» 70-х — 80-х годов — Кабакова и Булатова — «БК». Сходство «нового быка» со старым состоит еще в том, что, так же, как Кабаков и Булатов одного года рождения — 1933, Кулик и Бреннер родились в один год — 1961. Усилился лишь момент анимализма в этой новой связке, поскольку 1961 год — это год БЫКА по китайскому календарю (61 гексаграмма в И Цзине — «Внутренняя правда»). Нет оснований полагать, что этот «новый бык» выходит за рамки «демонтажной идеологии», в традиции которой работала вся московская концептуальная школа. Это продолжение «критики идеологии», в том числе и в жанре концептуального анимализма (Кулик), о наличии и тенденциях которого я писал в одноименной статье в 1989 году — но по отношению к старому составу МКШ (Кулик тогда еще не функционировал со своими зооморфными работами). Тем более нет оснований предполагать, что в 90-е годы исчезла и сама советская власть в своих глубинных проявлениях (о «криминальном» створе советской власти, укрепившемся и почти легитимизованном именно в 90-е годы см. более подробно в моем тексте «Заметки о 7 томе «Поездок за город»).

КД И «ПОЕЗДКИ ЗА ГОРОД»

При экспозиционной форме знания искусства с деятельностью группы КД чаще всего остается скрытым основополагающий сюжет этой деятельности — собственно «Поездки за город». Под таким названием нами выпускались и выпускаются тома документации о перформансах, проведенных за 14 лет (теперь уже за 22 года — А.М.) работы группы (их было выпущено 5).

Если правильно не понять саму проблему «поездки за город» как жанра с его текстологическими составляющими, то вся эта сложная стратиграфия документации — с дескрипциями, нарративом и дискурсом — может показаться скучным бюрократическим психозом. Возникает вопрос, почему, собственно, какие-то минималистские акции на природе породили столь обильное «текстовыделение», причем в очень сложной и для постороннего взгляда запутанной форме. Дело же состоит в том, что на текстологическом метауровне (который и создается этой «сложностью») во всех этих текстовых слоях дискутируется, созерцается и переживается одна лишь тема — тема границы города и «не города» (здесь это называется «загородом»). [Статья писалась по заказу для перевода на немецкий язык к моей выставке «Подписи» в Берлине в 1994 г. — А.М.].

С русского языка довольно сложно адекватно перевести на какой-либо другой язык само словосочетание «поездка за город», поскольку в здешнем регионе город все еще не является той устоявшейся текстологической единицей социотопографического баланса, каковым он, город, является в западном дискурсивном контексте. Когда здесь кто-то говорит, что он едет «загород», все понимают, что он имеет в виду, однако никакой локализации в процессе этого сообщения-понимания не происходит. Может иметься в виду все, что угодно — дача, деревня, река, лес, какой-то рабочий поселок или просто даже «маленький город» (если акт выезда совершается из Москвы, например). То есть семантическое поле понятия «загород» крайне размыто, неопределенно, и, как таковое, в психологическом смысле — ментализировано и эрогенно. Загород,

сама, собственно, «загородность» носят здесь скорее метафизический, и, если и не «трансцендентный», то уж во всяком случае, «трансцендентальный» характер (понимая это определение в смысле «прикладной, инструментальной трансцендентности» для ментальных представлений и усилий).

Ясно, что при таком положении дел — ибо «загород» мыслится в паре к «городу» — метафоризируется и сам город. Впрочем, всю эту проблему границы «города» и «не города» можно объяснить и проще, проговорив ее в процессуальных терминах процесса урбанизации, «огораживания». Но в таком случае это будет просто хорошо известная историческая перспектива и аналогия, текстологический же аспект будет как бы «раздавлен» и уничтожен таким чрезмерно «мощным» и «ясным» пониманием. В нашем же случае «поездок за город» как ж а н р а мы имеем дело с достаточно тонкой текстологической обработкой самого этого наличия все еще становящихся отношений «между городом и деревней» (кстати, именно в таком выражении эта проблема присутствовала — начиная с 20-х годов — в официальном советском идеологическом дискурсе — постоянно шла речь о «смычке города и деревни»).

Итак, когда некие пространства еще не приобрели своего более менее «завершенного лица» (в данном случае эти пространства — «загород» и «город»), возникает повышенно чувственное (т.е. нефункциональное) отношение к этим пространствам-«предметам», которые описываются всевозможными «седуктивными» метафорами — они с чем-то сравниваются, определения их мерцают, контуры этих пространств вибрируют и т. д. В результате всего этого возникает некий сюжет, в сущности — роман. И вот «Поездки за город» и являются такого рода «романом» с довольно сложными сюжетными линиями, эпизодами, «становящимися характерами» и т. д.

Всякий сюжет может быть написан в различной манере — натуралистической, романтической, философской — какой угодно. Мы его писали в «структурно-метафизической» манере, как бы «спекулятивно-возвышенно», поскольку, как мне кажется, эта манера изоморфна реальному положению дел: ведь, действительно, эти два пространства — загород и город — здесь и до сих пор находятся в состоянии неких абстрактных структур, в состоянии незавершенных касаний друг к другу. И в этом «сюжете касаний» очень много пустот, пауз, ожиданий — то есть того самого минимализма, в стиле которого сделано большинство наших акций.

Напряженность языкового поля между городом и загородом, обширность этого поля и породили — совместными усилиями членов группы КД и их зрителей-интерпретаторов — текстологическое поле пяти томов наших «Поездок за город». Двусмысленность слова «поле» здесь играет довольно существенную роль — ведь основные акционные «касания» в этом сюжете происходили именно на реальном поле. Поэтому очень легко это реальное поле, на котором производились те или иные эстетические манипуляции, метафоризовалось, сначала как языковое, а затем и как текстологическое («роман»).

Любопытно отметить, что основная «эротическая» интрига, влечение — именно уже в текстологическом плане — исходила из «города» как действующего лица «романа». Ведь в названии «Поездки за город» сам город не указывается, то есть: откуда совершаются поездки за город? Хотя имеется в виду, да так оно и было, что поездки совершались из города в «загородность». То есть в отличие от обычного процесса урбанизации, при котором, скорее, идет процесс перемещения в город, в данном случае интрига строилась на противоположном — именно «загородность» мыслилась объектом желания (что, например, всегда подчеркивал И. Кабаков в своих рассказах об акциях), и только потом (уже во «втором томе») были сделаны городские акции, в которых город как бы саморазоблачился, деметафоризовался и в каком-то смысле «обрел лицо» и «характер» в этом сюжете. Можно сказать, что отношения состоялись, приобрели какие-то, пусть и сложные, но все же границы.

Всякие длительные отношения требуют серьезных стилевых усилий, а 14 лет работы над этим сюжетом в рамках КД, а затем и вне этих рамок — срок довольно длительный для «романа». Поэтому стиль играл для нас существенную роль, довольно часто — болезненную для членов группы в смысле их отношений между собой. Стиль в самых общих чертах можно понимать как умение манипулировать знанием, опытом, накопленным другими. И в то же время стиль — своего рода сдержанность в чувствах, если сравнивать его с чертами характера. Имея дело с таким сложным и напряженным сюжетом, для нас были, например, очень важны буддизм — как ментальный стиль, и минимализм — как стиль эстетический. Пожалуй, именно эти два стиля брали на себя функцию своего рода «сдерживающего» фактора, обеспечивающего текстологическую длительность сюжета. Но в то же время в любом сюжете возникают и своего рода «яркие» места, какие-то оживляющие «вспышки», для чего нами и использовались дискурсивно-пластические практики романтизма, психоделики, постструктуралистского шизоанализа.

В этом небольшом тексте у меня нет задачи рассмотреть всю «литературу» «Поездок за город» — литературу во всех смыслах — и в «библиографическом», и в сюжетном. Я хотел лишь указать на текстологический аспект «Поездок» в его «опережающем» значении по отношению к литературе КД.

Отдельного рассмотрения заслуживает происхождение визуальной пластики, визуальных пространств перформансов «Поездки». Скажу лишь, что происхождение этой визуальности следует искать — среди прочего — и в феномене «речи», маркированной поэтико-текстологической единицей «голос» в ее постепенной трансгрессии из пиктографии в иероглифику, а затем и в объемно-изобразительные пропозиции, взятые в широком спектре — от абстрактно-«пустотных» (геометрических) пространств до архитектурного дискурса. Заинтересованного такой проблематикой читателя я мог бы отослать к моим поэтико-эстетическим исследованиям в «Элементарной поэзии» (1975) и к статьям конца 80-х годов об архитектурном дискурсе ВДНХ и некоторых других городских пространств Москвы (4 том «Поездки за город»).

Я сознательно индивидуализирую свои замечания здесь относительно КД, поскольку каждый из участников группы может и должен иметь собственный взгляд на ее работу, которую мы определили довольно жесткими временными рамками, а именно — 1976-1989 годами*. И в то же время, и это, пожалуй, основное, что я хотел бы сказать здесь, лично для меня сюжет КД («Коллективных действий») не совпадает с сюжетом «Поездки за город», текстологию которого я представляю себе шире (и в пространственном, и во временном смысле) уже существующей литературы КД.

Апрель 1992 г.

* Статья писалась в то время, когда КД не функционировало (в тот период собирался 6 том ПЗГ, который мы делали с Сабиной Хэнсен).

О КНИГАХ

нажимать на гнилые места золотого нимба

Иногда говорят, что живопись — это картина. Картина имеет определенные физические параметры — размер, вес и т.д. То есть это некий материальный объект (и в таком случае живопись — это один из способов создания картины). Но если сказать, что литература — это книга, то мало кто с этим согласится. Ведь литература может материализовываться и через устные формы разного рода чтений и т.п. К тому же в книге часто присутствует и живопись — в виде репродукций или оригиналов в рукописной книге. В картину тоже можно ввести текст, но тогда это уже будет не совсем живопись. Во всяком случае если дальше так рассуждать, то приходишь к выводу, что живопись — это что-то возвышенное, а книга — вещь более «грязная», что ли, размытая и неопределенная. Она с трудом поддается инвентаризации в иерархических пространствах искусств и значительно ближе к предметам повседневного обихода. В каждом доме много книг и мало картин, если они вообще есть. Книга стремится «опредметиться» через количество (в том числе и через тиражи), хотя, в сущности, она обладает такими же параметрами материального объекта, как и картина — вес, размер и т.д. Интересно было бы сложить две кучи где-нибудь в пустыне. В одну кучу положить все существующие книги (всеми тиражами), в другую — все существующие картины. Наверное, куча книг выглядела бы как огромная гора, а куча картин — как маленький холмик. Но я все веду к тому, что существуют, видимо, разные типы материальности. Материальность — это не только физические параметры, но и способы восприятия человеком этих параметров, способы обращения с ними и виды целеполагания, связанные с «материальностями». В конце концов картина, книга да и вообще всякая предметность (включая речь) — это только разные степени репродукционности и предлог для трансцендирования. Правда, в нашем случае это не конкретное «трансцендирование в соучастии» при знакомстве с той или иной конкретной книгой или картиной,

и не «картинность» или «книжность» в оценочном смысле, а маловразумительное трансцендирование «картиновности» и «книгововности». В этом странном процессе можно очень далеко отходить от книги. Обычно в книге присутствует два обязательных элемента: страницы и переплет. Занимаясь акционной деятельностью с 76-го года и работая над акциями 4-го тома «Поездок за город», мы «расширили» количество элементов книги следующим образом. Во-первых, делая загородную акцию «Лозунг-86» — копая землю, замазывая черной краской карту и вообще совершая разного рода подозрительные манипуляции — мы тем не менее определили («назначили»), что текстом этого лозунга будет текст предисловия к 4 тому «Поездок», в котором об этой конкретной акции практически ничего не сказано. Во-вторых, осуществляя акцию «ЗА КД» на МКАД, где мы закладывали под снег карты на зиму, и найдя на обочине дороги синюю занавеску на металлической раме, которые раньше использовали на задних стеклах государственных черных «Волг», мы решили переплести четвертый том «Поездок» в эту ткань (два полутома) и придать самому процессу переплетения статус самостоятельной акции через присвоение этому обычному делу странного названия: «Нажимать на гнилые места золотого нимба». Было сделано три таких переплета по два полутома каждый (четвертый до сих пор еще не переплетен — ткани хватило как раз на четыре переплета) и в состав акций был помещен описательный текст с этим самым названием, которое так же не имеет никакого отношения к процессу переплета, как и предисловие к четвертому тому не имеет никакого дескриптивного отношения к акции «Лозунг-86». И однако на уровне действия все эти четыре вещи: предисловие, сама акция на горе, описательный текст акции «Нажимать...» и переплет связаны между собой значительно крепче и определеннее, чем, например с помощью технологии OLE связываются, скажем, звуковой файл, сделанный в программе Sound Forge, и документ, набранный в WinWord. Поскольку в последнем случае вы не можете перенести на другой компьютер сделанный вами документ со звуковой вставкой (не перенося части этих программ и т.п.). А в нашем случае с четвертым томом «Поездок за город» два эти полутома, переплетенные в синий нейлон как бы постоянно тащат за собой «привязанные» к ним два события (но не на веревках простого рассказа о них, а на очень сложной структурно-дискурсивной сети всего комплекса «текст-событие»), которые никак нельзя повторить: акцию на горе и акцию «переплетения». То есть у этой книги нет четких «материальных» границ, краев — один ее «отросток» болтается

где-то на расстоянии 70 км от Москвы (в связке: «текст предисловия — действие»), а другой (в физическом смысле — это просто переплетная ткань) в виде уже скорее не отрезка, а некоего слоя — как это бывает вокруг семантического ядра слова — окружает книгу наподобие «синего гравитационного смещения» (в направлении: «текст названия действия — объектность книги»). Через манипуляции отношений смысловое поле этой книги как вещи задано постоянно ускользающим. Можно сказать так, что к нему нельзя подойти вплотную и дотронуться рукой — рука или проваливается куда-то сквозь, внутрь или не достаёт до «поверхности» этого смысла — всегда будет не хватать какой-то «одной буквы» (под «рукой» я здесь понимаю «руку интерпретации»), поскольку любая «буква» будет неправильной, а «правильная» тут же втаскивает читателя «внутрь» книги, не давая ему времени понять, какой же именно была эта «правильная» буква. То есть граница между текстом и действием постоянно мерцает. Кстати, этот принцип мерцания между действием и текстом заложен практически во всех наших перформансах — на уровне события, но здесь он реализован и в виде книги. Это «акционная книга», но с которой нельзя совершить никакого действия кроме акта созерцания по определенным направляющим. Предметом же изображения этой книги становится все то, что не входит в физические параметры «материальности», но это «все» — не что-то «духовное» и противопоставленное материальному, а прегнантные слои событийности, перспективы её полей — и книжных, и загородных.

1997

ОБ АВТОНОМИИ ИСКУССТВА

Читая очень, на мой взгляд, интересную и важную статью Б. Гройса «Об автономии искусства», я вдруг почувствовал, что испытываю какой-то слуховой дискомфорт, что-то меня все время отвлекает от статьи. Я прервал чтение и прислушался к звукам. Действительно, за окном, почти через равные промежутки времени, раздавались грубые и дикие звуки, подобные тем, которые издают пьяные во время рвоты. Так оно, видимо, и было — под окном блевал пьяный. Поняв, наконец, что меня отвлекало от чтения, я вновь принялся за статью. Прочитал до конца и с удивлением обнаружил, что звуки рвоты продолжаются (прошло минут двадцать — двадцать пять). Причем звуки эти, как я заметил, приобрели характер как бы некоей разумной вокальной деятельности, стали менее физиологичными и более музыкальными. И тут, еще более внимательно прислушавшись, я обнаружил, что звуки эти как бы двоятся, то есть происходит быстрое чередование двух почти аналогичных звуков, затем пауза и вновь та же ритмическая фигура чередующихся, сгармонизированных звуков. Наконец я понял, что один из этих двух звуков, а именно первый — карканье вороны. Оказывается, пьяный совершенно сознательно передразнивал ворону, подражая — и весьма искусно — ее карканью. Причем я прекрасно помню, что сначала никакой связи между этими звуками не было — пьяный блевал, ворона каркала. Затем, видимо, произошло какое-то звуковое сцепление между блюющим пьяным и каркающей вороной. Я по своему опыту знаю это ужасное состояние во время рвоты. В звуковом плане оно характеризуется тем, что человек целиком поглощен стихией ритмичных всхлипываний и разрывающих внутренности воплей. В таком состоянии услышать какие-либо иные звуки, не похожие на эти вопли и всхлипывания, невозможно. А тут как раз произошло исключительно редкое (для пьяного) звуковое сочетание, так сказать, захватывающая звуковая история. Ведь карканье вороны чем-то напоминает по тембру, по протяженной силе звукоизлияния музыку рвоты. Оглушенный своими рвотными воплями пьяный был совершенно

отрезан от остального звукового мира, вернее, от других звуковых миров, не подобных тому, в котором он мучительно обретался. Но, как я уже сказал, карканье вороны — как раз звук подобный, то есть принадлежащий к тому же звуковому миру рвотных всхлипываний. И вот что тут произошло, как это произошло, то есть то ли ворона сознательно, из гуманистических, что ли, соображений, пристроилась к рвотной песне, чтобы вывести беднягу из его мучительного состояния, отвлечь его и тем самым воздействовать на невротические механизмы рвоты, заставить пьяного сознательно подражать ее, вороны, карканью, то ли сам пьяный стал бессознательно сначала, а потом и сознательно пристраиваться к карканью, почувствовав, что это приносит облегчение — мне не ясно. Совершенно невозможно было уследить за тем моментом, когда возник сознательный дуэт, когда звуки рвоты превратились в подражание карканью — это произошло постепенно и незаметно. Совместное карканье пьяного и вороны продолжалось долго, слаженно и музыкально интересно. Звуки человеческого карканья были исполнены какой-то необычайной трезвости. В них ясно чувствовалась нежная, почти любовная благодарность оригиналу.

31 июля 1981 г.

**ПРИМЕЧАНИЕ 2006 ГОДА «ОБ АУДИОДИСКУРСЕ»
(из письма С. Загнию)**

...Аудиодискурс, как я понимаю — это своего рода «бессознательное» музыки на границах «коллективного сознательного». Аудиодискурс — это не тексты о музыке, а сама музыка, но в ее глубинных слоях, жанрообразующих, на уровне «судьбы звука», состояния звучания «здесь и теперь». Ведь звучит ВСЕ и ВСЕГДА и всегда по-разному. Это противоположная точка зрения той, когда под музыкой понимается только то, что звучит усилием композитора или вообще человека. Аудиодискурс — это не музыка, это именно аудиодискурс — аудиальное разворачивание мира на границах сознания и ПОНИМАНИЕ (а не СМЫСЛ) этого разворачивания. Понимание как созерцательный процесс. КД занимается именно аудиодискурсом... Аудиодискурс — это то, что находится как бы у основания мелоса. Скажем, это даже не архитектура дома (мелоса) и даже

не его инженерная подготовка, а ТОПОГРАФИЯ расположения. И в этом смысле, например, все, что происходит в мелосе у Чайковского или Шопена — это все происходит «в доме», нет взгляда снаружи на этот дом, а уж тем более с высоты птичьего полета и т.д. ...

В инструментальном и результативном смыслах аудиодискурс — это «фотографирование» и «фотография» звукового поля, а точнее — его «видеозапись», поскольку это поле всегда динамично. Это поле (через «очки» аудиодискурса) интересно тем, что, в отличие от логоса (текстов) и мелоса, оно не структурировано, как, скажем, «палестинский канон», или «ведический канон», «даосско-конфуцианский» и т.д. Хотя на выходе аудиодискурса в мелос такая структуризация возникает. Например, Кейдж выводил свой аудиодискурс на стыковку сразу трех мелосов — палестинского, даосско-конфуцианского и буддийского, оставаясь, при этом, в состоянии доминирующего аудиодискурса. Видимо, поэтому в нем Шенберг и усмотрел «не композитора». Мощнейший аудиодискурс был и у Сати. ...

РАССКАЗ ОБ АКЦИИ «Н. АЛЕКСЕЕВУ»

Как только мы остались вдвоем с Никитой, разделенные расстоянием шагов в двадцать, я мгновенно ощутил, что включилось, наступило особое время акции. Прекрасно зная структуру предстоящего события, т.е. что я должен в течение трех часов водить за собой Никиту, я в то же время ясно чувствовал свободу впереди себя: это трехчасовое время впереди было особым, напряженным, но в то же время совершенно свободным для меня — я мог просто гулять по местам, мне приятным, а мог и придумывать по дороге какие-то действия в минимальных рамках общего замысла акции. Но эти действия были как бы необязательны — я чувствовал, что если я ничего и не буду предпринимать, сама эта прогулка, особенность этого времени будут вполне достаточными.



Итак, впереди была уйма времени, и первое, что мне пришло в голову, это придержать его на месте. Я решил не сразу двинуться, а постоять в этом сокольническом дворе минут десять-пятнадцать — ведь в инструкции для Никиты было сказано, что, если я останавливаюсь, то и он должен остановиться. Мне был приятен этот двор и хотелось продлить ощущение только что включенного особого времени. Однако простоял я всего минут семь, как-то почувствовав, что — достаточно, больше не надо. Заложил руки за спину и пошел. Гога должен был сфотографировать нас где-нибудь по дороге и я сказал ему, чтобы он ждал нас через пятнадцать минут на Сокольническом валу, но что потом ему не следует сопровождать нас, чтобы я был свободен в выборе дороги.

До встречи с Гогой я ничего не предпринимал. Эти первые пятнадцать минут были своего рода разминкой. Я делал только то, что и ожидал Никита по инструкции, сообразуясь с переходом улиц, т.е. чтобы в это время Никита мог смотреть по сторонам, а не на руки, шел с опущенными руками или держал их в карманах. Наконец в роскошной, старой и совершенно пустой аллее мы прошли мимо Гоги. Я почувствовал эту встречу как определенный этап акции, как последнюю связанность, что ли, перед полной предоставленностью самому себе. Интересно, что это чувство отразилось на скорости моего хода: после встречи я заметно прибавил шаг, а перед тем шел совсем медленно, прогуливаясь. Пройдя аллею, я вдруг вошел в галдящую толчею людей и проходил, продирался сквозь нее мимо входа в сокольнический парк. А потом опять попал в тишину тропинки, ведущей вдоль забора парка. По ней почти никто не ходил. Эта тропа была довольно-таки длинная, и, пройдя по ней ощутимое время, я решил внести какую-нибудь неожиданность для Никиты в наше движение (будучи в таких делах человеком искушенным, он, вероятно, уже понял, что акция заключается просто в прогулке). Я остановился и пошел назад спиной. Отсчитывая задуманные пятьдесят шагов, я, признаться, допускал, что Никита, забыв инструкцию о сохранении между нами дистанции, останется на месте и я спиной на него натолкнусь. (Надо сказать, что за все время нашей прогулки я старался не смотреть назад, иногда только, переходя улицу, краем глаза видел Никиту — он шел так, как надо). Но Никита все сделал правильно: он, как и я, тоже стал пятиться назад спиной. С этого момента я почувствовал, что он окончательно вступил в действие и совершенно адекватен ситуации, поэтому я перестал думать о возможных недоразумениях, почувствовал полный, своего рода «эстетический» контакт с Никитой.

Если до этого времени я закладывал руки за спину все-таки с некоторой натугой, искусственностью, то теперь, чувствуя внимание со стороны Никиты и его включенность в действие, стал думать не только о своем шаге, движении, но и, в значительно большей степени, о своих руках. Я бы сказал, что с этого времени мои руки значимо включились в действие, начался как бы этап «рук». Я стал интуитивно и в то же время осознанно соотносить положение рук (за спиной или нет) с теми местами, по которым я шел, с прямизной и длиной участка дороги, с домами, заборами, людьми, шедшими мне навстречу и т.д. Но до тех пор, пока мне не пришлось в голову брать в руки предметы, или проделывать ими какие-нибудь манипуляции за спиной, например, шевелить пальцами, трогать руками деревья, листья, я помню, сделал еще несколько изменений в самом движении. Например, останавливался, причем с искренним любопытством, у забора, за которым на стадионе мальчишки в белых и красных формах играли в футбол. Кстати, иногда, проходя мимо подобного рода зрелищ, вообще мимо чего-то любопытного, я в некоторых случаях держал руки за спиной, как бы не давая Никите смотреть на это, а иногда и не держал за спиной. Одним словом, руки не сразу были готовы к тому, чтобы в них что-то стало появляться. Да, помню, что вскоре после футбола мне навстречу пробежал пожилой бегун в зеленом трико. Когда он поравнялся со мной, я тоже припустился бежать — он, должно быть, удивился, увидев, как спокойно шедший навстречу ему Никита вдруг бросился взапуски мимо него, сосредоточенно глядя куда-то вперед (я бежал, заложив руки за спину).

Но потом окончательно наступило время «рук», я сосредоточился уже только на них. Впрочем, я не изыскивал специально какие-то варианты с предметами или движениями рук, напротив, скорее стремился избежать особо значительных, заметных ситуаций, стараясь выбирать как можно меньше и реже, чаще идя просто с пустыми руками, заложенными назад или держа их в карманах. Первый раз я взял в руки и держал за спиной небольшую ветку с желтыми листьями (а где-то спустя час, помню, нес уже ветку побольше, с коричневыми листьями, но не за спиной, а в правой руке, помахивая ею, как обычно мы делаем на прогулках, и, пожалуй, почти с тем же обычным чувством, не придающим никакого значения этому помахиванию веткой — только чуть ощущая некоторую особенность ее, соотношенность с той желтой веткой за спиной час назад). Потом я долго шел просто держа руки за спиной и, сначала произвольно, раскрывал и закрывал ладонь правой руки, потом стал

намеренно чередовать руки и по очереди разжимать пальцы сложенной в кулак руки, повторив это движение раз двадцать. Все это время мы шли по довольно безлюдным припарковым улицам.

Когда мы перешли на другую сторону широкой асфальтовой дороги и пошли по тротуару, я увидел кучу разбитых красных кирпичей. Пройдя мимо кучи несколько шагов вперед, я обратил внимание на высокий каменный красный забор, он был длинный и довольно круто вместе с улицей загибался влево. У меня как-то связался его цвет с уже пройденной кучей кирпичей. Я остановился и попятился назад, но, в отличие от первого раза, я пятился по определенному делу: взять обломок кирпича. Я шел вдоль забора и держал в руках, заложенных за спину, большой кусок (больше половины) кирпича. Мимо проезжали машины и автобусы, а по противоположному тротуару шли люди — я чувствовал себя с этим кирпичом и с Никитой позади довольно странно. Первоначальное цветовое сочетание забора и кирпича постепенно перешло на социальный план. А тут еще как раз у конца забора стоял спиной ко мне в сером грязноватом плаще мужик. Не доходя до него, я увидел разбросанные тут и там куски такого же серого и пыльного, как его плащ, асфальта. Да и впереди была большая серая асфальтовая площадь с трамвайными путями. Это была явно другая зона, другое демонстрационное пространство. Я почувствовал необходимость бросить кирпич и взять кусок асфальта — как своего рода пропуск в эту новую зону. Надо сказать, что где-то, начиная с забора или даже раньше, я стал очень внимателен к окружающему вот в каком смысле: я с любопытством замечал и открывал для себя сложные и в то же время ясные для меня (чего никогда не было прежде, при обычных прогулках) отличия, причем скорее в области психического, одного участка пути от другого — как бы соответствие сцен и экстерьеров, в которых они происходят. Вернее — состояния сцен и состояния экстерьеров — их соответствие с моим состоянием восприятия. Меня волновали не столько сами конкретные сцены и экстерьеры, а именно их согласованность между собой и с моим восприятием, сам принцип сочетаемости, совершенно четкая отграниченность одной области от другой именно по принципу иной сочетаемости.

Вероятно, этой силой, лучом, освещающим для меня этот план впечатлений, восприятия было именно внимание и сосредоточенность Никиты на моих руках. Постоянным своим вниманием он держал в напряжении и меня, держал меня как бы наплаву, на этом новом для меня уровне, откуда я все эти изменения, психические ландшафты с необы-

чайным интересом и наблюдал. С другой стороны, обнаруживая себя в новой зоне, я чувствовал необходимость «сообщить» об этом и Никите, вернее — иначе и быть не могло: предметы у меня в руках организовывались сами, я их как бы и не выбирал. Можно сказать, что именно через них как через акциденции и обнаруживался на вещественном плане этот всегда новый принцип сочетаемости в каждой зоне. Зона сама подсказывала, подсовывала мне то, что должно быть у меня в руках и на что должен смотреть Никита, проходя через нее. Однако для Никиты, как мне думается, смысл был не в осознании, не в обнаруживании наших переходов из одного демонстрационного пространства в другое, а в абсолютно непонятной для меня (возможно, лишенной какого бы то ни было смысла) медитации на данный предмет. Моя функция заключалась только в том, как я себе представляю теперь, чтобы Никита в определенном месте получал тот самый, правильный предмет. Предмет же этот (или способ моего передвижения) обеспечивала моя поглощенность, отождествленность с пространством, в котором мы находились; она же, в свою очередь, поддерживалась постоянным вниманием Никиты. Во всяком случае мое воодушевление и как бы полет обеспечивала именно эта замкнутая циркуляция между мной и Никитой: мы с ним представляли собой некий механизм восприятия, взаимодействующий внутри самого себя через мои руки и правила следования Никиты и работающий таким образом, что мое сознание, получая необычный опыт видения, тут же использовало его для дальнейшей работы механизма.

Я интуитивно чувствовал, где и сколько нужно стоять, а где идти. Пройдя забор, я повернул на широкую асфальтовую улицу с большим количеством луж разной величины. Впереди, среди этих луж я увидел круглую, чуть выступающую над асфальтом крышку канализационного колодца. Почувствовав необходимость стать на нее, я простоял на ней довольно долго с полным чувством безопасности и даже комфорта, несмотря на то, что вокруг ходили люди и, вероятно, для них наше неподвижное стояние среди луж выглядело нелепым, идиотским — но никто не обратил на нас внимания. Наше коммуникационное, психическое пространство между мной и Никитой никак не смыкалось с внешним нам коммуникационным пространством других людей — отсюда и это чувство защищенности, «бесплотности».

На тропинке, отходящей от улицы, по которой мы шли, я увидел большой камень. Мне показалось, что нужно за него встать, держа руки за спиной так, чтобы камень загораживал их от Никиты. Я чуть было не

повернул на эту тропинку, но меня протянуло вперед и, действительно, минут через десять я вышел к пруду и прямо передо мной, на берегу, был такой же камень. Я обогнул его и стал перед ним, чувствуя, что именно это место как раз самое подходящее и по своей просторности, по уместности воды и еще по чему-то неопределенно другому для моего стояния за камнем. Потом я стал медленно обходить пруд и вышел к дальнему и безлюдному берегу. Мне было приятно окунуть в пруд руки, поболтать ими в воде. Я долго стоял на берегу и ждал, когда у меня высохнут руки, которые я держал за спиной. Я решил стоять как можно неподвижнее, что, к удивлению, мне легко, без напряжения и удавалось. С огромным, затягивающим удовольствием я смотрел на воду и противоположный пустой берег. Затем я углубился в парк и ходил по узким тропинкам среди кустов. Раньше я никогда не был в этих местах.

Однако по времени уже нужно было направляться таким образом, чтобы успеть к трем часам к кинотеатру «Севастополь» за Преображенской площадью, к месту встречи с Колей и Сережей. То есть я должен был прекратить блуждать и двигаться в ту сторону. Но я очень смутно себе представлял, куда мне идти, вплоть до того, что не мог решить — направо или налево. Я вышел на какую-то помоечную улицу и пошел по ней. Вдруг около одной мусорной кучи я увидел комок грязной бумаги. Мне показалась, что это какая-то карта. Когда я ее поднял и развернул, это, действительно, была карта, причем карта Москвы. Я воодушевился, так как по карте можно было уточнить маршрут. Но когда я ее окончательно развернул, оказалось, что четверть ее, именно тот район, где мы находились, оторвана. Я, естественно, изумился, тем более, что накануне мы с Колей безуспешно искали такую карту, чтобы приблизительно наметить маршрут. Наверное, надо было взять ее с собой, но решил положить ее, развернутую, на тротуар с тем, что, может быть, Никита ее поднимет и возьмет — для этого я демонстративно убрал руки со спины и замедлил ход. Но Никита почему-то не обратил на нее внимания.

Я стал сильно спешить. Правда, проходя по одной колдобистой аллее, сделал серию манипуляций с руками. Помню, нес некоторое время за спиной длинную палку в горизонтальном положении, потом постоял немного за толстым деревом так, что руки за спиной не были видны Никите, потом за тонким, обхватив его ствол сзади. Деревья стояли прямо посередине этой узкой аллеи. Затем пронес немного камень, но не за спиной, а в правой руке и бросил его в лужу (не попал). В следующей, темноватой и сырой аллее с любопытством стал что-то искать на ее обо-

чине, причем, помню, там действительно было много интересных вещей: какой-то необыкновенный, выдраный из земли, куст грибов-поганок, сидящий на корточках мальчик с удочкой, выковыривающий червей из-под гнилых листьев, неизвестные металлические детали, бумажные цветные обертки, стекляшки — я все это разглядывал, наклоняясь и держа руки за спиной, но чувствовал, что теперь, по ходу дела, важна сама моя несколько нелепая поза наклонившегося и чего-то разглядывающего на ходу, а не эти предметы, если бы я их держал сзади в руках.

Я вышел к улице, по которой проходил маршрут 11 трамвая и пошел по ней к Преображенке. Далеко ли это или близко, я себе плохо представлял. Поэтому ускорил шаг, и, действительно, путь оказался не малый. Только один раз на этом отрезке пути я стал идти по тротуару плавными зигзагами и прошел таким образом метров триста, не обращая внимания на встречающих пешеходов (что было взаимно). Выйдя к площади и повернув на Б.Черкизовскую я окончательно заложил руки за спину и быстрым шагом минут за двадцать по прямой дошел до места встречи с Колей.

Дальнейшее развитие акции мне известно, разумеется, только по рассказам Никиты и Сережи. Их путешествие, как я помню, должно было быть как бы затуханием, постепенным растворением особого времени акции в поисках неопределенных знаков, плавным возвращением в обычное коммуникационное пространство.

Возможно, правильнее была бы иная конструкция акции, например: сначала я, как это и было, веду Никиту (не три, а два часа), потом Никита ведет Сережу (у Сережи та же инструкция, что была у Никиты, когда я его вел, т.е. первая), затем Сережа ведет меня. Это построение дало бы еще более широкое поле для импровизаций, и каждый из нас оказался бы в ситуации ведущего и ведомого.

17 сентября 1981 г.

РАССКАЗ ОБ АКЦИИ «ВОРОТ»

Идея Коли с воротом и лесками с самого начала мне казалась очень удачной. С одной стороны — чистый, строгий минимализм — и в то же время силовой, экспрессионистский момент с разрывом лесок, соответствующий сегодняшнему эстетическому климату. Акция мне представлялась музыкальной — беззвучная музыка напряженного почти невидимыми лесками пространства Киевогорского поля. Однако мои спекуляции с И ЦЗИНОМ, которыми непонятно почему я последнее время занимался, превратили эту акцию скорее в метеорологическую.

Вначале предполагалось натянуть десять лесок, но Коля согласился сократить число лесок до шести, чтобы на поле выстроилась гексаграмма ЦЯНЬ (творчество), которая потом, когда лески порвутся, должна была превратиться в гексаграмму КУНЬ (исполнение). Меня развлекал этот возникающий здесь тавтологический каламбур: в результате акции



мы получали исполнение творческого замысла вообще, перформанс как таковой (основное значение английского слова «перформанс» — исполнение, по-китайски «кунь»). Но я никак не предполагал, что и цзиновская программа в момент ее реализации на поле точнейшим образом совпадет с изменениями погоды.

Впрочем, в субботу, накануне акции мне позвонил Ромашко и категорически отказался принимать участие в акции, так как его, в этот субботний вечер, как он выразился, «чуть не свалил с ног порыв ветра со снегом». На воскресенье обещали плохую погоду, и Ромашко, несмотря на мои уговоры, отказался заниматься «бессмысленным героизмом». Пришлось переиграть функции организаторов: на подготовку поехали Лена Елагина, Коля, Витя Сальников из Одессы и я. Чуть позже приехал Кизевальтер.

Мы добрались до поля часов в одиннадцать. Погода была хорошая — ясный осенний день с редкими порывами несильного ветра. Мы с Леной привязывали концы лесок к деревьям, а Коля с Витей связывали куски лесок и укрепляли их концы к вороту на противоположной стороне поля. Панитков придумал замечательный способ размотки лесок: он надевал кольцо на термос и с огромной скоростью носился по вспаханному полю. Мы с Леной ковырялись значительно дольше. Нужно было залезать на деревья. Впрочем, лазанье по деревьям мне доставляло удовольствие.

Наконец, все лески были связаны и мы собрались у черного тао-образного ворота и стали ждать зрителей. Минут через тридцать на противоположном конце поля появилась маленькая группа. Несколько человек медленно пробирались по вспаханному полю к нам. Когда они подошли достаточно близко, уже можно было различить Игоря Макаревича, Машу Константинову, Вику, Илью, Иосифа, Андрея Филиппова, Диму и Борю Михайлова. Погода, до того совершенно ясная, начала портиться. Пошел снег. Сначала редкий, крупный — большие белые мухи, а потом, когда Коля начал крутить ворот, погода начала совершенно фантастическим образом меняться с огромной скоростью. Опоздавший Юра Лейдерман вышел к нам уже из густого снежного тумана.

Коля крутил ворот, небо темнело и темнело, снег валил сплошной стеной. Не было видно не только дальнего конца поля, но даже ближайших вспаханных борозд. На нас навалилась белая мгла, как будто на самом деле небо разыгрывало нашу партитуру: переход от шести девяток (светлое начало ян) к шести шестеркам (темное начало инь). Зрелище было

настолько невероятным, изменение погоды столь резким (первый снег, причем в таком обилии), что всем стало ясно, что дело тут не в музыке, а в игре стихии. Было полное впечатление, что Коля, стоя у черного ворота в виде Тао-креста, поворачивая его, навораживает все это стихийное дело на поле, на небо и на всех нас как какой-то повелитель воздуха. Совершенно естественным и не комичным прозвучал возглас Вики, обращенный к Коле: «Нельзя ли это дело прекратить?». Однако прекратить нельзя было в течение часа, пока не были оборваны все лески.

Впрочем, это затемнение не производило угнетающего воздействия. Оно было просто удивительным и очень красивым. Световая игра на поле, сверкание снега, перемещения темных туманных масс создавали волшебную картину какого-то нестрашного, но в то же время реального светопреобразования.

Ворот равномерно поскрипывал, лески натянутыми струнами уходили в снежный туман, в даль. И эта равномерность вращения ворота и напряженность лесок как бы обеспечивали благополучие всего этого дела, возникало ощущение, что на все это устройство можно было положиться. Потом лески начали рваться. Они рвались на довольно больших временных промежутках. И соответственно погода стала проясняться. Снег уже не валил сплошной стеной, пространство очищалось вдаль, показались туманные очертания деревьев на той стороне поля. Посветлело. Перед нами, вместо коричневой пашни, лежало огромное белое пространство сверкающего снега. Я пошел от ворота в поле вдоль последней лески, которую я привязал выше всего к толстой березе. Дошел до середины поля, держа ее в руке, скользя по ней, потом она вырвалась, натянулась и белой серебряной ниткой прорезала воздух метрах в трех-четырех над моей головой, уходя все выше к верхушке березы. Она очень красиво серебрилась и прорезала воздух на фоне крупных сверкающих снежинок. Воздух стал почти совсем прозрачным и я видел эту уходящую вверх и вдаль леску метров на 30-40. Но я дошел только до середины поля, не стал подходить к березе.

Когда я повернулся лицом к опушке, где стояла группа зрителей у ворота, низко над лесом прорезалась мягкая, нежнейшая голубизна чистого неба — довольно широкой и длинной полосой, вроде щели. Потом, когда уже все лески были порваны, началась фантазмагория очищения неба, его просветления — на нем появлялись невероятные синие и голубые цвета, желтые и золотые блики и всполохи солнечных лучей на облаках и т.п. Но самый первый прорыв именно нежнейшего голубого

неба, к сожалению, видел только я, потому что полоса мягкой голубизны возникла за спинами наших зрителей и очень низко над лесом. Воздух стал совсем прозрачным. Все вокруг сверкало. Мы возвращались по хрустящему снегу, пересекая по опушке просветлевшее и как будто во много раз увеличенное поле, над которым в невероятную глубину и синеву, постоянно меняясь, пролетали мощные, ослепительные облачные гряды. Это была уже и не осень и еще не зима, какое-то редкое сочетание (тонких частиц «ци»?) прозрачности воздуха, высоты неба, скорости и белизны облаков, сияния солнца. Когда, уже в Москве, я узнал от Коли последовательность разрыва лесок, оказалось, что самое сильное мое переживание в поле (голубая полоса над лесом) совпало с моментом разрыва третьей лески, т.е. на поле возникла гексаграмма ГУАНЬ, созерцание. В толковании второй позиции этой гексаграммы есть фраза: «Созерцание сквозь щель». И, действительно, та нежная голубизна над лесом, которая так меня поразила, прорезалась тогда сквозь тучи в виде длинной горизонтальной полосы. Я, действительно, видел ее как бы сквозь щель в тучах. Реализация этой метафоры была полной.

Ноябрь 1985 г.

РАССКАЗ ОБ АКЦИИ «ЛОЗУНГ-86»

Из всех акций эта была для меня самой мучительной. Кошмары начались еще с ночи накануне дня акции. Часа в три я проснулся от хохота и топота ног на лестничной клетке. С верхних этажей со страшным шумом спускалась какая-то пьяная компания. Я слышал, как они хлопнули дверью подъезда и вывалились на улицу, завернули на Кондратюка, продолжая во всю глотку хохотать и петь песни.

Почему-то проходя мимо ветеринарной лечебницы, ее видно из моего окна, один из мужиков стал очень громко ухать, подражая уханью филина или совы (не знаю, впрочем, ухает ли сова). Из-за забора ветлечебницы на его уханье раздался собачий лай. В ответ мужик стал гавкать, дразня собаку. Наконец это уханье, вой и гавканье укатилось вместе с пьяной компанией вниз по Кондратюка и на ночной улице стало тихо.

Меня все это дико раздражило. Я заснул только в третьем часу, а тут они меня сразу разбудили своими песнями, шумом, да еще ухали и лаяли совой и собакой, с изображениями которых мы должны были иметь дело во время акции.

У меня началось что-то вроде шизофренического шуба.

Чувство злобы было невероятным. Я достал карту Московской области и зачем-то, вероятно, в порыве какой-то магической мстительности, колдуньей злобы начертил зеленым фломастером в центре карты 36 гексаграмму, «Поражение света» — прямо по территории Москвы, которая была закрасе-

на на карте красным. Потом нашел на карте Калистово, куда мы должны были утром ехать, посмотрел по И Цзину гексаграмму под номером 19 (было как раз 19 октября), это оказалось «Посещение» — весьма благоприятная гексаграмма. Я ее тут же изобразил на карте, наложив ее на район Калистово (вероятно,



этот жест — своего рода «оберег», что ли, — я мало отдавал себе отчет в том, что делаю. Вероятно, этими нелепыми действиями я просто хотел сбросить с себя раздражение из-за того, что меня разбудили). Потом я кое-как уснул.

На вокзале мы собрались непривычно быстро и в итоге благополучно добрались до горы — километрах в двух от станции. Ира и Маша стали красить карту, а я рыть ямку для «секрета». Погода была солнечная, но быстро холодало. Я отдал свое пальто Ире. Довольно тяжелым переживанием для меня было, когда Ирка ни с того ни с сего навалилась на меня со спины (я сидел на корточках и украшал звездочками то ли сову, то ли собаку) всем телом, как богиня Нут, вцепилась в меня буквально как краб какой-то мертвой хваткой и так провисела на мне, что-то вереща мне в ухо, наверное, минут десять. Это было довольно истерически.

Потом, когда мы все зарыли (причем я сильно окровавил себе палец об осколок бутылки в яме), случилась чертовщина с фотоаппаратом. Я нормально снял нужные два кадра, а когда подошел к обрыву и хотел сделать еще снимок, переводной рычаг заело. Я позвал Гогу. Он посмотрел аппарат и говорит: «Да ты посмотри, что тут такое!». Я посмотрел — на правом боку футляра, на металле, сильная вмятина. Откуда она взялась (фотоаппарат никто вроде не бил и не ронял), мы так и не выяснили. Во всяком случае все это было довольно неприятно.

Мы распили две бутылки «Южной ночи», согрелись. Начало темнеть. Гога, Ира в моем пальто и Маша пошли вперед. Мы с Колей немного отстали, а потом в полной темноте совсем потеряли их из виду и заблудились. Перелезали через какие-то кучи земли, заборы, потом попали в болото, еле вылезли оттуда. Когда дошли до станции, наши уже уехали. Я остался без пальто. Было довольно холодно. Весь в грязи, трясясь от холода, я ехал в электричке и не знал, как попасть домой — ключи остались в кармане пальто, в котором уехала Ирка. Мы заехали к Коле, я позвонил Ирке, оказалось, что она отдала пальто Гоге. Коля дал мне свою старую рваную куртку и я на такси поехал к Гоге за пальто. Ключи оказались на месте. И я благополучно добрался домой.

На следующий день была странная погода — влажная, теплая и воздух светился каким-то желто-коричневым оттенком. Как будто нефтяной лак, которым мы накануне покрыли карту СССР в очень разбавленном виде просачивался с неба почти невидимой, легкой моросью и как-то размягчал все вокруг.

19 января 1986 г.

«ЛОЗУНГ-2003» (ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КНИГА)

Акцию с часами и Хайдеггером следует рассматривать в контексте цикла «лесных» акций. В первой акции этого цикла — «625-520» использовалась книга Канта. При всех других значениях здесь важно подчеркнуть удивительную толщину этой книги, ее странный вид: при обычном формате необычная толщина. Эта курьезная книга на тряпке вместе с магнитофоном, к которому она была привязана, осталась в лесу над узкоколейкой на месте действия и, по-видимому, была снесена и утащена по рельсам поездом-снегоочистителем. Мы видели этот поезд и прятались от него в сугробе, когда приехали на следующий день после акции «измерять» ее правильное название (по расстоянию от Рогачевского шоссе).

Координаты той акции строились на расстояниях, метраже, то есть были прежде всего пространственными координатами, о чем и говорится в названии акции — «625 метров — 520 метров». Акция же с часами координировалась временными характеристиками — «14 часов 7 минут — 15 часов 13 минут» — начало и конец акции.

Зрители подошли к портрету Хайдеггера на просеке уже вне временных рамок акции. Портрет Хайдеггера был связан с акцией с часами и магнитофоном, но связан пространственно и буквально — нитью, протянутой по лесу от магнитофона до портрета, но он никак не связан с временными параметрами акции.

Портрет был неким маркером ментально-целевого объема созерцания, ради которого и была создана вся эта система «смотровой площадки», выстроенная часами, веревкой, магнитофоном с фонограммой и т.д. И это пространство (объем «места на просеке») было свободно от временных рамок, которые были четко зафиксированы и «сняты» «смотровой площадкой» акции — через установку часов, работу фонограммы и через раздачу фактографии, обозначающую конец акции.

Созерцание портрета Хайдеггера происходило в «другом» времени, не акционном. Это было чисто топографическое событие, переживание.

Кроме того, особенная пространственность, вычлененность и акцент на этом подчеркивались необычным размером портрета — он был очень маленьким — 6,5 см. на 9 см. Этот *ракурс размера* — так же, как и в случае с толщиной книги Канта — подчеркивал пространственное качество события через *искажение* пластики использованного предмета: слишком толстая книга в первом случае и слишком маленький портрет во втором.

Можно сказать и так, что пребывание зрителей у портрета Хайдеггера было уже другой акцией, а именно акцией под названием «Лозунг-2003».

Все «Лозунги», которые мы делали, рассчитывались на анонимного зрителя. Они оставлялись нами в разных местах — и за городом, и в городе. Их существование в этой анонимной зрительской зоне было «пустым действием», внедемонстрационной (для нас) событийностью с неизвестным концом.

С годами эта зона («пустое действие») захламлялась оставленными там предметами, превращалась в мусорную свалку символов. На этой свалке скопились не только предметы «Лозунгов», но и вообще все оставленные предметы акций, которых было много (включая и, например, книгу Канта, тряпку с надписью «Шведагон», оставленную на месте после одноименной акции и т.п.). Эта зона постепенно приобрела крайне нежелательное для эстетики КД качество какого-то «тайного», сакрального места, не абстрактной категориальной «потаенности», например, а именно чулана, кладовки с конкретными вещами, оставленными там «тайно» от зрителей.

Фигура такого «тайного» оставления была проделана и в акции с часами, когда я и Маша Константинова пошли от магнитофона, разматывая черную нитку, вешать на просеке Хайдеггера, запретив зрителям следовать за нами.

Опредметив таким образом эту «тайную зону», мы вернулись к зрителям и закончили акцию на поле. Если бы после акции мы не пошли по просеке мимо портрета Хайдеггера, повели бы зрителей другой дорогой к машинам, эта зона, «кладовка» так и осталась бы «запертой», «сакральной». Более того, в ней бы прибавилось еще «тайного» хлама в виде этого портрета. Но поскольку зрители на обратном пути после акции оказались рядом с портретом и смогли его увидеть, эта зона десакрализовалась, перестала быть анонимной. Конкретика «потаенности» редуцировалась, «кладовка» очистилась от всего накопленного в ней ранее. Было очищено место «пустого действия». Конечно, в ней остался этот портрет. Его потом

кто-то увидел и сорвал. Но все это произошло уже как бы на «пустом месте», в автономной от акции с часами акции «Лозунг-2003».

Мне представляется, что именно в этом жесте феноменологической редукции по отношению к зоне «пустого действия» и состоял смысл акции с часами как некой пространственно-временной конструкции, на которой и был «повешен» «Лозунг-2003». Он был повешен как бы на очень длинной веревке, которой мы инсталлировали лес, с помощью технических приспособлений в виде двух больших часов, магнитофона с фонограммой и того дискурса, который воспроизводился на магнитофоне. Эти сугубо технические приспособления (никакого символического значения «времени» в часах не предполагалось и не было — они использовались исключительно как механизмы определения рамок и названия акции) позволили создать — через *технизацию* времени — пластическую конструкцию из времени (время как *технизм*), с помощью которой и был повешен «Лозунг-2003» в виде маленького портрета Хайдеггера, растянутого на четырех нитях на просеке.

Но прежде всего техническим дискурсом акции с часами выстраивалась и выявлялась *метафизика места*, где был повешен портрет Хайдеггера.

Сначала конкретная (неметафизическая) привязка к месту и его тематизация произошла на полянке, где зарыта «Библиотека» и где были повешены первые часы акции. Там, под землей, лежат и *действуют* книги акции «Библиотека», постоянно двигаясь во времени этого подземного сюжета в совершенно неопределенном направлении, неопределенность которого возросла до полной абстракции и неизвестности мотивов после того, как в акции «Мешок» там были вырыты часы, установленные на время Рангуна. Погруженность этого места во время «движения земли», в поток нечленимого поэзиса как бы раскрутила (как пружина) временной сюжет с веревкой, прокладываемой через лес ко вторым часам акции.

Техническая, временная сторона этого «разматывания» и «раскручивания» обеспечивалась чистой потаенностью, коренилась в погруженном под землю сюжете с книгами как «посылочными» предметами («почтовыми» свертками, зарытыми в земле). Этот мотивационный контекст действия — поэтическая (а не метафизическая) сторона происходящего в акции. В то время как метафизическая линия, ведущая к месту на просеке с Хайдеггером, *проступала*, возникала через трансформацию предметно-книжного дискурса в речевую фонацию фонограммы на магнитофоне. Она прочерчивалась как бы «сбоку», на ответвлении и «возвышении».

От футляра из белого меха с магнитофоном, подвешенным над землей в лесу, который своим видом почти точно повторял форму под-

земных свертков с книгами и из которого раздавался текст, в сущности, ничем не отличающийся от текстов в зарытых книгах и тем самым являющийся как бы озвученной *четырнадцатой книгой* (в «Библиотеке» зарыто 13 книг), шла нить к месту на просеке с портретом Хайдеггера, которое (место) *проступало* в результате всех этих дискурсивно-текстовых и пластических трансформаций как некое возвышенное, приподнятое и метафизированное событие. Через четырнадцатую звуковую книгу трансцендировалось две визуализации: одна — это фактографические иллюстрации из книги о полярниках, врученные зрителям в конце акции с часами, вторая — *проступание* места с портретом Хайдеггера (который тоже был взят из сборника статей Хайдеггера, откуда читался завершающий фонограмму «четырнадцатой книги» текст философа).

Важный здесь момент «проступания» как динамической фигуры акта трансцендирования и перевода поэзиза в метафизику уже использовался нами в акции 6 тома «Поездок за город» под названием «Альбом для путевых заметок и зарисовок», где в большой черной тетради был помещен портрет Стефана Георге, наглухо закрытый белым листом бумаги таким образом, что его (портрет) можно было видеть только в случае, если плотно прижать этот белый лист к подложке, на которой был наклеен портрет — тогда он *проступал* сквозь лист в виде белого контура.

Итак, звуковая «четырнадцатая книга» этой акции (магнитофон в чехле из меха) служила механизмом трансцендирования в двух направлениях. С одной стороны — открывающегося простора (Die Gegend) нового для КД поля, на краю которого были вывешены вторые часы и где раздавались фотографии с полярниками как бы «вынутые из-под земли» из книг «Библиотеки». Это по преимуществу свободное и чисто поэтическое развертывание пространства, своего рода игра в «полярников» на новых «полях» или что-то в этом роде. С другой стороны трансцендирующий механизм «четырнадцатой книги» включал метафизику места (Ort), обнаруженную на возвратном пути зрителями «на проселочной дороге» (просеке), иконически маркированную портретом метафизика Хайдеггера.

Анализируя и описывая становление этого места (на просеке) как особого и «трансцендентного» по отношению к акции с часами (к «смотровой площадке», с которой оно созерцается в нашем дискурсе), важно иметь в виду, что речь идет не о конкретном портрете Хайдеггера, повешенном там-то и там-то (портрет — это только одна из составляющих художественного, а не эстетического акта) и не о других эмпирических подробностях этой просеки. Речь здесь прежде всего идет о крупных

эстетических блоках, о демонстрационной знаковой зоне, демонстрационном поле, «снятая» потаенность части которого превращает эту часть («просеку») — через его контекстуальное экспозиционирование — в демонстрационное поле «второго уровня», «трансцендентное» по отношению к демонстрационности всей предваряющей истории с часами, веревкой и магнитофоном. И созерцаются здесь не те или иные акциденции на этом поле, а сама его структура, ландшафты и планы разнорядковой пустоты. Это как если бы мы попали внутрь картины, пейзажа и переместились на ее дальний план. Конечно, мы увидели бы там и какие-то подробности (типа портрета Хайдеггера, ниток, веток и т.п.), но главное созерцательное событие в этом приключении все же то, что мы оказались в этих едва различимых объемах дальнего плана, в пустоте другого пространства с невидимыми с исходной позиции горизонтами, высотами, мотивами и обстоятельствами, уже открытыми для нас, но еще никак не обозначенными. Там нет ничего, кроме других возможностей и новых направлений движения, кроме другой истории со своими пока не существующими подробностями и значениями.

Продолжая аналогию с дальним планом картины и обнаружив, что мы ничего не можем сказать о том, что там, впереди нас, еще дальше от того места, куда мы попали, в будущем (это может быть обнаружено только в следующем конкретном пространственно-временном эстетическом акте, в нашем случае жанрового предпочтения — в следующей акции), мы можем в то же время обнаруживать ближние, пройденные планы (прошлое) в виде различного рода интерпретационной шелухи и аллюзий, связанных с художественной конкретикой наших маркировок этих самосозерцательных объемов.

Так, например, забавными представляются две фотографии, снятые на просеке у портрета. Одна из них изображает группу зрителей необычно плотно стоящих за портретом Хайдеггера между березами. Группа не просто стоит в свободных позах как это обычно бывает на групповых фотографиях зрителей КД, сделанных после акций, а как бы интимно-целестремленно демонстрирует свое стояние в лесу, где лесом является не просто местность, поросшая деревьями, а метафорическая фигура речи, фигура Volkisch-дискурса в стиле кружка Стефана Георге (можно даже сказать, что зрители изображают не сами себя, участников акции КД, а членов George-kreis — и даже в большей степени именно кружка Стефана Георге, как мне это почему-то представляется по наитию свободной аллюзии, чем группу почитателей Хайдеггера, зачем-то собравшихся в лесу у его портрета).

Вторая странная фотография снята С.Хэнсен, когда она одна пошла от магнитофона по нитке к портрету вместо того, чтобы вместе с другими участниками акции двигаться дальше в лес за веревкой. На фотографии изображен сидящий на



бревне рабочий-монтер, а напротив него совсем рядом — портрет Хайдеггера. Если бы вместо рабочего на бревне сидел крестьянин, возникла бы полная аллюзия с философской агиографией из речи Хайдеггера «Почему мы остаемся в провинции», где повествуется о том, как Хайдеггер по вечерам сидит в молчании рядом с крестьянином и делается вывод, что «место философии — среди крестьянского труда». Но и фигура рабочего здесь не менее интересна, поскольку вполне может быть прочитана как иллюстрация к «Der Arbeiter» Э. Юнгера — весьма важной книги для Хайдеггера.

Надо сказать, что на всей довольно болотистой просеке место, где мы повесили портрет, было единственным подходящим (мы обнаружили это через несколько дней после акции) — оно было сухим, возвышенным, с тремя большими березами (в других местах просеки — сплошной кустарник), с интересным фоном леса за ним. Разматывая черную нитку от магнитофона, мы вышли на него совершенно случайно, но именно сразу на него.

Портрет Хайдеггера — позднего периода. Он изображен в куртке лесничего (с дубовыми листьями на лацканах). В этот период творчества он не мало занимался «метафизикой места» и в этом смысле его портрет вполне подходил для маркировки «вневременной» событийности эпизода с «Лозунгом-2003».

Очень яркий элемент «Рыбака», который возник в акции в виде монтеров, прокладывающих кабели для ЛЭП на просеке (действительно, эти монтеры как будто сошли с тех фотографий поляриков, которые мы раздали в конце акции зрителям), на мой взгляд, не имеет никакого «итогового» звучания и значения и вряд ли относится к подробностям «дальнего плана» из нашей аналогии с картиной, а, скорее всего, целиком принадлежит к технической по отношению к «Лозунгу-2003» акции с часами. Конечно, эта «мистическая» рутина совпадений каким-то образом конкурировала с уже другим пространством «Лозунга-2003» (монтеры как нарочно крутились около портрета и когда мы его с Машей вешали, и когда подошли к нему со зрителями), но шла как бы «параллельно» и «чуть сзади» события «Лозунга».

ОБ АКЦИИ «ПОЛЕТ НА САТУРН»

Полной неожиданностью, когда мы поднялись на холм, оказалось то, что холм этот — большая куча компоста (навоз, смешанный с соломой).

Когда мы его нашли в феврале, он был покрыт снегом, и что на самом деле он собой представлял, было неясно.

Тогда, под снегом, ландшафт с холмом производил какое-то «космическое» впечатление из-за геометрической ровности холма и окружающих больших снежных пространств с линиями следов от снегоходов, один из которых мы видели, когда первый раз приехали в то место рядом с деревней Аксаково. Полусферический холм под снегом и эти ровные дуговые следы вокруг на снегу как-то ассоциировались со схемами дви-



жения планет по орбитам. А теперь, после того, как стало ясно, что это — куча компоста, я почувствовал себя в атмосфере компьютерной игры «Wonderland» (про Алису в стране чудес), в которую я играл в 1991 году — там куча компоста тоже была важным моментом.

Наиболее существенная особенность акции «Полет на Сатурн» — то, что она была полностью лишена атмосферы фрустрационности (в моем сознании), в которой проходили (опять же для меня) все последние акции. Я уже так привык к чувству растерянности, возникающему у меня вокруг и во время акций, что отсутствие его меня удивило. В «Полете на Сатурн» все оказалось «плотным», как это бывало в ранних акциях.

Пытаясь понять, в чем же дело, мне пришло в голову, что, во-первых, причина в том, что в основу этой акции была положена схема из моего текста 75-го года «Атлас» — то есть из произведения, сделанного еще до того, как КД начали работать. Эта схема — часть довольно сложной текстовой структуры, в ней много чисел и она совершенно непонятна, если вырвана из контекста. Важно то, что это элемент совершенно другого ряда, не связанный со структурными рядами (особенно числовыми) акций КД.

Эта «другая рядность», видимо, по принципу «клин клином вышибают», совершенно сняла тягостное чувство погруженности и беспомощного барахтанья в числовых рядах КД — типа «Кольцо КД», «Общий список акций» и т.п. Причем сама эта акция не открывает какой-то другой ряд акций, новый цикл — а просто существует сама по себе. Она создала свое собственное выделенное пространство, очень органичное в двух смыслах — как цельная, самозамкнутая композиция и как построенная на «органике»: химик-органик Зайцев, органика навозной кучи и черного хлеба.

У схемы из «Атласа» два значения в акции — создание другого семантического пространства вообще, и такого пространства, которое было бы абсолютно непонятно, непрозрачно в частности (в контексте акции, а не в контексте работы «Атлас», где она, при условии внимательного прочтения, понятна).

Высокая степень непонятности, абсурдности и герметичности — именно то, что мне хотелось в этой акции.

Образ буханок хлеба в качестве «паспарту» для портретов мне пришел в голову, когда я вспомнил шизофазический текст с учебной пластинки по психиатрии. Там один больной говорит: «Возьмем буханку черного хлеба, поставим ее на Кольский полуостров...» и т.д. У большинства людей, которые знакомятся с этой акцией, буханки с портретами ассоциируются с какими-то «гробиками», могилами, колумбариями. Ничего

такого я не имел в виду, когда придумывал этот образ. Неожданное сопоставление, абсурд — вот что мне было важно. Некая миражная контаминация чуть-чуть может просматриваться в этих буханках только в том смысле, что Сатурн у римлян был богом посевов и плодородия. Скорее эти буханки могут рассматриваться как «трансцендирующие» площадки для портретов неизвестных (мне) деятелей науки и летчика Серова.

Текст рассказа Гаррисона о посадке на Сатурн в огромном металлическом шаре с толщиной стенок 10 метров меня тоже привлек своей абсурдностью. Герои рассказа опускаются на поверхность Сатурна в этом шаре без окон, без дверей и без приборов (кроме манометра). Внутри шара они попадают с помощью телепортации.

Кроме абсурдности и непонятности, для меня было важно то, что все элементы акции не имеют никакого отношения к современным контекстам. Рассказ Гаррисона — 1969 года. Портреты (я подбирал их по принципу незнакомости мне) из Большой советской энциклопедии 52-55-го годов, лист-схема — из моей работы 75-го года.

Из примерно трех размерных модулей, принятых в БСЭ, взятые мной портреты — самые маленькие. Таких портретов в энциклопедии больше всего. Первым я нашел химика-органика Зайцева. В органической химии известно Зайцево правило — закономерности порядка отщепления и присоединения галогеноводородных кислот. Академик Заварицкий — специалист в области петрографии и петрохимии. Серов — советский военный летчик, в 39-м году был начальником Главной летной инспекции Военно-Воздушных Сил Советской Армии; в том же году погиб во время воздушной катастрофы. В Свердловской области есть город Серов, переименованный в его честь. Наибольшее подозрение (с точки зрения помещения его в ряд портретов) у меня почему-то вызвал академик Семенов. Он занимался цепными реакциями. Потом в интернете я обнаружил, что в 56-м году ему была присуждена Нобелевская премия. А статья про него в энциклопедии — 55-го года. То есть он оказался более известным, чем я предполагал (так что мои сомнения были не совсем необоснованными, если учесть, что критерий отбора портретов — не слишком широкая известность людей, изображенных на них).

В акции каким-то образом присутствовала атмосфера «экспедиционности», может быть, она была задана своего рода «спецодеждой», когда все одели на ноги большие черные полиэтиленовые пакеты, примотав их скотчем.

Центральным моментом был проход Лейдермана и Ситара от холма до объекта по снежному полю. Расстояние прохода и само пространство определялось границей слышимости/неслышимости фонограммы (объект был инсталлирован на этой границе). Герметичность акции придавала еще и жесткая геометрия ее элементов — почти правильная полусфера холма, прямоугольник листа-схемы с ее геометрическими фигурами и числами, параллелепипеды буханок хлеба, прямоугольники портретов, приподнятые над схемой высотой буханок и т.п.

Через пять дней акции мы поехали на поле посмотреть, что осталось от объекта. К нашему удивлению, все буханки были целы вместе с портретами в них. Некоторые были повалены набок (видимо, от ветра, который разметал схему и свалил с нее буханки). Но целостность их была удивительной — ни птицы, ни мелкие грызуны, следы которых мы обнаружили на поле, не повредили буханки. Мы привезли их в Москву и пытались высушить у батареи. Три буханки буквально к вечеру того же дня треснули, и их пришлось выкинуть. Дольше всего продержалась буханка с Зайцевым — не менее недели, но потом тоже стала трескаться и в конце-концов развалилась.

Апрель 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

некоторые описательные тексты акций, упоминаемых в книге

Н. АЛЕКСЕЕВУ

Встреченный участниками акции Н.Алексеев, не знавший, в чем будет заключаться акция, в 12 часов дня был приведен в один из дворов в районе метро «Сокольники». Ему было предложено занять исходную позицию — встать лицом к А.Монастырскому на расстоянии 20 метров от него. Затем Н.Алексееву была вручена для ознакомления инструкция о его последующих действиях (см. приложение).

Постояв минут пять-семь после того, как Н.А. ознакомился с инструкцией (спиной к нему), А.М. двинулся в путь, ведя за собой Н.А. (на расстоянии 20 метров) по произвольному маршруту, лишь в общих чертах сообразуя его с запланированным временем движения (три часа) так, чтобы к 15 часам оказаться в районе метро «Преображенская площадь», где к этому времени была назначена встреча с другими участниками акции: оттуда должен был развернуться следующий ее этап. В течение этих трех часов во время движения А.М. была проведена серия незапланированных импровизационных действий (см. рассказы А.М. и Н.А.).

Достигнув указанного места, А.М. и следовавший за ним Н.А. были встречены и остановлены Н.Панитковым, который начал читать Н.Алексееву инструкцию о его дальнейших действиях, делая во время чтения паузы различной длительности (см. приложение). Во время чтения инструкции А.М., скрывшись из виду Н.А., ознакомил находящегося поблизости и также скрытого от Н.А. С.Ромашко с инструкцией о его действиях (см. приложение). Причем С.Ромашко не знал, в чем должна состоять акция — включая и предшествующий ее этап, т.е. путешествия А.М. и Н.А.

Таким образом С.Ромашко и Н.Алексеев (не знающий, что следом за ним идет С.Ромашко) в соответствии со своими инструкциями двинулись в путь и окончили акцию в 16 часов 10 минут у метро «Сокольники» (см. рассказы С.Р. и Н.А.).

Москва

13 сентября 1981 года

А. Монастырский, Н. Панитков, С. Ромашко, Г. Кизевальтер.

М

Приехавшие по приглашению зрители (30 человек) сгруппировались на краю поля на площадке в виде трапеции (контуры ее были выложены сеном), в центре верхней «перекладины» которой был оставлен узкий проход-выход.

По командам одного из организаторов акции зрители один за другим (с интервалом примерно 5 минут) выходили с территории площадки, минуя лежащий у выхода из нее на земле магнитофон (1), звучащая фонограмма которого представляла собой запись работающего эскалатора метро — громкий вибрирующий лязг.

Минуя магнитофон (1) и двигаясь по дороге, пересекающей поле (около 500 м), они подходили к столику, установленному посередине дороги, на котором лежали бинокль, свисток и прикрывающая стопку конвертов картонка с инструкцией. Под столиком, задрапированным фиолетовой тканью, находился магнитофон (2), фонограмма которого представляла собой документальную запись объявлений в метро типа «Станция Кировская» и «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Площадь Ногина». Звучание каждого такого объявления было отделено от другого паузой тишины длительностью полторы минуты. Таким образом, зрители могли услышать (или не услышать) эти объявления либо еще не доходя до столика, либо возле, либо уже отходя от него.

Текст инструкции на картонке:

1. Возьмите бинокль и внимательно посмотрите на оставшихся на исходной позиции участников акции. Смотрите в бинокль не более 30 секунд. (Примечание: Во время смотрения в бинокль можно было видеть стоящих по краям группы зрителей и немного выдвинутых вперед Паниткова и Монастырского; у каждого из них на груди были повешены соответственно — золотые крылья и серебряный шар небольших размеров, которые не могли быть видны с территории площадки).

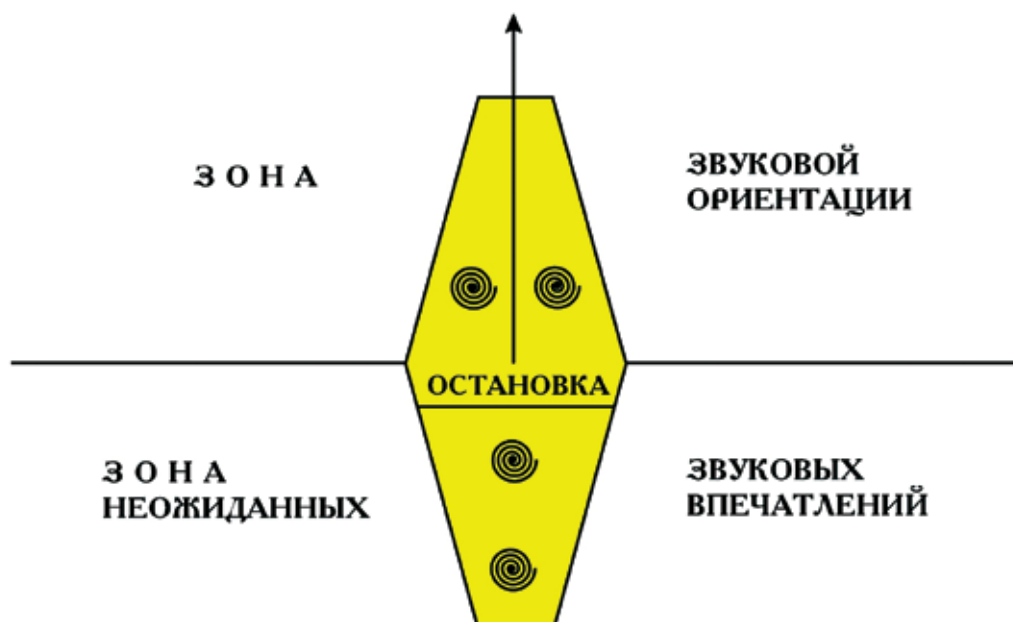
2. Положите бинокль на место и поднимите картонку, на которую наклеена эта инструкция. Из пачки конвертов, лежащих под картонкой, возьмите себе на память один верхний, положите в него лист с текстом, лежащим на конверте. Затем накройте кипу оставшихся конвертов картонкой с инструкцией — так, как она лежала сначала. (Примечание: к каждому конверту, маркированному буквой «М» и подписанному «Коллективные действия», был приложен листок, в центре которого была надпись: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ИЗДАЛИ НА ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПАНИТКОВА И СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР МОНАСТЫРСКОГО. Слева и справа от надписи помещались эмблематические рисунки крыльев и шара, над которыми красным фломастером были написаны маленькие буквы «м»).

3. Возьмите свисток и как можно громче свистните в него в сторону ближайшего леса. Услышав ответный сигнал, положите свисток на место и идите на звук ответного сигнала.

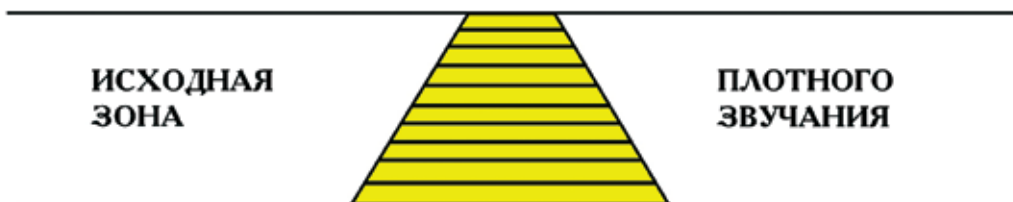
ЗВУКОВАЯ ТОПОГРАФИЯ



ЗОНА ВИЗУАЛЬНО - ЗВУКОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ



БЕЗЗВУЧНАЯ ЗОНА
ВИЗУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ



В Х О Д

В лесу, на расстоянии 150 метров от столика дальше по дороге находился С. Летов с набором духовых инструментов (саксофоны, валторна, корнет, гобой и др.). Услышав звук свистка от столика, Летов начинал играть на одном из инструментов до тех пор, пока зритель не подходил к нему. Подойдя к Летову, зритель получал от него устное указание двигаться в глубь леса на следующий источник звука. На расстоянии 80 метров от Летова в глубине леса находился магнитофон (3), фонограмма которого представляла собой запись сильного шума и грохота, какой бывает внутри вагона метро в период критической скорости движения поезда (документальная запись).

По мере приближения зрителя к магнитофону (3) звук его усиливался и где-то с расстояния 20 метров зрителю открывался вид на небольшую поляну, в центре которой, укрепленная с помощью крепкой лески между деревьями, висела конструкция: двухметровые золотые крылья и под ними серебряный шар (из фольги) диаметром полтора метра. Шар висел на расстоянии полуметра от земли, а под ним, скрытый сухой травой, лежал магнитофон.

При подходе зрителя к конструкции и магнитофону (3) ему вручался лист с рисунком шара и крыльев (в центре их была написана красным фломастером буква «М»). По краям листа помещалась надпись: ОБЩИЙ ВЗГЛЯД С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ НА ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ И СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Затем ему вручалась папка из бархатной бумаги желтого цвета, на обложке ее была укреплена фурнитурная эмблема «золотые крылья», а внутри — схема звуковой топографии акции и ее фактография.

Сквозь сильный шум третьего магнитофона, зайдя за конструкцию в лес зритель мог с трудом различить звуки скрипки, доносящиеся из глубины леса. При подходе зрителя к источнику звука он обнаруживал магнитофон (4), фонограмма которого представляла собой запись «Музыки на краю» — 45-минутная импровизация дуэта скрипки и фортепиано, сделанная специально для акции «М». Магнитофон с «Музыкой на краю» был углублен в лес от конструкции с шаром и крыльями и от третьего магнитофона на расстояние 80 метров.

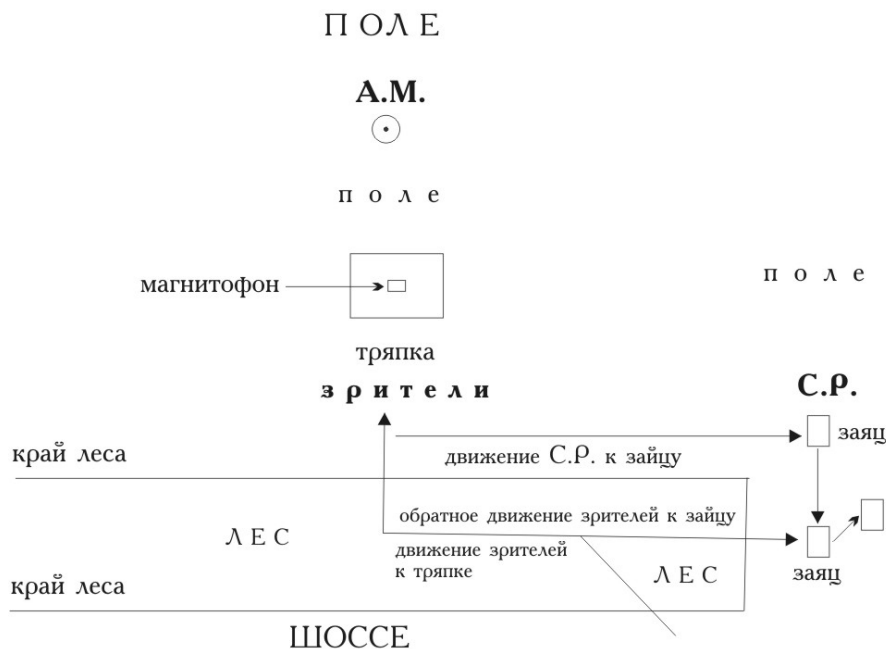
Акция длилась два часа.

Моск. обл., поле возле деревни «Киевы горки».

18 сентября 1983 года

А.Монастырский, Н.Панитков, И.Макаревич, С.Летов, Е.Елагина,
Тод Блудо, М.К., Н.Алексеев, И.Яворский, В.Гончарова, Е.Романова.

РУССКИЙ МИР



Группа зрителей была встречена на шоссе С.Ромашко, который предложил приехавшим пройти на поле по заранее протоптанной в глубоком снегу тропинке. Важно, что при движении группы С.Ромашко шел последним. Когда зрители вышли на край поля и остановились у фиолетовой тряпки с белым пологом, лежащей на снегу (в центре ее стоял уже включенный на воспроизведение магнитофон), Ромашко свернул с тропинки направо и пошел вдоль леса по снежной целине по направлению к заранее установленному нами у края леса метрах в 70 от зрителей фанерному зайцу. Контур зайца (высота — 3 м) был установлен лицевой стороной к полю и боком к зрителям: с позиции зрителей он напоминал торчащую из снега палку или щит.

В то время как Ромашко с трудом пробирался к зайцу, не привлекая к себе особенного внимания зрителей (так как он двигался вдоль леса и не попадал в поле зрения группы), зрители слушали фонограмму, представляющую собой запись процесса сколачивания и установки зайца, сделанную за два часа до начала акции. Кроме того,

во время продвижения Ромашко зрители могли наблюдать неподвижную фигуру Монастырского, стоящего в глубине поля метрах в 70 от тряпки, напротив нее и лицом к зрителям. Стоя на своей позиции напротив тряпки и отделенный от зрителей снежной целиной (А.М. вышел на свою позицию до появления зрителей на поле обходным путем, так что следа, протоптанного в снегу между тряпкой и А.М., не было), А. Монастырский равномерно наматывал белую нитку на «Мягкую ручку» — заранее изготовленный объект, представляющий собой вырезанный из толстого картона диск с вытянутой ручкой; на одной стороне диска было наклеено изображение циферблата со стрелками, другая представляла собой красный круг с серебряной фурнитурной пятиконечной звездой в центре; на ручку диска предварительно было намотано 200 метров белых ниток, так что во время акции нитки наматывались с другой катушки на заранее намотанный нитяной слой. Однако расстояние, разделяющее зрителей и А.М., не позволяло рассмотреть ни «Мягкую ручку», ни сам процесс наматывания на нее белых ниток: процесс намотки воспринимался как едва заметные колебательные движения какого-то неопределенного предмета в руках А.М.

Где-то через 6-7 минут после начала движения, С.Ромашко достиг своей позиции и, сначала едва заметно, как бы сбивая снег с ботинок, начал постукивать ногами по нижней части фанерного зайца. Постепенно он увеличивал силу ударов по зайцу так, что стуки от ударов привлекли к себе внимание зрителей. В течение 3-4 минут С.Ромашко все с большей и большей силой бил по зайцу — сначала носками ботинок, затем всей подошвой и, наконец, разбежавшись, сильным ударом ноги свалил зайца в снег. После того, как заяц был повален, Ромашко утащил его за край леса и скрылся из виду.

Как только Ромашко с зайцем скрылся в лесу, А.Монастырский повернул «Мягкую ручку» красным диском к зрителям (до этого она была повернута к зрителям стороной с наклеенным циферблатом, не выделяющимся на фоне пальто А.М.). Доматав оставшиеся нитки на ручку — 1-2 минуты — А.М. двинулся через снежную целину к зрителям. Снег был глубокий и приближение А.М. к зрителям заняло не менее 7-8 минут. Подойдя к тряпке, А.М. снял с нее магнитофон и на его место положил «Мягкую ручку» красной стороной вверх. Затем он открыл белый полог тряпки, обнаружив под ним девять предметов белого цвета, разнообразно украшенных золотой фольгой и золотыми фурнитурными крылышками. Ряд этих предметов состоял из: 1) перчатки, 2) клизмы, 3) палки, 4) головы куклы, 5) платяной щетки, 6) скалки, 7) игрушечной лестницы, 8) черного пакета с картонным противнем внутри, 9) папкой под названием «Книга небытия» (см. фото и статью А.М. «ЦЗИ-ЦЗИ»). Эти предметы были затем разложены по картонным коробкам с надписями «К.Д. Золотой аспид (далее в скобках указывалось название предмета)» и розданы тем зрителям, у которых оказались картонки (заранее врученные им) с наименованиями

соответствующих предметов. Отдельно И.Кабакову была вручена десятая коробка с надписью «К.Д. Золотой аспид (колба)» с просьбой не вынимать колбу из коробки (коробка с колбой до ее вручения была зарыта в снег).

После раздачи предметов магнитофон с фонограммой стройки зайца был выключен и зрителям было предложено отправиться в обратный путь к шоссе.

При выходе из леса, на снежной поляне, зрители обнаружили стоящего на снегу (лицевой стороной к ним) белого трехметрового зайца с золотой полосой, нарисованной на его брюхе: она представляла собой линию симметричного отражения контура его головы. Под полосой была прикреплена этикетка, аналогичная этикеткам на коробках: «К.Д. Золотой аспид (золотой аспид)».

После того, как зрители сфотографировались с предметами около зайца, заяц был повален в снег и зрителям было предложено поставить коробки с предметами на зайца. Затем Ромашко и Монастырский оттащили зайца со стоящими на нем предметами в поле на расстояние 10-15 метров от зрителей. Вынув колбу из коробки (она была покрашена в белый цвет и налита черным бензином), А.М. ударил по колбе палкой: черный бензин залил белые предметы и коробки. Затем Ромашко бросил зажженную спичку, бензин вспыхнул, предметы и коробки загорелись. В момент, когда загорелись предметы, был включен магнитофон (находящийся среди зрителей у одного из организаторов акции) с фонограммой, представляющей собой запись вокзальных объявлений типа «Скорый поезд такой-то прибывает на такую-то платформу в такое-то время» и т.п. (запись фонограммы была сделана на Курском вокзале). Когда предметы на зайце достаточно обгорели, А.М. и С.Р. начали закидывать пламя снегом и затем целиком засыпали зайца.

Моск. обл., Савеловская ж.д., Киевогорское поле.

17 марта 1985 года.

А.Монастырский, С.Ромашко, Е.Елагина, Г.Кизевальтер, И.Макаревич, М.К.

ГОЛОСА

Накануне акции А.М. и С.Р. записали на магнитофон свой разговор (45 минут), касающийся осуществленной в прошлом году акции «Описание действия» и предстоящей акции «Голоса», где должна была быть использована запись этого разговора (см. «Текст диалога»). В процессе акции, которая происходила в помещении (квартира А.М.), С.Р. и А.М. надели наушники и, слушая записанный накануне разговор, одновременно вос-

производили его голосами для зрителей. Причем С.Р. повторял с кассеты реплики и тексты А.М., а А.М., в свою очередь, повторял реплики и тексты С.Р.

Одновременно с воспроизведением живыми голосами разговора, через динамик была пущена фонограмма репортажа И.Кабакова, сделанная им во время акции «Описание действия». После того, как воспроизведение разговора было закончено, наушники сняты и фонограмма, шедшая на динамик, выключена, А.Монастырским был зачитан подготовленный заранее к акции «Голоса» текст (см. текст «С колесом в голове»).

Визуальный ряд акции «Голоса» состоял из вынесенной за балконную дверь (стекло) черной коробки с торчащими из нее тремя включенными фонарями, направленными с балкона в комнату, и куска черного резинового кабеля, протянутого по полу из ванны в форточку к коробке с фонарями (но не по центру комнаты, а сбоку, так, что он был мало заметен).

Москва

4 января 1985 г.

А. Монастырский, С. Ромашко.

И. Кабаков, Вс. Некрасов, И. Бакштейн, В. Сорокин, Ю. Лейдерман, А. Жигалов, Н. Абакова, Д. Пригов, В. Мочалова, Л. Рубинштейн, С. Хэнсен, С. Летов + 3 человека.

ПЕРЕВОД

археология пустого действия

Написанный накануне акции текст А.М., состоящий из 22 небольших частей, был предварительно переведен на немецкий язык С.Хэнсен. За несколько дней до акции — в два этапа — была сделана запись на магнитофон этого текста. Запись строилась следующим образом. Первая часть текста была прочитана на русском языке А.М. и затем повторена на немецком С.Х. Затем была записана вторая часть текста, но немецкий его перевод начал зачитываться чуть раньше конца русского текста, т.е. накладываясь акустически на его последнюю фразу. Это наложение немецкого текста (немецкой речи) на русский текст (русскую речь) с каждой его частью захватывало все больший кусок русского текста и 11 и 12 части текста зачитывались синхронно, т.е. одновременно и на русском и на немецком языках. С 13-й части немецкий текст (перевод русского) начал опережать звучание русского текста и к 20-й части текста

принцип зачитывания превратился в обратный тому, по которому была записана первая часть текста, т.е. 20 часть сначала записывалась по-немецки, а затем по-русски. 21 часть текста (эпизод «Аптека») была записана также синхронно, как и 11 и 12 части — одновременно на русском и немецком языках. Последняя, 22 часть была снова записана как первая: сначала русский текст, потом его немецкий перевод.

Второй этап подготовительной записи состоял в том, что С.Х. и С.Ромашко перевели способом повтора (см.»Голоса») текст с первой кассеты на вторую, причем С.Х. повторяла русский текст А.М., а С.Р. — немецкий перевод этого текста с голоса С.Х. Таким образом была записана вторая кассета, на которой русский текст А.М. звучал в повторном исполнении С.Х., а немецкий текст С.Х. в повторном исполнении С.Р.

В процессе акции, которая происходила в помещении (квартира А.М.), С.Х. и А.М., сидя за столом, немного отодвинутым от зрителей, надели наушники и, слушая фонограмму второй кассеты, воспроизводили голосами ее запись: С.Х. повторяла свой первоначальный перевод с голоса С.Р., а А.М. свой русский текст с голоса С.Х. Во время воспроизведения 19-й части текста, заканчивающейся вопросом «Как ты думаешь?», магнитофон был на время выключен и С.Х. «от себя» (т.е. не в пространстве повтора) ответила по-немецки. Ее ответ был переведен для зрителей (и А.М.) С.Р. на русский язык: «Что же еще сказать, когда здесь и так уже об этом много сказано». Затем магнитофон был снова включен и воспроизведение продолжалось. Во время воспроизведения эпизода «Аптека» С.Р. — синхронно с С.Х. и А.М. — прочитал этот же эпизод с листа на русском языке. Таким образом, он был сразу прочитан тремя голосами: два голоса его воспроизводили по-русски и один по-немецки.

После того как воспроизведение фонограмм второй кассеты было закончено, А.М. и С.Х. сняли наушники и выключили магнитофон. С.Х. зачитала предварительно написанный ею текст на немецком языке, который синхронно переводился на русский С.Р. В заключение на русском языке С.Р. прочитал свой текст «Послесловие» (см. соответствующие тексты акции «Перевод»).

Кроме вышеописанного речевого ряда, акция «Перевод» имела звуковой ряд: фонограмма, шедшая из динамика и представляющая собой запись ровного уличного шума, воспринимающегося скорее как однообразное, негромкое фоновое шипение с редкими вкраплениями механических звуков типа работающего вдали компрессора, и едва различимой фортепьянной «Музыки за окном».

Визуальный ряд акции «Перевод» состоял из лежащей на столе черной вытянутой коробки прямоугольной формы с торчащими из нее по бокам передней стенки четырьмя (спаренными по двое) включенными фонарями. Коробка стояла на краю стола, как бы отделяя участников акции (С.Х., А.М. и С.Р.) от зрителей, на которых были направлены фонари, торчащие из коробки. Внутри коробки (незаметный для зрителей) был вложен включенный на воспроизведение магнитофон с 45-минутной

фонограммой, представляющей собой чистую кассету, только в трех местах которой были записаны технические шумы типа щелчков и жужжания: в середине фонограммы жужжание перематывающейся магнитофонной пленки (около одной минуты), а по «краям» фонограммы — в начале и в конце — несколько щелчков электрического рубильника-переключателя.

За спиной участников, на подоконнике был установлен квадратный черный ящик (использованный в акции «Голоса») с воткнутыми в него тремя фонарями разной формы (историю этих фонарей смотри в тексте «Инженер Вассер и инженер Лихт»).

В помещении в некоторых местах были расставлены и развешены восемь черных щитов с номерами и буквами, напоминающими автомобильные номера.

Москва

6 февраля 1985 года

А. Монастырский, С. Хэнсен, С. Ромашко.

БОЧКА

(сокращенный текст)

Слайд-фильм, показанный в мистерской И. Макаревича, был собран на основе фактографического и художественного материалов акций КД «Русский мир» и «Юпитер» с добавлениями визуальных и звуковых рядов, сделанных специально для «Бочки» как отдельной акции.

Визуальные ряды «Бочки» проецировались на три экрана. Средний экран представлял собой укрепленный на стене застекленный белый пустой лист бумаги в темно-синем паспорту (размер листа — 70х40 см, ширина паспорту — 10 см). На этот застекленный лист-экран, по внутренним границам паспорту, был направлен луч среднего диапроектора, включенного в сеть через реле времени. Частота вспышек этого диапроектора менялась от минимальной в начале фильма до максимальной в конце. Под застекленным экраном, на уровне нижней части паспорту — по центру и горизонтально — был укреплен объект А. Монастырского «Мягкая ручка», соединенный с электромотором (9 оборотов в минуту), стоящим от экрана справа. Объект непрерывно вращался в течение всего слайд-фильма, наматывая на себя белую нитку с катушки, укрепленной за экраном (зрителям катушку не было видно).

Левый и правый экраны представляли собой части белой стены (одинакового

размера, в три раза больше среднего стробоскопического экрана с «Мягкой ручкой» перед ним).

Под правым экраном на фиолетовой тряпке стоял магнитофон, который использовался в акции «Русский мир».

По определенной схеме в процессе акции включались три фонограммы: «Поезда.Бочка», «Повторы» и «Универсам».

Подробную схему показа слайд-фильма, список 110 черно-белых слайдов и другие подробности акции см. в описательном тексте «Бочки» (3 том «Поездок за город») на сайте <http://conceptualism.letov.ru/KD-actions-38.html>.

Москва

31 мая 1985 г.

А. Монастырский, Г. Кизевальтер, С. Ромашко, И. Макаревич, Е. Елагина.

В обсуждении акции принимали участие зрители:

И. Кабаков, И. Бакштейн, И. Нахова, Д. Пригов, Вс. Некрасов, Ю. Лейдерман, И. Чуйков, Н. Козлов, Е. Романова, А. Жигалов, В. Мочалова, Н. Дроздецкая, Л. Рубинштейн, А. Филлипов, А. Абрамов, Е. Еремина.

ОБСУЖДЕНИЕ

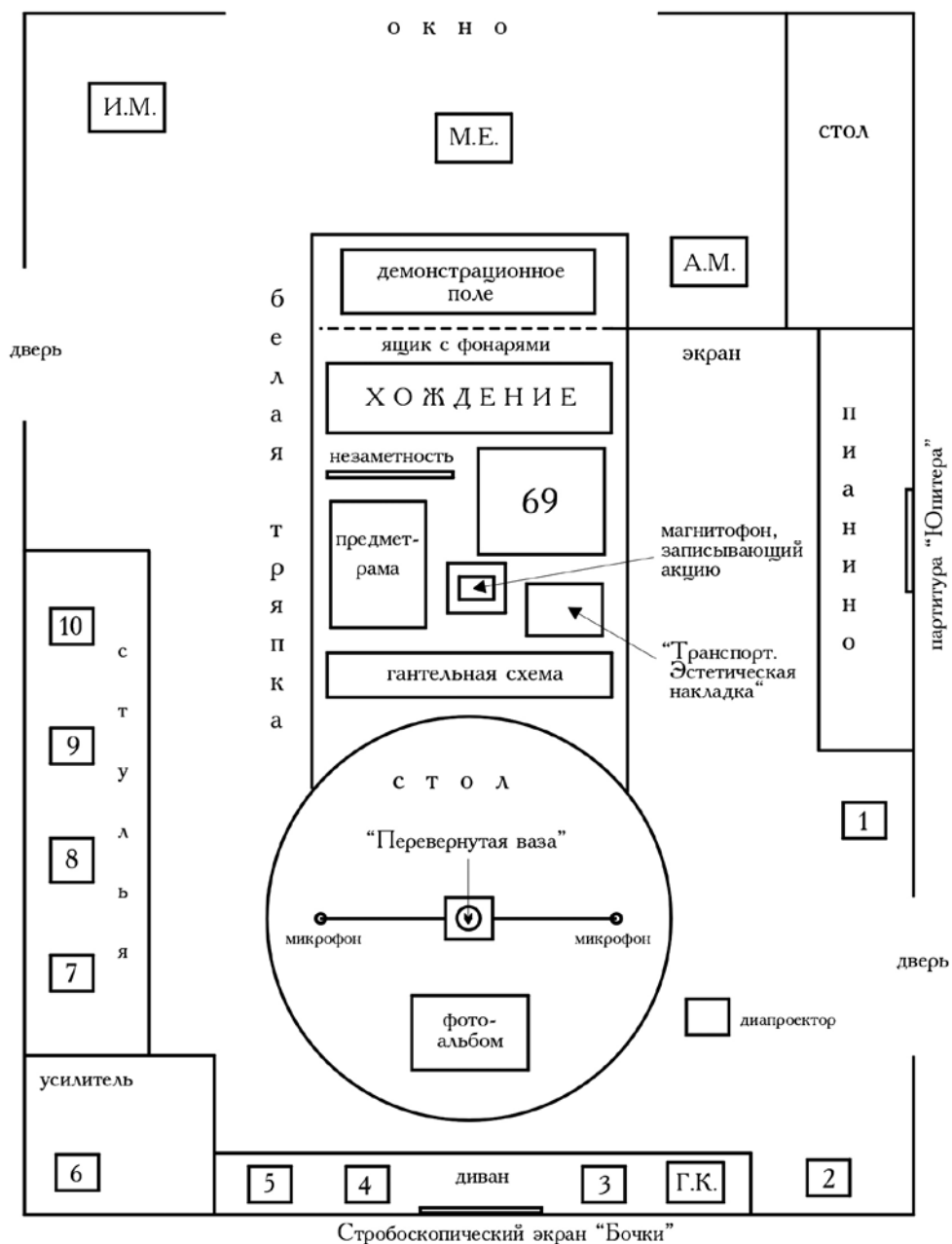
(сокращенный текст)

Акция состояла из двух этапов и проводилась в квартире А.М. Первые 55 минут зрители слушали фонограмму текста А.М. «ЦЗИ-ЦЗИ» [см. раздел «Комментарии», т.3], на запись которого — в другой акустике — через каждые три минуты накладывалась фраза: «Читается текст А.М. «ЦЗИ-ЦЗИ». Тавтология пустого действия» (она перемежалась с вариантом «Читается текст А.М. «ЦЗИ-ЦЗИ». Предисловие к акции «Обсуждение»). Важно, что именно в этой же акустике наложений происходил потом повтор через динамики высказываний зрителей во время собственно «Обсуждения».

Кроме того, в центре комнаты были расположены предметы «Категории КД» (см. схему). Восемь из этих предметов лежали на белой прямоугольной тряпке на полу, два — на круглом столе.

Дальний (от стола) конец тряпки накрывал собой длинный черный ящик с четырьмя фонарями, который использовался в акции «Перевод». Фонари были включены и светили сквозь белую тряпку.

Схема расположения предметов, зрителей и организаторов
во время акции "Обсуждение"



1. Л. Рубинштейн
2. С. Летов
3. И. Кабаков
4. И. Бакштейн
5. Д. Пригов

6. Динамик повтора
7. Министр-советник (ФРГ)
8. Советник по культуре (ФРГ)
9. Вика
10. В. Сорокин

И.М.- И. Макаревич
М.Е.- М. Еремина
Г.К.- Г. Кизевальтер
А.М.- А. Монастырский

На покрытом тряпкой ящике стояла доска «Демонстрационное поле» (из ряда предметов «Категории КД»). К реле времени, укрепленному на этой доске, были подключены стоящая на столе лампа, накрытая «Перевернутой вазой» (так же один из предметов «Категории КД») и диапроектор.

Рядом с ящиком, на полу на белой тряпке лежал самый крупный предмет «Категории КД» — «Хождение»: между двумя досками зажатое черное пальто (доски были сбиты гвоздями и перевязаны веревкой. Все предметы «Категории КД» были довольно тяжелые, так или иначе перевязаны веревками с множеством торчащих узлов и немного напоминали почтовые посылки). По верхней доске «Хождения», в разных местах маркированной надписями (машинописными и сделанными черным фломастером): «КД. Категории. Пальто мужское, демисезонное черное (1 шт.). ХОЖДЕНИЕ. Моск. обл., Савел. ж.-д., поле возле деревни «Киевы горки». 1976-1985» — между этапами акции можно было переходить из одной половины комнаты в другую (указанием на возможность такого действия послужил пример А.М.).

Ближе к столу, под «Хождением» располагался предмет «Незаметность» (вертикально укрепленная на небольшой доске «Мягкая ручка»).

Справа от «Незаметности» — предмет «69», представляющий собой обернутый в золотую фольгу матрасный чехол, зажатый сбитыми между собой и перевязанными двумя фанерками. На верхнюю фанерку была наклеена страница из партитуры «Водяной музыки» Дж. Кейджа, в которую был впечатан маршрут 69-го троллейбуса — от «Южных ворот ВДНХ» до «Петровских ворот».

Под «Незаметностью» лежала «Предмет-рама» — стопка обернутых в целлофан черных прямоугольных картонов с номерами, которые использовались в качестве интерьерной предмет-рамы в акции «Перевод».

Справа от нее находился предмет «Транспорт. Эстетическая накладка», представляющий собой определенным образом соединенные и наложенные друг на друга деревянные рамочки, обложки журнала «Гутен Таг» с металлическими фурнитурными крылышками и звездами, и металлические листы. На оборотной стороне нижней картонки этой стопки была наклеена фотография с акции «Перевод».

Между «Предмет-рамой» и «Эстетической накладкой», на пластмассовой подставке лежал вокмен, а на нем — кассетная коробка, маркированная, как и все другие предметы, надписью: «Категории КД. Тавтология пустого действия. ОБСУЖДЕНИЕ (фонограмма) 1985». В ряду других предметов это был предмет, который только должен был быть создан в процессе акции «Обсуждение», то есть представлять собой запись обсуждения.

И, наконец, у самого стола на белой тряпке помещался предмет «Гантельная схема», представляющий собой длинную тяжелую картонную коробку, перевязанную в четырех местах веревками с узлами, внутри которой находились две зимние ме-

ховые шапки, гантеля весом 3 кг, две клизмы. На крышке коробки были наклеены соответствующие белые бумажки с маркировкой. Кроме того, на каждом предмете была наклейка с обозначением какого-нибудь места. Так, например, на «Гантельной схеме» — наклейка с надписью: «Москва, Лосиный остров, баскетбольная площадка» (на этой площадке снимались некоторые слайды к акции «Бочка»).

В центре круглого стола стояла «Перевернутая ваза» с помещавшейся внутри нее лампой. Коробка, внутри которой находился патрон лампы и на которой стояла ваза, была перевязана двумя веревками с множеством узлов, образующих собой два жгута, лежащих на столе. К их концам, слева и справа от коробки, были прикреплены два микрофона вокмена, расположенного на белой тряпке. «Перевернутая ваза» была единственным предметом из предметов «Категории КД», не маркированная надписями.

На краю стола лежал предмет «Фотоальбом», представляющий собой большой альбом, прикрепленный гвоздями и веревками к сложно составленному подиуму. В альбом были вклеены фотографии с некоторых акций «КД», а также две картонки от «Моталки» А.М. Справа от альбома, на подиуме была наклеена бумажка с перечислением следующих демонстрационных отношений — категорий «КД»: «Мотание. Стояние. Лежание в яме. Группа. Человек — люди вдали. Звук. Слушание слушания». Зрители могли перелистывать фотоальбом.

В комнате над пианино на стене висела черная партитура акции «Юпитер», а над диваном — застекленная рама-экран в синем паспарту акции «Бочка». Они имели определенное значение в световой структуре акции [см. статью — комментарий «Закрытый город»].

После того как зрители осмотрели предметы «Категории КД», между пианино и белой тряпкой был повешен маркированный черными надписями экран «КД. КАТЕГОРИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЧЕВОГО ПРОСТРАНСТВА. Обсуждение. 1985» и дальнейшее прослушивание фонограммы сопровождалось показом некоторых слайдов «Русского мира» и «Бочки», имеющих отношение к содержанию фонограммы «ЦЗИ-ЦЗИ». Когда фонограмма «ЦЗИ-ЦЗИ» закончилась, после пятиминутного перерыва началось собственно «Обсуждение». Верхний свет был погашен и включена «Перевернутая ваза». На экране появился первый слайд серии «Фрагменты. Закрытый город» и Кизевальтер, показывающий слайды, зачитал небольшой вступительный текст (см. стенограмму). Одновременно этот текст повторялся через динамики А.М., который сидел за экраном (невидимый зрителям) и через наушники и усилитель второго вокмена, подключенного к записывающему вокмену, лежащему на белой тряпке среди предметов, слушал высказывания выступающих, в основном повторяя их в микрофон, соединенный с динамиком в противоположном конце комнаты, но иногда и вступая в дискуссию (см. стенограмму).

Слайд-фильм «Фрагменты. Закрытый город», сопровождавший «Обсуждение», состоял из 114 слайдов (каждый слайд держался на экране по 20 секунд).

Подробнее см. на сайте <http://conceptualism.letov.ru/KD-actions-39.html>

С появлением на экране 114-го слайда А.М. прекратил повтор обсуждения, которое длилось еще некоторое время в обычном речевом режиме.

Москва

28 сентября 1985 года.

А. Монастырский, Г. Кизевальтер, М. Еремина, И. Макаревич.

ВОРОТ

К вращающейся трубе металлического ворота, врытого в землю на опушке леса, были привязаны шесть лесок. Другие концы лесок, протянутые от ворота веером через поле (сами лески свободно лежали на земле), были привязаны на разной высоте к деревьям на противоположной стороне поля. Длина лесок составляла от 400 до 700 метров. После того, как группе зрителей, собравшейся у ворота, были розданы партитуры предстоящего события (см. ниже), Н.Панитков начал вращать ворот, наматывая лески на трубу и записывая звук вращения ворота на магнитофон. Лески постепенно наматывались на трубу, натягивались и лопались. Последняя леска лопнула спустя час после начала вращения ворота. Действие началось при обычной осенней погоде, которая, однако, быстро менялась: пошел крупный снег, затем поднялся ветер и начался сильный снегопад. К середине действия все поле было покрыто густым туманом, небо потемнело. К концу действия снегопад прекратился, туман рассеялся, выглянуло солнце. Все поле было покрыто снегом. Таким образом метеорологическая сторона акции соответствовала партитуре «Ворота» (взаимодействие сил ян-инь, неба-земли, тьмы-света).

Описание партитуры: Партитура представляла собой два листа черной китайской бумаги, скрепленных полиэтиленом в виде односторонней книжечки. На обложке была наклеена этикетка с английским словом «Performance» («исполнение»). На левой стороне разворота схематично, в виде гексаграммы Цянь («творчество») были изображены шесть еще не разорванных лесок. На правой стороне разворота те же лески были изображены разорванными в виде гексаграммы Кунь («исполнение»).

Во время действия лески рвались в последовательности, которая составила

следующее чередование гексаграмм: сначала разорвалась четвертая леска — на поле возникла гексаграмма Сяо-Гу («воспитание малым»), затем — вторая (гексаграмма Цзя-Жень, «домашние»), первая (гексаграмма Цзянь, «течение»), третья (Гуань, «созерцание»), шестая (Би, «приближение»), и пятая (Кунь, «исполнение»).

Киевогорское поле

27 октября 1985 г.

Н. Панитков, А. Монастырский, Е. Елагина, И. Макаревич, Г. Кизевальтер,
В. Сальников.

ПАРТИТУРА

Звуковые перспективы речевого пространства.

(сокращенный текст)

Акция проводилась в квартире А.М. и представляла собой процесс записи фонограммы «Партитура». Экспозиционный ряд акции состоял из помещенных в интерьер комнаты четырех черных щитов разных размеров, прибитых к стенам гвоздями, обмотанными в виде конусов белыми веревками.

Зрителям были розданы восемь экземпляров текста «Партитуры» (см. «Текст «Партитуры»), каждый из которых представлял собой стопку из семи фотокопий (24 x 30) названного текста, напечатанных вывороткой (белые буквы на черном фоне) и наклеенных на картон.

Зрителям было предложено ознакомиться с текстом «Партитуры». Так как во время чтения демонстрировался слайдовый ряд и свет в комнате не горел, каждому зрителю был вручен фонарь, с помощью которого можно было читать текст.

Предварительно (за день до акции) этот же текст был начитан А.М. на магнитофонную ленту, причем на фонограмме звуками были отмечены точки (стук пишущей машинки) и тире (звук колокольчика) этого текста.

Как только был погашен свет и зрители начали читать текст «Партитуры», стоящий рядом с экраном А.М. и сидящий в кресле С.Ромашко включили вокмен и, слушая через наушники фонограмму, произносили вслух (называли) отмеченные орфографические знаки (А.М.— точки, С.Р. – тире).

Эта часть акции длилась 15 минут. Одновременно на экран проецировались слайды «СТЕНЫ», представляющие собой 30 слайдов пустых стен с обоями квартиры А.М. и изображающие, в основном, те места стен, которые во время

акции были закрыты четырьмя щитами. Кроме того на протяжении этих 15-ти минут С.Летов с помощью электронных звукомодуляторов производил звуковые манипуляции с «Музыкальной капельницей», представляющей собой записанную «восьмеркой» полутораминутную минимальную ритмическую структуру (ф-но, А.М.).

Затем, переходя ко второй части акции, А.М. повторил вслух записанный на кассету вокмена (как продолжение «Партитуры») кусок текста о Железной флейте (см. текст) и засунул металлический стержень тоतोки-тосуй (до этого он держал его в руках) — в черный продолговатый ящичек с надписью «Станция Реутово. Следующая станция — Железнодорожная». Этот ящичек стоял на длинном черном ящике, который использовался в акции «Перевод», но для акции «Партитура» из него были вынуты фонари, а внутрь вставлена мигающая лампа из синего стекла. Причем два левых отверстия ящика были закрыты красным стеклянным фильтром, а два правых при моргании лампы давали эффект синеватого света.

На этом ящике стоял щит-экран, использовавшийся в акции «Обсуждение» (но его маркировочные надписи были закрыты металлическими полосками) и на него проецировались слайды.

Параллельно ящику, на полу и напротив двух правых отверстий лежал большой металлический стержень в виде «булавы», со слайдового изображения которого начинался показ слайдового ряда «Стены» (во время первой части акции).

Оставшиеся пятнадцать минут акции протекали в демонстрационных условиях свободного инвайромента (аудио-речевого хеппеннинга). Летов на фоне «Музыкальной капельницы» модулировал дыхание через усилитель, А.М. и С.Р. переговаривались между собой на «внутреннем» фоне музыки Мередит Монк (запись которой продолжала фонограмму текста «Партитуры» на кассете вокмена), зрители могли рассматривать слайдовый ряд «Поезда, кусты, башни, манекены» и переговариваться друг с другом (такую возможность давал им пример свободного речевого поведения А.М. и С.Р.).

Перед самым концом акции вместо «Музыкальной капельницы» была поставлена на прямой выход на динамики без электронных искажений кассета из вокмена А.М. и С.Р. с цитатой из М.Монк. Цитата представляла собой однообразную по ритму, но все время усиливающуюся по громкости звучания «механическую» музыку (2 мин. 10 сек.). Под эту музыку был показан слайдовый ряд «Мотор, Мусоровоз, Инструменты, Мотор».

При автономном прослушивании записанной во время акции фонограммы того, что происходило в комнате (создание этой фонограммы и было целью акции «Партитура»), она может сопровождаться просмотром слайд-фильма, построенным по

следующей схеме («обратной» по отношению к той, которая демонстрировалась во время акции):

Подробнее см. на сайте <http://conceptualism.letov.ru/KD-actions-41.html>

Москва

26 ноября 1985 г.

А. Монастырский, И. Макаревич, С. Ромашко, С. Летов, Н. Панитков, Е. Елагина.

ТАКСИ

В районе Останкино (напротив Хованского входа ВДНХ) поперек аллеи в 20 час.00 мин. участниками акции были натянуты шесть лесок параллельно друг другу. Концы лесок крепились к деревьям на высоте от 60 до 100 см от уровня земли. Расстояние между лесками равнялось приблизительно от 10 до 15 метров.

После того, как лески были натянуты, Е.Елагина пошла ловить такси на улицу Королева, а остальные участники одновременным движением и каждый по своей леске провели включенными фонарями, направленными на фотокамеру, установленную в начале аллеи, шесть световых линий таким образом, что их отпечатки на пленке составили гексаграмму И Цзина «Сюй» («Необходимость ждать»).

Минут через пять появилось такси и, медленно проехав по аллее, разорвало лески.

Во время действия проводилась запись двух фонограмм: в аллее, у дерева, к которому была привязана последняя (верхняя) леска — рядом с деревом стоял черный футляр «Музыки согласия» с включенным транзистором внутри него, и вторая фонограмма — в такси (запись Е. Елагиной).

Москва

16 января 1986 г.

А. Монастырский, Е. Елагина, И. Макаревич, Н. Панитков, М. Еремина, В. Мироненко, И. Бакштейн, Ю. Лейдерман.

ЛОЗУНГ — 86

Обсуждая текст Лозунга-86 с Н.Панитковым, мы не пришли ни к какому решению. Тогда я предложил сделать просто фотографию пейзажа, где «лозунг» удален в «невидимость» (как демонстрационную зону), то есть новый лозунг стал бы следующим шагом после якутского лозунга Кизевальтера, который был помещен в «полосе неразличения». А за текст этого несуществующего лозунга я предложил принять текст предисловия к 4-му тому «Поездок за город», где речь идет об акции как о пространственно-временном событии, лишенном знаковости.

Приехав на место действия (край обрыва на берегу р. Вори), мы расстелили на земле большую физическую карту СССР и закрашили территорию СССР черным лаком. После того, как лак высох, по заранее заготовленным трафаретам (рисунки И.Кабакова) из карты были вырезаны черные контуры совы и собаки. Украсив контуры совы и собаки золотыми и серебряными звездочками и кружками, мы приступили к изготовлению «детского секрета». Перед тем как начать рыть яму для секрета, была сделана фотография пейзажа, в правом нижнем углу которой можно видеть место «секрета».

Выкопав совком небольшую прямоугольную яму, мы положили на дно ямы контур собаки и засыпали его слоем земли. Затем в яму был положен контур совы. В глазные прорезы изображения совы были вставлены два включенных китайских фонаря. Затем «секрет» был накрыт прозрачным стеклом с наложенным на него красным стеклом таким образом, что оно закрывало светящиеся фонари. Затем весь «секрет», за исключением двух мест, светящихся красным светом, был засыпан землей.

После изготовления «секрета» была сделана вторая фотография того же пейзажа, но место захоронения секрета на этой фотографии не видно, так как оно находилось за спиной фотографа во время съемки.

Затем мы покинули место действия. Красные фонари в глазах совы горели еще какое-то время самостоятельно (т.е. без нашего присутствия, как в «Либихе» звонок), пока не иссяк ток в батарейках.

Моск.обл.,Ярославская ж.-д., ст. «Калистово»

19 октября 1986 г.

А. Монастырский, Н. Панитков, Г. Кизевальтер, М. Константинова, И. Нахова.

ПОЛЕТ НА САТУРН

Два зрителя — Ю. Лейдерман и С. Ситар — через заснеженное поле были приведены на холм ровной полусферической формы, верхняя часть которого освободилась от снега и стало ясно, что этот холм — гигантская навозная куча (из смеси навоза и соломы; когда мы обнаружили этот холм в феврале, он был целиком покрыт снегом и мы не знали, что он из себя представляет, хотя и тогда было заметно его искусственное происхождение из-за строгой геометричности формы).

Установив на холме магнитофон динамиками в сторону большого снежного поля (противоположного той части поля, откуда мы пришли; в качестве подставки для магнитофона использовался этюдник), мы включили его на воспроизведение. Фонограмма длительностью 39 минут представляла собой запись чтения голосом А. М. научно-фантастического рассказа Г. Гаррисона «Давление» (о полете на Сатурн; рассказ 1969 г.).

Зрителям было предложено слушать фонограмму (о том, кто автор рассказа и как его название, им сказано не было).

Тем временем устроители акции спустились с холма и двинулись в ту сторону снежного поля, куда были обращены динамики магнитофона.

Дойдя по полю до границы слышимости фонограммы (метров 80-100 от холма), мы разложили на снегу (использовав картон в качестве подложки) ксерокопированный и увеличенный до размера 1 м 82 см x 3 м (составленный из 4-х частей) лист-схему из книги А. Монастырского «Элементарная поэзия № 2. Атлас», 1975 г., лист (17-18-19-20)-29.

Затем из четырех буханок черного хлеба, в их верхней части, были вырезаны корки прямоугольной формы размером 6 x 8 см и в места вырезов, в хлеб, были вставлены четыре застекленные рамки соответствующего размера с портретами химика-органика Зайцева А. М. (1841 — 1910), геолога Заварицкого А. Н. (1884 — 1952), физика Семенова Н. Н. (1896 — 1986) и летчика Серова А. К. (1910 — 1939). Все портреты были взяты из второго издания Большой советской энциклопедии: том 16 (железо-земли), 1952 г., и том 38 (самойловка-сигиллярии), 1955 г. Размер каждого портрета — 3,2 x 4,3 см.

Буханки с портретами были расставлены по углам листа-схемы.

После того, как объект был таким образом смонтирован, устроители вернулись на холм и предложили Ю. Лейдерману и С. Ситару идти в поле и ознакомиться с объектом. Магнитофон продолжал работать на воспроизведение фонограммы.

Затем, когда зрители вернулись на холм (магнитофон все еще продолжал работать), им вручили фактографию акции, состоящую из листов № 1 («Карта элементов») «Атласа» А. Монастырского (размером 9 x 12 см; на обороте надпись «КД,

Полет на Сатурн. 2004») и корок, вырезанных из хлеба в процессе изготовления объекта (размером 6 x 8 см с надписью черным фломастером «КД. 22. 03. 2004»).

После того, как фонограмма закончилась, зрители и организаторы акции покинули место действия, оставив в поле объект акции (лист-схему с портретами, вставленными в буханки хлеба).

Моск. область, Дмитровское шоссе, Аксаково

22. 03. 2004

А. Монастырский, Е. Елагина, Н. Панитков, И. Макаревич, С. Ромашко, Д. Новгородова, М. К.

